

**Рик Хотала Эл Саррантонио Эрик Ван Ластбадер Эдвард Ли
Эд Горман Томас Майкл Диш Стивен Спрюлл Майкл
Маршалл Смит Питер Шнайдер Эд Брайант Джин Родман
Вулф Френсис Пол Уилсон Томас Френсис Монтелеоне
999**



Аннотация

999 - зеркальное отражение Числа Зверя. О явлении в мир дьявола и его слуг и чудовищных последствиях их визита для человека и человечества рассказывают на страницах этой знаменитой Антологии Страх Стивен Кинг, Уильям Питер Блэтти, Нил Гейман, Дэвид Моррелл и другие звезды мировой литературы, работающие в пограничном жанре - между мистикой и реальностью.

Рик Хотала Стук

Улицы пылали.

Последние полтора месяца Мартин Гордон не покидал дома после захода солнца.

Не осмеливался.

Он не видел ни единой программы новостей с тех пор, как на прошлой неделе телевизионные станции прекратили вещание. А свежего номера газеты или журнала не держал в руках и того дольше. Но ему не требовалось ничьих предупреждений, что выходить из дома с наступлением темноты — большой риск. Из окна своей спальни на втором этаже он видел молодежные шайки, рыскающие по улицам пылающего города, — черные силуэты, точно расплавленный металл на фоне пляшущего огня.

Праздновать наступление тысячелетия начали с первых чисел декабря. Сперва это были импровизированные веселые вечерние сборища, но последние недели празднования длились с сумерек до рассвета, и толпы людей бродили из одного квартала в другой. То, что началось как безобидное импровизированное празднование, быстро превратилось в бессмысленный вандализм, когда наружу вырвались человеческие обиды и неуверенность в завтрашнем дне.

И вскоре наступило время поджогов и грабежей.

Мартин уволился в прошлый понедельник. Ну, «уволился», решил он, не совсем то слово: на заводе не осталось никакого начальства, так что подать заявление об уходе было некому, и он просто перестал выходить на работу.

Его не слишком огорчало, что он оказался безработным. Во-первых, его работа ему, в сущности, никогда не нравилась, а теперь у него оказалось вдосталь времени заниматься тем, что он любил, например, своей моделью железной дороги. Конечно, без электричества он не мог привести поезда в движение, и в сгущающемся сумраке ему оставалось только любоваться тем, что он изготовил днем, и надеяться, что в конце концов, когда подача электричества будет восстановлена, он опять будет дирижировать движением своих составов.

Однако последние дни почти все светлое время суток он отдавал укреплению баррикад вокруг своего дома. Он принес в жертву почти все тяжелые дубовые двери между комнатами, чтобы загородить окна нижнего этажа. Он приобрел в скобяном магазине самые надежные шурупы и, распилив двери пополам, крепко-накрепко привинтил их к оконным рамам. Такой ставень мог бы попытаться выломать только тот, кто почему-то вдруг решил бы ворваться в дом ценой любых усилий.

Раздобывать провизию становилось все более трудной задачей. Всю свою наличность Мартин уже истратил. Все банки в городе закрылись ко второй неделе декабря, так что его жалкие сбережения оказались для него недоступны.

В конечном счете никакого значения это не имело, так как все продовольственные магазины, до которых он мог бы дойти пешком, были полностью разграблены. Без электричества со всеми скоропортящимися продуктами пришлось распрощаться, однако Мартин успел запастись сухими смесями и консервами, которых ему должно было хватить на месяц, а если расходовать их бережно, то и на более долгий срок. Еда эта не слишком вдохновляющая — обычно холодные бобы или овощные смеси, которые он ел прямо из банок. Надеяться он мог лишь на то, что беспорядки пойдут на убыль, полиция наладит порядок и мало-помалу восстановится нормальный образ жизни.

Конечно, тот, который будет считаться нормальным в 2000 году.

Каждый день, едва солнце касалось горизонта, Мартин проверял, надежно ли заперты парадная и задняя двери, затем садился за холодный ужин, прежде чем подняться наверх, чтобы он мог следить за своим двором из спальни. А после полуночи он ложился спать.

Он настолько освоился с происходящим, что разбудить его могла бы только особенно буйная компания, подойди она близко к его дому. В подобных случаях он просыпался и садился на кровати, положив дробовик себе на колени, словно младенца. Зажигал он только одну свечку и ставил ее позади себя, чтобы она освещала дверь, но не ослепила бы его в случае каких-либо неожиданностей.

Однако до сих пор ничего такого не случалось, а этот вечер по какой-то причине выдался вообще непривычно тихим. Беспорядки в честь Миллениума продолжались вовсю, но в стороне от его улицы. Из окна верхнего этажа Мартину были видны озаренные огнем здания вдалеке и слышны звуки музыки и буйные голоса, исступленные вопли и хохот.

— Черт, ну и празднование! — пробормотал он.

У него была привычка разговаривать с самим собой вслух, поскольку уже восемь лет после смерти матери он жил один. Своего отца он вообще не знал; по словам его матери он бросил их, когда Мартину был всего год. Подобно многим и многим мужчинам в тяжелые экономические времена, он в один прекрасный день вышел из дому купить сигарет и не вернулся.

Воздух был по-зимнему пронизывающе холодным, и некоторое время послушав звуки дальнего разгула, Мартин решил, что может без особых опасений закрыть окно и лечь спать. Поскольку дом не отапливался — даже если было бы электричество, все равно уже больше месяца топливо не доставляли, — его матрас был завален одеялами и пледами. Он лежал в темноте, смотрел на багрово-оранжевые всполохи пламени над крышами, а дыхание вырывалось у него изо рта облачками пара.

Он только-только уснул, как внезапно был разбужен.

В секундной слепой панике Мартин не мог понять, что собственно, его разбудило. Шум и крики по-прежнему раздавались вдалеке. Он растерянно оглядел темную спальню в уверенности, что слышал... но что?

Кто-то забрался в дом?

На него нахлынул безотчетный страх.

Исключить это нельзя, подумалось ему, но как кто-то мог проникнуть в дом настолько бесшумно, что не разбудил его раньше?

Двигаясь медленно, чтобы не шуметь, Мартин сел на постели и взял дробовик, прислоненный к стене за кроватью. Ему сразу полегчало. Сбросив одеяла, он спустил ноги на пол. Едва его подошвы коснулись ледяных половиц, как вверх по ногам пробежала дрожь.

Пригнувшись в оборонительной позе, он ждал, не раздастся ли этот звук снова, и пытался не стучать зубами. Костлявые пальцы дрожи выбивали мотив на ксилофоне его спины. Волосы на затылке вздыбились от жуткого предчувствия, и тут он услышал тот же звук — очень слабый.

Это был чей-то стук...

...стук в парадную дверь.

Сердце в груди Мартина сжималось и разжималось точно кулак, когда он взвел курки дробовика и осторожно шагнул вперед. Он часто дышал, и холодный пар его дыхания ложился на плечи, будто скрученный шарф.

Он не успел приблизиться к лишенному двери проему в стене спальни, как стук раздался снова, громче. Он эхом прокатился по холодному темному дому, резонировавшему, точно пустота в гигантской литавре.

Когда Мартин вышел в коридор и остановился посмотреть через перила вниз, он дрожал как в лихорадке. Глаза у него, казалось, никак не желали свыкнуться с темнотой, но он отчаянно вглядывался в дверь, и когда стук раздался снова, ему почудилось, будто увидел, как дверь прогибается под каждым тяжелым ударом.

Сжав дробовик крепче, он начал спускаться, сосредоточив взгляд на узких окнах по обеим сторонам двери. Он хотел получить хоть какое-то представление о том, кто стоит на крыльце, но видел только густое черное пятно, почти жмущееся к стеклам, будто просящаяся в дом приبلудная кошка.

Мартин перевел дух, готовясь предостеречь, пригрозить, но голос ему изменил, застрял в гортани, будто рыболовный крючок.

Ему это не понравилось.

Совсем не понравилось.

Но несмотря на нарастающее внутреннее напряжение, он продолжал спускаться. Каждая ступенька поскрипывала под его тяжестью, терзая его нервы, пока он не оказался в прихожей.

Единственный свет в доме исходил от единственной свечи, горевшей у него в спальне. Сюда свет практически не достигал. Темнота в доме смыкалась все плотнее, опутывая его, как мягкий фигурный бархат. Когда он осознал, что удерживает дыхание, то выдохнул воздух с долгим присвистом. Дрожащими руками он поднял дробовик и прицелился в дверь.

Хотя он ожидал его и убеждал себя, что готов, у него екнуло сердце, когда стук возобновился.

Тяжелые удары обрушились на дверь: один... второй... третий.

И прекратились.

От внезапной тишины у Мартина зазвенело в ушах. Он стоял посреди прихожей, не в силах от испуга ничего сказать или сделать.

Пока он ждал, чтобы стук возобновился, его дурные предчувствия обострились. Он пугливо вертел головой туда-сюда, словно ожидая увидеть, как что-то подкрадывается к нему из темноты, хотя и твердил себе, что там ничего нет. Его взгляд вернулся к двери, так как невидимый некто за ней вновь принялся стучать еще громче.

А вдруг, подумал Мартин, это кто-нибудь из его друзей? Кто-то, кто пришел проверить, что он и как?

Маловероятно.

Настоящих друзей у Мартина не было. Он всегда держался особняком, и в долгие годы, отданные уходу за больной матерью, привык к одиночеству, а потому ее смерть мало что тут изменила.

При мысли о матери его словно ударило током.

«А что, если там она?!» — подумал он, не в силах подавить сотрясшую его дрожь. Он невольно вспомнил, как в течение этих последних ужасных лет, когда болезнь приковала ее к постели, когда он выбирал свободную минуту, чтобы заняться своими поездами, она принималась бить кулаками по стене и ему приходилось бросить их.

Он попытался отогнать эту мысль, но стук был совсем таким же.

— Нет! — сказал он себе. — Мама же умерла!

Он старался не рисовать себе, как она, совсем высохшая, горбится на крыльце, кутается от холода в свой пожелтевший саван и стучит, стучит в дверь, чтобы он ее впустил. Ее серая, истлевшая в могиле кожа, отваливается большими неровными лоскутами при каждом ударе в дверь, звучащем, как удар молотком по старинному китайскому гонгу.

Нет, нет!

Не может быть. Это не она.

Он же видел, как ее гроб засыпали землей.

Она умерла!

Даже если он не задушил ее подушкой, как намекал детектив, несколько раз приходивший в дом, она все равно умерла и была похоронена! А если даже он сделал что-то подобное, то только из жалости, чтобы избавить ее от долгих страданий после инсульта, вызвавшего паралич.

Он сказал себе, что не должен давать волю своему воображению. Это патология. Несомненно, там кто-то есть, безусловно, но это не... это не может быть его мать.

Но кто-то там был, и когда этот кто-то опять забарабанил в дверь, Мартин сказал себе, что, если они не уймутся, не уйдут сию же минуту, он без предупреждения разрядит в них оба ствола своего дробовика.

И ему все равно, кто там может быть.

Пусть даже мальчуган, у которого пропал котенок, и он обходит соседей, спрашивая про него. А то запойный пьяница или наркоман заблудился, вообразил, будто пришел домой, и ломится не в свою дверь.

Не имеет значения!

Черт, даже имей это значение, ему наплевать!

Любой человек с каплей здравого смысла в голове запирается в крепости своего дома, едва стемнеет. В такое время на улицах остаются только опасные люди, люди, которые заслуживают смерти, если начинают допекать порядочных людей, вроде Мартина, который хочет только одного: чтобы его оставили в покое.

И он выстрелит, если будет нужно.

Последнее время он не читал газет, не слушал новостей, но не сомневался, что с начала празднеств погибло много людей — и убийства, и несчастные случаи. Теперь, когда полиции хватает других дел, еще одна смерть в таком большом городе останется незамеченной.

И все-таки Мартин не решался окликнуть стучащих или выстрелить.

Наоборот, он направился к противоположной стене, и прислонился к дверце стенного шкафа — одной из немногих сохранившихся внутри дома, медленно опустился на пол и сел, целясь из дробовика в входную дверь.

Стук продолжался, не стихая, удары раздавались все чаще и чаще, их грохот — все громче и громче. Мартин не сомневался, что скоро дверь разлетится в щепки. Несмотря на ночной холод, по его лицу ползли капли пота. Глаза, казалось, вылезали из орбит, так пристально он всматривался в дверь... и ждал... желая только одного: чтобы стук

прекратился, а стучащий ушел бы и оставил его в покое.

Но этого не произошло, и Мартин не мог не гадать, кто же это такой. Он продолжал проигрывать мысленно разные варианты, пока не наткнулся на возможный. При мысли о котором на секунду перестал дышать. Внезапно его пронизала тревога.

Что если его отец вернулся домой после стольких лет?

Возможно ли это?

Мартин всю свою жизнь прожил в этом доме с матерью, так что его отец, если он каким-то чудом еще жив, конечно, сразу же отправится сюда, просто проверяя, не живут ли его жена и сын по-прежнему здесь.

Указательный палец Мартина чуть коснулся спускового крючка. Он так стиснул, зубы, что услышал их скрип где-то в глубине головы. Перед глазами у него пульсировала и закручивалась темнота: водоворот темноты, вращающийся в еще более глубокой темноте.

Стук в дверь стал таким громким, что казалось, он теперь раздается не только снаружи, но и внутри его головы. Удар за ударом обрушивался на деревянную филенку, и каждый удар резонировал внутри его черепа, и он трясся, как в пароксизме малярии.

«Уйди!» — думал он, но не смел сказать это вслух.

«Уйди!»

«Оставь меня в покое!»

А стук продолжался в такт с мучительными ударами сердца, которое гремело у него в ушах так сокрушительно, что заболела шея.

«Прошу тебя... Во имя Господа?... Уйди же, уйди!»

Но стук не смолкал. Он становился все громче, громче, и Мартин наконец понял, что должен подойти к двери и посмотреть, кто за ней, кем бы этот «кто» ни оказался.

Он медленно поднялся с пола. Тело у него онемело, содрогалось от боли, и он так крепко сжимал дробовик, что несколько секунд не мог шевельнуть пальцами, точно их парализовало.

Мартин решил, что ему необходимо взять себя в руки, что надо сейчас же положить этому конец, иначе будет только хуже. Однако ему несдобровать, если тот за дверью — кем бы он ни был — заметит хоть малейший признак страха или нерешительности.

Он еле волочил ноги по деревянным половицам, но громкое их шарканье было недостаточно громким, чтобы заглушить непрерывные удары по двери.

Мартин облизнул губы и так судорожно вздохнул, что грудь словно стянули железные обручи. Живот свела судорога, и только огромным усилием воли он вынудил свои руки поднять дробовик и навести его на дверь.

«Уходи! Теперь же! А не то пожалеешь!» — вот что хотел крикнуть Мартин, но перед глазами у него встали жуткие образы его мертвой матери и отца, которого он не знал.

А что, если на крыльце они оба?

Он побрел к двери, испытывая странную тяжесть во всем теле. Словно его давил кошмар. Сколько шагов он ни делал, дверь, казалось, отодвигалась от него, удалялась, а не приближалась.

Мартин помотал головой и хлестнул себя по щеке, стараясь убедиться, что не спит. Это наяву. Все это происходит наяву.

А исступленный стук в дверь продолжался, не прерываясь ни на секунду.

Словно видя себя со стороны, Мартин поднял руку и протянул ее к дверному замку. Другая рука держала дробовик на уровне груди, указательный палец лежал на спусковом крючке и уже начинал нажимать на него.

Когда он медленно снял металлическую цепочку, по руке к плечу прокатилась волна колющей боли. Цепочка неприятно залязгала, раскачиваясь, точно маятник, и дергаясь при каждом ударе снаружи, сотрясавшем дверь.

Удерживая дыхание так долго, что заболела грудь, Мартин ухватил щеколду и медленно повернул вправо. И пока он ожидал, чтобы замок щелкнул, каждый нерв в его теле жужжал, будто провода линии высокого напряжения.

Голова у него отчаянно закружилась, и он испугался, что упадет без сознания, прежде чем успеет открыть дверь и лицом к лицу увидеть тех, кто стоит на крыльце. Они же слышали, как он открывал замок, подумал Мартин, так что у них достаточно времени убежать, прежде чем он откроет дверь.

Когда замок щелкнул, Мартин содрогнулся: звук прозвучал резко, как щелканье бича. Он быстро ухватил дверную ручку, яростно повернул ее и попятился, чтобы распахнуть дверь.

Но ручка выскользнула из его пальцев, точно смазанная маслом.

Растерявшись, Мартин замер. Он дышал так тяжело, что в горле глухо гудело. Капли пота щекотали ребра, скатываясь вниз под рубашку. Стук продолжался, уже настолько громкий, что его глаза подпрыгивали в такт.

Дробовик неожиданно стал очень тяжелым, и он прислонил его к стене рядом с собой. Потом вытер ладони о штанины, после чего снова ухватил дверную ручку и снова яростно повернул.

Он услышал, как щелкнул запорный механизм. И на этот раз, когда он потянул, его пальцы продолжали сжимать ручку, и тем не менее... дверь не открылась.

Мартин выругался, но не расслышал своего голоса, заглушенного нескончаемым стуком. Он ощущал болезненное подергивание в ладони, словно от укуса осы, но не обратил внимания и несколько раз повернул ручку, продолжая тянуть ее на себя изо всех сил.

Дверь не открылась.

Даже не шелохнулась.

«Этого не может быть», — подумал Мартин в уверенности, что стучащий свободной рукой тянет дверь на себя, не давая ей открыться.

Хрипло дыша, Мартин шагнул влево. Низко нагнувшись, он выглянул в боковое окошко. Не считая дальних отблесков пожара на горизонте, ночь была густо-черной. Он никого не увидел.

На крыльце никого не было.

Внезапный порыв ветра смел снег с козырька над дверью. Ледяные кристаллики оранжево замерцали, будто алмазная пыль, и исчезли в темноте. На краткий миг Мартину почудилось, что сыплющийся снег сложился в неясную человеческую фигуру. Он откашлялся, готовясь крикнуть, но голос застрял у него в горле.

Стук продолжался и продолжался.

Внезапно Мартин пошатнулся и испустил испуганный крик — но это была всего лишь бездомная кошка, которая прыгнула с крыши мусорного бачка на забор. Однако даже если бы стук оборвался, стучать так не могла никакая кошка.

Весь трясаясь, он вернулся к двери. Еще раз убедившись, что цепочка снята и замок отперт, он опять обеими руками вцепился в дверную ручку. Мышцы его запястий и предплечий вздулись канатами, вибрирующая дрожь прокатилась от них к рукам и шее.

Мартин быстро завертел ручкой взад-вперед. У него вырвался жалобный стон. Дверь будто забили гвоздями. Упершись ногой в косяк, он откинулся и потянул ручку на себя изо всех сил, но дверь осталась неподвижной.

«Кто там? — хотелось закричать Мартину. — Зачем вы это делаете?» Но пересохшее, словно ободранное, горло не издало ни звука.

Биение сердца грохотом отдавалось в ушах, а непрерывный стук становился все громче и громче, громом раскатываясь по темному дому в такт его kloкочущему пульсу.

Напрягая все мышцы, Мартин отклонился, насколько сумел, пытаясь открыть дверь. Он глотал ртом воздух, который жег огнем. Наконец высоким надрывным голосом он выдавил:

— Мама?

Едва это слово вырвалось у него, как стук оборвался. Свинцовая тишина смешалась с темнотой и заполнила воздух.

Тишина длилась и длилась.

Потом раздался стук во все двери, еще оставшиеся в доме — в стенном шкафу

прихожей, у лестницы в подвал и в кладовой за кухней.

Мартин закричал. Его захлестнули волны паники. Он вскинул руку над головой и с силой ударил по входной двери.

— Выпустите меня!

Слезы жгли ему глаза, а он бил и бил кулаками в дверь. С такой силой, что вскоре они покрылись кровавыми ссадинами.

— Выпустите... меня! — еле выговорил он сквозь рыдания. — Выпустите... меня!

Он привалился к двери, прижал лоб к холодному неподдающемуся дереву и продолжал бить по нему обоими кулаками. Тело горело от изнеможения. Из глаз хлынули слезы.

Теперь в доме слышались только его слабеющие удары в дверь.

И продолжая стучать, он не слышал собственного вопроса:

— Кто там?

Эрик ван Ластбадер Вознесение к термагантам

Позвольте мне представить вам величайшую любовь своей жизни. Мой великий роман с мисс М. тянулся почти пятнадцать лет. Она не была красивой и, видит Бог, часто не была и честной, но она провела меня по очень особым местам — таким, куда бы я ни ногой, если бы не ради псе. Я благословляю ее за это, но и проклинаю тоже. Каждый день я нахожу новые способы ее проклинать, и все это время мне так ее не хватает, что живот сводит судорогой, будто там свили гнездо мерзкие мелкие демоны. Может быть, так оно и есть. После того что случилось пару недель назад, это меня не удивит, нет, ничуть не удивит.

Мескаль ее зовут, да, сэр, и мутить мне голову — ее работа. Каждый вечер она это делает, пока в легком поцелуе кончиком языка пробую я ее гладкий вкус. Ага, до вас дошло. У меня был великий и бурный роман с женщиной по имени мескаль, и очень долго. И она, надо вам сказать, возлюбленная адски ревнивая. Но все, хватит. Больше — никогда. И вот почему.

Мы с моей возлюбленной занимались без всякого стыда любовью по всему Манхэттену, но самое мое любимое место для этого называлось «Геликон» — без сомнения, потому, что владелец его Майк был греком. Понимаете, гора Геликон была домом Муз — во всяком случае, так верили древние греки. Сам бар ютился в дыре за квартал от Голландского туннеля на первом этаже чугунного дома, который был красив как смертный грех еще семьдесят пять лет назад. Внутри в длинном узком помещении с медленно вертящимися вентиляторами капало с жестяного потолка, отчеканенного на рубеже столетий. Узор чеканки напоминал мне старые мексиканские плитки, которые я видел, когда жил в Оаксаке. Где впервые познакомился с мисс М. Давно, даже числа не помню. Да и они таких плиток больше не делают. С тех пор как ремесленники получили работу по изготовлению навороченных кроссовок и нейлоновых тренировочных, а также по сбору персональных цифровых помощников.

Как бы там ни было, а в «Геликоне» была масса достоинств: опилки на полу, запах старого пива и еще более старой грязи, висящей потеками, как честно заработанные медали на суровом воине. Не говоря уже о самой стойке, которая казалась вечной, покрытой шрамами давно забытых драк и свежеразбитых сердец. И самое лучшее — свет был достаточно тусклым, так что, когда смотришь сам на себя в панелях мутных зеркал за полированным черным деревом бара, вполне можно себя убедить, что ты кто-то другой — может, тот, кем мечтал когда-то стать.

В тот день, о котором я сейчас думаю, я сидел в кабинке, занимаясь любовью с мисс М., когда зазвонил телефон за стойкой. Майк снял трубку, поговорил и протянул ее мне.

— Это вас, — сказал он.

Я поднял свою возлюбленную и перенес ее на табурет к бару. Схватив трубку, я рывкнул:

— Что надо?
— Боже мой, Вилли, сейчас пол-одиннадцатого утра. И ты уже пьешь?
— А какая зараза этим интересуется? — спросил я и приложился как следует к мескалю.

— Хуже, чем я думал, — сказал осуждающий голос. — Это Герман, твой брат.
— Этим все и объясняется, — сказал я, обрезав его дальнейшие слова. — У тебя нет воображения.

— Если бы ты протрезвел, мог бы найти настоящую работу.

— И меня, черт побери, зовут не Вилли!

У меня пылали щеки, когда я повесил трубку.

— Ошиблись номером, — сказал я Майку, подвигая к нему по стойке телефон. Он только криво улыбнулся — знал, что произошло. У нас с Майком были свои отношения — такие, которые могут быть только с барменом по-настоящему высокого полета.

Вернувшись к себе в кабинку, я отодвинул второй пустой стакан и стал дальше попивать мескаль, мрачно вспоминая свой пустой офис и последний подписанный мной контракт. На шесть месяцев, и я ни слова еще не записал в блокнот, не говоря уже о компьютере. Лениво вертелась мысль позвонить Рею Майклу, моему бухгалтеру, который следил, чтобы моя жизнь не понеслась прямиком в ад на тачке, пока я плевал на все и крутил роман с мисс М. Я подумал, не надо ли, чтобы он связался с моей издательницей и сказал, чтобы не брала в голову, и отправил ей обратно аванс, который она мне прислана. Потом я припомнил, что уже просадил его в той увеселительной поездке по тем старым местам в Мексике, что не дают мне покоя. И все равно я еще ни разу не ломал контракт и не собирался начинать сейчас. Но что я собирался написать? Я понятия не имел.

Я поднял глаза на резную носовую фигуру корабля, которая свешивалась с потолка заведения Майка. Это была полуженщина-полуптица, и потому я назвал ее Мельпоменой — музой трагедии. Говорят, что от плодотворного союза Мельпомены и речного бога Ахелоя родились блистательно печальные и отчаянные сирены, чтобы бесконечно петь мучительный мотив, заманивающий беспечных моряков к гибели на скалистых берегах, где обитают сирены. Где-то в молодости Мельпомена стала моей личной музой, потому что я не мог иначе ввести в рамки картины трагедию, которая постигла мою семью.

Я все еще смотрел вверх, когда телефон зазвонил снова. Майк глазами показал, что это меня.

— Если это мой чертов братец, скажи ему, пусть целует мою белую писательскую задницу.

— Это Рей, — ответил Майк, протягивая мне трубку.

Принимая ее, я застонал. Мой бухгалтер никогда не звонит мне без веской причины.

— Да! — отозвался я.

— Билл, я только что поговорил с твоим братом. — Голос у Рея был озабоченным. — Он сказал, что ты в мрачном настроении.

— Так и сказал? Давай подумаем. Сейчас без двадцати десять утра, понедельник. Я занят третьим стаканом мескаля, и в голове у меня ни одной мысли. Так что мой ответ, пожалуй, да. Я в мрачном настроении.

Рей вздохнул:

— Ему надо с тобой поговорить.

— Этот крысиный ублюдок сбежал с моей женой, не говоря уже о доходах по пенсионному плану, когда был тем, кого для смеха можно было бы назвать моим бизнес-менеджером. Нечего ему со мной говорить.

— Послушай, — терпеливо сказал Рей. — Ты подал на него в суд и получил свои деньги обратно. Надави ты чуть сильнее, ты мог бы посадить его в тюрьму.

— Если бы ты знал, как это меня грызет!

— Почему же ты этого не сделал?

— Это разбило бы сердце Донателлы, вот почему, — ответил я. — Бог знает почему, а

моя бывшая любит этого подонка.

— Сейчас новое тысячелетие, — сказал он. — Что было, то быльем поросло.

— Хрена с два. — Должен признать, что у меня сжались зубы. — Хрена с два быльем.

— Ладно, будь по-твоему.

На том конце слышался разговор и шумы возле трубки. Я спросил:

— Ты что, на поле для гольфа?

— На шестой метке, — подтвердил он. — Приезжай как-нибудь со мной и попробуй.

— И разговаривать со всеми дубиноголовыми банкирами, с которыми ты играешь? Нет уж, пусть лучше меня терзает термагант.

— Кто?

— Термагант. Знаешь, что такое гарпия?

— Конечно. Женщина, которая никогда не замолчит.

— Розу каким именем ни назови, — засмеялся я. — Только эта воняет до небес.

— Ты Донателлу, что ли, называл термагантом?

— Ответ утвердительный, друг мой. — Я посмотрел на деревянную Мельпомену. — А теперь моя личная муза стала термагантом. Смешно, правда?

— Кто это сказал, что мы все получаем то, чего заслуживаем?

— Ты, наверное. Только что.

— Мне кажется, у тебя затык, — сказал Рей.

— Как у забитой кирпичами кишки.

— У тебя еще есть время присоединиться ко мне на девятой. Займись каким-нибудь легким спортом вместо этой смертельной дряни, к которой ты стремишься. Знаешь, солнышко вышло, птички чирикают.

— Из этих птичек некоторые входят в список угрожаемых видов. Так что смотри, как бы тебе большой клюшкой не угробить одну из таких.

— Я не очень хорошо работаю большой клюшкой, — сказал Рей. — За шестой я пользуюсь третьим номером деревянной.

— Вот тут между нами и разница, Рей. Я пользуюсь большой, чтобы добраться до зеленой за два удара. Рискуй, старина. Не бойся рисковать.

— Не забывай, что я бухгалтер. Слово «риск» в мой словарь не входит. — Он что-то сказал кому-то из своих дубоголовых партнеров, и я подумал, не пропустил ли он очередь из-за разговора. Он вообще-то не любил проигрывать в гольф. — Послушай, у твоего брата на этот раз действительно есть кое-что для тебя важное.

— Это так же невозможно физически, как вставить голову себе же в задницу. Хотя в случае Германа...

— Билл, кончай нести ерунду. Лили умирает.

— Уг-гу. — Я глотнул мескаля.

— Слушай, ты не... в смысле, не теряй голову, в общем.

— Ни в коем случае, старина.

— Да, вижу. Ну, что ж, это не должно меня удивить. Ты ее не видел — сколько?

— Тридцать лет.

— Она твоя сестра.

— Она была умственно отсталой, — дал я поправку. И заметил, что говорю о ней в прошедшем времени. — Не могла двигаться, чтобы за все подряд не хвататься, не могла ни слова произнести. Не могла ни одной мысли в голове удержать.

— Суров ты, Билл.

Я почувствовал, что с меня хватит.

— Слушай, Рей, это не ты должен был прожить с ней все кошмарное детство, не тебе она блевала в лицо, не при тебе она всю ночь вопила, как котенок с глистами, не у тебя она хотела вырвать волосы с корнем, как только оказывалась близко. Не у тебя бывало по три-четыре драки в неделю из-за жестокости твоих одноклассников. Не ты должен был жить с родителями, настолько перепуганными, дошедшие до такого отчаяния, что стали

беспомощны, как дети. Они цеплялись за любую соломинку — шарлатанов, целителей, гадалок. Не тебе пришлось четырнадцать лет подряд смотреть в лицо безумия. Господи, у меня и сейчас мурашки по коже!

Он помолчал.

— Она при смерти, Билл. Герман ясно дал понять, что не имеет никаких определенных пожеланий в смысле организации. Так что бы ты хотел сделать?

— Я бы хотел забыть, что она вообще была на свете, вот что.

Рей снова вздохнул:

— Тогда я ее кремирую, когда она умрет.

— Как твоя левая нога захочет, — ответил я. — Развей этот гадский пепел на четыре ветра. — Я выждал и добавил: — И знаешь что, Рей?

— Что, Билл?

— Даже не думай говорить мне, что я там должен быть, когда это произойдет.

Разговор задал тон. Повесив трубку, я был мрачен и зол. Будь оно иначе, то, что случилось после этого, могло выйти по другому. Но было не иначе, а потому вышло так.

А после случилось, что в бар принесло Таззмана. Не то что я тогда знал это имя — я его и в глаза раньше не видел.

— Эй вы, беломазые, ручки в гору и делай, как я скажу!

Таззман оказался высоким мертвенно-серым чернокожим с впалой грудью, нечесанными волосами как у Джими Хендрикса и лицом как у Айка Тернера, только он был очень, очень молод. Заученная злобность лица явно уходила вглубь не больше, чем на миллиметр, и легла на него скорее в силу обстоятельств, чем природных свойств. Мы с Майком решили обратить внимание, поскольку у него в руках был устрашающего вида автоматический пистолет, который смотрел на нас.

Он вошел в бар, — движения нервные, резкие, — и уставился на нас.

— Ты! — сказал он Майку. — Деньги давай.

— Скажи, детка, тебе раньше приходилось это делать? — спросил я, пока Майк искал ответ. — Я в том смысле, что сейчас понедельник, одиннадцать утра. Здесь только мы с Майком. Какие деньги ты думаешь найти в кассе?

По испуганному взгляду, который кинул мне Майк, я понял, что он не любитель приключений. Плохо. Кто-то должен взять контроль над ситуацией, иначе нам обоим будет очень неприятно.

— Умник! — огрызнулся Таззман. — Тащи сюда свою умную белую задницу и заряжай вот этот мешок. Грузи все из кассы и из карманов тоже.

Я раскрыл бумажник. От вида двух вывалившихся пятерок мне стало даже стыдно на минутку.

— А, блин! — выразил свое мнение Таззман, подхватывая бумажки с такой опытностью, что я даже не заметил их исчезновения. — Хоть часы у тебя есть?

— Время для меня ничего не значит, — сказал я, показывая пустые запястья. — Кстати о времени: мне кажется, что ты уже кучу времени ничего не ел.

Этот Таззман закусил губу и полыхнул на меня взглядом, оценивая ситуацию. Был он напряжен, как медведь, учуявший человека, и это должно было меня насторожить. Но, как я уже сказал, эти телефонные разговоры меня здорово вывели из себя и я был готов схлестнуться с первым, кто попадется на дороге. Глупость, да? У древних греков было для этого более подходящее слово: *хубрис*.

— Майк, сделай ему бургер, ладно? — Поскольку Таззман уже ничего не понимал, я решил надавить: — Как тебя зовут?

— А?

У него был дурацкий вид. Вряд ли можно поставить это ему в вину. Ограбление пошло совсем не так, как он предвидел.

— Есть же у тебя имя? — Я вышел из кабинки. — Меня зовут Билл, а его, как я тебе уже сказал, Майк. Как тебя друзья называют?

— Смеяться надо мной решил? Я твою белую задницу оторву, можешь не сомневаться!

— Я не смеюсь.

Он прищурился на меня с подозрением.

— Нет у меня друзей. — Он поджал губы, перевел глаза с меня на Майка и обратно. — Таззман меня зовут, за волосы. — Он коснулся волос рукой, они не поддались ни на дюйм. — Пацаны говорят, у меня от них вид как у таззманского дьявола — что-то вроде. — Так у него выходило слово «тазманский». Он ткнул пистолетом в сторону Майка. — Он мне в самом деле бургер сделает?

— А как же, — сказал я, давая знак Майку.

Пока Майк разворачивал котлету и плюхал ее на сковородку, я шагнул к Таззману. Ноздри его зашевелились, ощутив запах жареной говядины, и я сделал еще один шаг. Это ему не понравилось.

— Эй, ты, мазерфакер! — сказал он, начиная поворачивать свой чертов пистолет в мою сторону.

— Билл, ради Бога! — завопил Майк.

А я плеснул свою мисс М. в лицо Таззману. Не знаю, известно вам или нет, но когда она попадает в глаза, то превращается в фурию.

— Мазерфакер! — повторил Таззман с полным отсутствием оригинальности.

Он нажал курок в тот момент, когда я левой рукой подбил ствол пистолета. Грохот, казалось, пробил у меня в голове дырку, просверлив мозг. Я ударил Таззмана каблуком по подъему, и он завопил как баньши. Но я недооценил этого фитиля, как и вообще неправильно оценил всю ситуацию.

Он нажал на курок еще раз. Град пуль прошел смертельную строчку по зеркалам. Майк попытался пригнуться, но попался на дороге, и его вбило в три яруса бутылок за спиной, и кровь с выпивкой смешались в мерзостное месиво.

— А, черт! — выдохнул я.

Автоматический пистолет повернулся в мою сторону, и я ударом ноги перевернул стол и спрятался за ним, потом заорал, когда ускоренные пули разодрали твердый дубовый стол как картон.

Шатаясь спьяну, я бросился в темноту за баром, но Таззман набрал обороты и не отставал. Пистолет перестал плевать как раз настолько, чтобы он успел вставить новую обойму. Сколько же их у него? — подумал я на бегу.

Я пролетел мимо дверей в туалет, зная, что там бежать некуда и спрятаться негде. Пули стучали по старой штукатурке, когда я ударил в заднюю дверь. Не открывается! Я выдернул засов, распахнул дверь под градом щепок и щебня от ударов пуль, просвистевших мимо моей головы.

И бросился в вонючий переулок, куда Майк выбрасывал мусор и мясо для гамбургеров, когда оно превращалось в лабораторную питательную среду.

И тишина...

Тишина?

Где же этот безбожный грохот автоматического пистолета Таззмана? — спросите вы. Но он кончился, потому что я уже стоял ни в каком не в вонючем переулке. Оглядываясь вокруг, я увидел... скажем так: если бы рядом со мной стоял крошечный песик, я бы наверняка выдавил из себя: «Тотошка, мы больше не в Канзасе».

Наконец я повернулся в ту сторону, откуда пришел, но не увидел ни грязной стены, ни задней двери «Геликона»; только воздух, пространство и свет — яркий, радостный свет. Я стоял в комнате с высоким потолком, глядя в высокое окно у странно знакомой конструкции с закругленным куполом, в котором что-то было ближневосточное. Вниз от него расходился веером большой город, уходя в сине-золотые сумерки. Но ведь всего секунду назад было утро, а здесь точно не Манхэттен. Обилие труб и крыш мансард немедленно навело на мысль о Европе.

Вокруг меня на выбеленных стенах висели картины. Большие холсты импрессионистов,

с богатым цветом, живые первобытным движением. Они кружились вокруг меня, как водовороты в потоке.

— Вам они нравятся?

Голос был мелодичен и густ, как девонширские сливки.

Я повернулся и увидел женщину с удлинённым лицом, и целеустремленность в этом лице делала красивыми черты, которые были в лучшем случае правильны. У нее был строгий вид, отдаленно напоявивший мне проклятую училку в адиронакской школе, куда я удра в четырнадцать лет (даже там было лучше, чем в невыносимом доме) и откуда тоже в свою очередь удра. Волосы цвета соли с перцем спадали по бокам прямыми прядями на легкие плечи, и в руке у нее был пучок кистей, и я решил, что она художница. Она была одета в оранжевую рубашку и брюки цвета ржавчины, поверх которых был надет длинный красный передник, жесткий от засохшей краски. И все равно была видна вышитая на нем спереди белая пентаграмма. Любопытная декорация, можете вы сказать, и будете правы. Но куда более любопытными были ее глаза. Клянусь, они были цвета неполированной бронзы и без зрачков.

— Леди, я не знаю, кто вы, но буду вам очень обязан, если вы скажете мне, куда я, к чертям, попал. И еще — нет ли у вас чего-нибудь выпить, желательно с высоким содержанием алкоголя.

— Я говорила о картинах. Хотя они и не закончены, мне было бы интересно, находите ли вы их действенными.

Она говорила с таким нажимом, как говорят только полностью захваченные своей страстью. Слышала ли она вообще, что я сказал? Не важно; ее страсть заставила меня приглядеться к картинам повнимательнее. Насколько я мог судить, они все были посвящены одной и той же теме: серия пейзажей, связанных общей композицией и стилем, зарисованные в разное время дня и года. Я был уверен, что не знаю, на что смотрю, и все же сама эта уверенность наполнила меня невыразимой грустью, будто меня пронзили в сердце.

— Конечно, конечно. Они очень красивы. — Но я все еще был отвлечен и мне отчаянно нужно было глотнуть чего-нибудь покрепче. — Послушайте, мне кажется, вы не поняли. Минуту назад я был в Нью-Йоркском баре и удирал от психа с пистолетом, и вдруг оказался здесь. Я еще раз вас спрашиваю: где это?

— Обозрите картины, — выразилась она несколько ходульно, как свойственно европейцам. Ее рука поднялась и упала, как морская волна. — Они вам ответят.

— Леди, ради всего...

— Прошу вас, — остановила она меня. — Меня зовут Вав. А вас — Вильям?

— Вы сказали — «Вив» — уменьшительное от Вивиан? — Я не был уверен, что правильно расслышал.

— Нет, Вав. — Она произнесла это отчетливо. — Очень старое имя — можно даже сказать, древнее. Слово из иврита, означающее «гвоздь». — Она улыбнулась, и лицо ее раскрылось, как спелая дыня, проливающая ароматный и восхитительный сок. — Я тот гвоздь, что соединяет балки над головой. Я та, что дает приют усталым путникам.

Глядя на это лицо, я должен был засмеяться — другого выбора мне не оставалось. Мне подумалось, что она даже приговоренному преступнику даст возможность почувствовать радость в последние минуты жизни.

— Что ж, кажется, я такой и есть, — признал я. И быстро глянул в окно. — Это же не... стойте! Это же не может быть Сакре-Кер! Черт, он же в Париже!

— Нет, это он, — сказала она.

— Но этого не может быть! — Я закрыл глаза, потряс головой и снова открыл. Сакре-Кер остался на месте. Не растворился в клубе дыма. — Я теряю рассудок.

— Скорее обретае. — Она тихо засмеялась. — Успокойтесь, не надо тревожиться. — Она отвела меня от окна. — Взгляните еще раз на картины, хорошо? Я писала их специально для вас.

— То есть вы знали, что я здесь буду?

Почему мне от этого стало так хорошо?

— Это кажется невероятным, не правда ли? — Она стала смеяться, пока я тоже не засмеялся с нею, и мы смеялись над шуткой, исток которой выходил за круг моих познаний. Она взяла меня за руку, будто мы были старыми друзьями. — Но пойдёмте, скажите мне, кажется ли вам здесь что-нибудь знакомым.

И она медленно повлекла меня по периметру комнаты с высоким потолком.

Я сосредоточенно сдвинул брови.

— Странно, я именно это и подумал, но... — Я встряхнул головой. — Может быть, когда вы их закончите.

— Очевидно, вам нужно больше времени, — перебила она. Это она делала часто, будто ее как-то поджимало время.

— Учитывая все обстоятельства, мне кажется, я предпочел бы вернуться домой, — сказал я.

— Мне послышалось упоминание о психе с автоматическим пистолетом? — Она стянула с себя передник. — Зачем вам вообще туда возвращаться?

Я минуту подумал, вспомнив мертвого беднягу Майка и Таззмана, Рея, пристающего ко мне насчет Лили, этого сукина сына моего братца, не говоря уже о писательском затыке, пугающем, как мертвая зона на вершине Эвереста. Потом я подумал о необычной женщине рядом со мной, о Париже в бархатную морозящую ночь и ощутил легкость, которой не ощущал уже не знаю сколько.

— Честно говоря, не могу придумать причины.

Она сжала мою руку.

— Отлично, тогда вы пойдёте со мной на открытие новой выставки.

Я облизал губы.

— Прежде всего мне нужно выпить.

Она отошла к антикварному буфету, налила что-то в низкий бокал резного хрусталя и принесла мне. Я поднес бокал к губам. Ноздри затрепетали от запаха мескаля, и я запрокинул голову, осушив бокал одним глотком.

— Это ведь всегда раньше помогало, — сказала она, когда я поставил бокал.

Обычно я бы разозлился до чертиков от таких комментариев, но Вав смогла сказать это так, что не слышалось осуждения. Как будто она просто показала мне эту грань моей жизни. А что я об этом думаю — полностью мое дело.

— Это, разумеется, имеет свое место, — ответил я, когда мы переходили в гостиную. Мельком я заметил густо-сливочного цвета стены, длинную софу стиля Деко, пару ламп Арт Нуво, и все это, казалось, сунули сюда, не думая. Был здесь антикварный восточный ковер, на котором свернулся черный кот с единственным белым пятном на лбу. Он проснулся, когда мы проходили, светящиеся лимонные глаза проводили нас с Вав, когда она вывела меня через входную дверь.

Спустившись по хорошо истертой лестнице, мы оказались в высоком затхлом вестибюле, типичном для жилых домов Парижа. В нем пахло камнем, смягченным сыростью столетий. Свет зажегся, когда мы вошли, мигнул и погас при нашем уходе.

Вечерний ветер нес туман, как стадо птиц, и туман трепетал паутиной, пролетая мимо железных уличных фонарей. Мы пошли на восток, в ночь.

— Галерея всего в нескольких кварталах, — сказала Вав.

— Послушайте, я вижу, что я в Париже, но как, ради всех чертей, я здесь очутился?

Мы подошли к тротуару и перешли довольно крутую улицу.

— Какое объяснение вас устроит? — спросила она. — Научное, метафизическое или паранормальное?

— А какое из них истинно?

— О, мне кажется, все они одинаково истинны... или ложны. Все зависит от вашей точки зрения.

Я досадливо качнул головой.

— Но дело в том, видите ли, у меня *нет* точки зрения. Чтобы она была, мне надо понять, что происходит, а я не понимаю.

Она кивнула, обдумывая каждое мое слово.

— Может быть, это только потому, что вы не готовы еще услышать, что я говорю. Точно так же, как не готовы увидеть картины.

Мы повернули налево, потом еще налево, ко входу на станцию метро Анвер в стиле Арт Нуво, и я с интересом поймал себя на том, что мои мысли вернулись назад во времени. С удивительной ясностью я увидел лицо матери. Она была красивой женщиной, сильной во многих отношениях, слабой и пугливой в других. Например, в отношениях с другими людьми она могла быть твердой как скала и очень напористой. Однажды я был свидетелем, как она сбила на сотню долларов цену на часы «Ролекс», объясняя владельцу магазина, что у нее девять сыновей (а не два, как было на самом деле), каждому из которых когда-нибудь понадобится ко дню окончания школы подарок — вроде этих часов, которые она выбрала для меня. Помню, как мне пришлось потупить глаза, чтобы не захихикать в жадную морду лавочника. На улице же, когда часы застегнулись у меня на руке, мы с матерью стали хохотать, пока не выступили слезы. Этот смех еще до сих пор во мне отдается, хотя матери давно уже нет.

С другой стороны, мать одолевала страхи и суеверия, особенно когда дело касалось детей. Ее отец, которого она обожала, умер, когда ей было всего четырнадцать. Однажды она мне рассказала, что, когда я родился, ее пожирали страхи перед всем, что может со мной случиться: болезни, катастрофы, дурная компания — все это она обсасывала со всех сторон. Она не хотела, чтобы я преждевременно ее покинул, как сделал ее отец. Он снился ей, снилось, как он вечером дремлет в кресле, в рубашке и халате, в ночных шлепанцах, и карманные золотые часы лежат у него на ладони, будто чтобы проснуться вовремя для работы. Она тихо пробиралась через гостиную и залезала ему на колени, сворачиваясь, как собака, закрывая глаза, и тогда он ей снился.

Моя мать не успокоилась, как можно было ожидать, после рождения меня и моего брата Германа. Как она мне потом сказала, потому что она знала свою судьбу: ей суждено было родить Лили. И Лили подтвердила худшие страхи моей матери, унылый взгляд на мир. Конечно, она обвиняла себя в уродствах Лили. Конечно, у нее был нервный срыв. И конечно, от этого стало только хуже для нас и для нее. С определенной степенью уверенности можно было сказать: накликала. Она ужасалась жизни и потому породила жизнь, которая ужаснула ее. Удивительно ли, что Лили ужасала и нас? Мы с Германом учились на примере, как все животные.

Я не виню свою мать. Она так же не могла изменить свое поведение, как малиновка не может не летать. Это то, что делают малиновки — летают. И если быть честным до конца, Лили была мерзким ужасом. И тоже ничего не могла поделать. Но правда есть правда, как бы ни была она горька. Просто не было смысла проходить вблизи от нее, тем более пытаться установить контакт. Одно время я пытался ее жалеть, но мать я жалеть мог, а вот ее — нет. Она присутствовала в мире лишь частично. Тогда я попытался делать вид, что ее нет вообще, но это тоже не помогало. Ничего не помогало, когда речь шла о Лили — ни диагнозы, ни лечение, ни рационализация ни в какой форме — ничего. Наконец даже ее судороги и слюни в стиле «Экзорциста» стали рутинными, частью обстановки, которую уже не замечаешь. Она была печальным фактом жизни, как жалкое папино мягкое кресло, такое вонючее и обветшалое, что мы все его хотели выбросить.

Взрыв звука вырвал меня из старых воспоминаний. Впереди меня большая толпа вваливалась в сводчатые железные двери. Я был почему-то уверен, что это вход в галерею, где выставка.

И я хотел идти дальше, но вместо этого остановился как вкопанный. Мой взгляд наткнулся на скорчившуюся фигуру на резном карнизе ближайшего дома. Она нависала над тротуаром, темная и непонятная, и почему-то от ее вида у меня застыла кровь в жилах. Просто горгулья, как сообразил я после первого ошеломления, но не похожая ни на одну из

тех, что мне случалось видеть. Я прищурился в морозящий мрак. Кажется, эта тварь была получеловеком, полурептилией. Жутковатая округлая голова, слишком широкое лицо. Непомерно огромные глаза, устрашающих размеров пасть и жуткий змееподобный хобот.

— Что привлекло ваше внимание? — спросила Вав.

— Горгулья наверху.

— А! — Она кивнула. — Вы, может быть, знаете, что первоначально горгульи ставили на дома, чтобы напомнить человеку о темной стороне его природы.

— Ну, знаете ли, эта вот представляет темную сторону кого-то, с кем я не хотел бы встречаться. Она просто отвратительна.

И все же я не мог не смотреть на нее. Может быть, потому что у меня личный страх перед рептилиями, возникший, когда мне было семь лет. Я заблудился в прибрежных мексиканских болотах и имел действительно страшную встречу с крокодилом, который намеревался употребить меня на завтрак. Меня озноб пробирал при одном только воспоминании.

— Большая толпа, правда? — спросила Вав, даже не повернув головы.

— И с каждой минутой все больше, имею удовольствие вам сообщить. — Честно говоря, мне было приятно отвлечься чем угодно от нависшего над нами ужаса. — Вы, несомненно, очень популярны.

— Ах, нет, это вы путаете послание с посыльным, — сказала она. — Ко *мне* это не имеет отношения. Они все идут смотреть *картины*.

— Но картины — это и есть вы.

— Когда придем, вы сами увидите.

Она провела меня в сырой переулок вдоль каменного здания. Тут же город исчез в темноте.

— Разве мы идем не в галерею? — спросил я.

— Нам надо спешить, — ответила Вав. — Судя по тому, что вы мне сказали, у нас очень мало времени.

— Но я же ничего вам не говорил... — Мой голос пресекался. Что-то было такое в этом переулке, странно и жутковато знакомое, но я стряхнул это ощущение как бессмыслицу. Кроме того, мысли были слишком заняты обычной паранойей нью-йоркского жителя, опасавшегося быть ограбленным в темном переулке. Чем дальше мы шли, тем сильнее было у меня неприятное ползучее ощущение вдоль позвоночника. Оно достигло такой силы, что я был в буквальном смысле вынужден оглянуться через плечо. И у меня вырвалось очень мерзкое слово, когда мои худшие страхи оказались явью: за нами тащилась какая-то уродливая фигура.

— В чем дело? — Вав остановилась от моего возгласа, а теперь повернулась.

— Кто-то идет за нами, — сказал я. — Видите?

— Боюсь, что я ничего не вижу, — ответила она. — Я думала, вы догадались. Я слепая.

— Ох ты, черт!

— Ничего. Это часть моего дара, — ответила она, неправильно меня поняв.

«Из огня да в полымя», — подумал я, хватая ее за руку и увлекая за собой по переулку.

— Быстрее, — сказала она. — Торопитесь, Вильям.

Фигура догоняла нас пугающе быстро. И вдруг я узнал, что значит, когда кровь холодеет в жилах, потому что я оказался лицом к лицу — если можно это так назвать — с мерзкой горгульей. Настолько мерзкой, что едва можно было смотреть. Теперь я понял, что в ней привлекло мое внимание: я увидел, как она шевелится. Проблема в том, что я тогда не мог в это поверить. Теперь не оставалось выбора. Она была живая и гналась за нами.

— Это горгулья, — сумел я выдавить из себя. — Вав, если ты себе представляешь, что вообще происходит, самое время мне сказать. — Тут до меня дошло, что Таззман меня застрелил, и это на самом деле... Ад?

— Вав, скажи мне, что я не мертв.

— Это хуже, чем то, во что мне пришлось поверить, — сказала она скорее себе, чем

мне. Какую тайну видели ее слепые бронзовые глаза? — Поверьте мне, Вильям, вы не мертвы.

Не успела Вав это сказать, как горгулья бросилась на нас с такой скоростью, что я только успел уклониться с ее пути. Жуткая когтистая рука пронеслась у меня перед глазами и ударила Вав с такой силой, что ее вырвало из моих рук и она подпрыгнула как мяч, ударившись о мостовую. Потом, к моему удивлению, горгулья метнулась назад, будто учуяв что-то, что я не видел и не слышал. Я как дурак повернулся к ней спиной и нагнулся к Вав.

— Вильям, вы здесь?

— Вы же знаете, что да. — Повсюду была кровь, горячая и густая. — Я вызову «скорую».

— Поздно. Вы должны пойти на выставку, — шепнула она. — Это жизненно важно.

— Вав, ради Бога, скажите мне, почему?

Но се уже не было, и я чувствовал, что тварь готовится броситься на меня, поэтому я оставил ее и побежал. Но было уже поздно. Меня зацепила лапа, и я полетел лицом вниз на булыжники. Попытался подняться, но меня, кажется, парализовало. Сил хватило только перевернуться. Горгулья нависла надо мной, страшная морда исказилась призрачной ухмылкой.

Я закрылся рукой, и тут же меня охватил страшный приступ головокружения. Будто сами булыжники мостовой подо мной растаяли, и я полетел в темную бесформенную яму. Кажется, я закричал. Потом, наверное, я потерял сознание, потому что следующее, что я увидел, когда открыл глаза, была прохладная лесная поляна. В дубовых ветвях чирикали и пели птицы; контрапунктом отзывалось им ленивое жужжание насекомых. Пахло клевером и острыми ароматами вербейника и мяты. Поглядев в небо, я понял, что сейчас то время дня, когда, сменяя уходящее солнце, кобальт вечернего неба расплзается, как непостижимые слова по странице.

Заржала лошадь, и я, повернув голову, увидел величественного гнедого охотничьего скакуна, который щипал траву. Он был снаряжен по английской охотничьей традиции.

Тут я услышал дробный стук копыт, оглянулся и увидел вороную лошадь с белой звездой во лбу, а еще я увидел лицо женщины. Совершенно поразительное, с изумрудными глазами и темно-белокурыми волосами, спадавшими на плечи, густыми, как лес. *Лучезарная* — такое слово приходило на ум. Лучезарная, как мало кто бывает или даже может надеяться быть. Она уверенно держалась в седле, одета она была в дорогой, но практичный охотничий костюм темно-синего цвета, кроме шелковой юбки — та была молочно-белой.

— Вы не ушиблись? — спросила она с приятным четким английским акцентом.

— А должен был? — спросил я в ответ. И протер глаза, которые, к моему окончательному ужасу, источали слезы. Я хотел перестать реветь, но не мог. Мне не хватало Вав; я хотел, чтобы она вернулась. До меня дошло, что в ее обществе мне впервые за много лет было легко.

— Издали казалось, будто вы сильно упали, но теперь я понимаю, что лесная подстилка из дубовых листьев приняла удар на себя.

Я понятия не имел, о чем она говорит. Но когда я встал, то обнаружил, что отряхиваю листья и мусор с мостовой и высоких черных охотничьих сапог. И ни следа крови Вав, которая секунду назад залила меня с головы до ног. Я снова заплакал, и так обильно, что мне от смущения пришлось от нее отвернуться.

— Кажется, все в порядке, — ответил я, когда смог взять себя в руки. Потом приложил ладонь ко лбу. — Только голова немножко болит.

— Это не должно быть удивительно. — Она протянула мне гравированную серебряную фляжку, висевшую у нее на бедре. — Возьмите. Судя по вашему виду, вам это может быть полезно.

Я открутил крышку и ощутил знакомый запах мескаля. Испытал знакомую тягу, но что-то щелкнуло у меня внутри, и появился мысленный образ рыбы, всплывающей к крючку с наживкой. Я еще минуту помедлил, потом отдал флягу ей.

— Как-нибудь в другой раз.

Она кивнула.

— Не вижу причин, почему бы мне не подождать и не проехать остаток пути с вами.

Я огляделся:

— Мы участвуем в каком-то стипльчезе?

— Да, конечно. — Она рассмеялась, и это было как тысяча серебряных колокольчиков. — Мы на охоте, Вильям.

Взяв поводья гнедого, я вставил ногу в левое стремя.

— И мы, наверное... где мы?

Я вскочил в седло.

— Лестершир. Восток средней Англии. Чарнвудский лес, если быть точным.

— Сердце охотничьей страны, — сказал я. — И Коттесмор тоже здесь происходит, если мне память не изменяет.

— Ежегодная большая охота на лис. Да, разумеется. Но теперь она уже не порождает тяжб. — Глаза ее заискрились самым зовущим образом. — Теперь поехали! — Она ударила кобылу каблуками по бокам, и та скакнула вперед. — Я не хотела бы пропустить самое интересное, а вы?

Я послал гнедого за ней, и мы тут же сорвались в галоп. Чтобы передать вам, как эта женщина меня захватила, я сознаюсь, что даже тогда, когда я отчаянно пытался вспомнить хоть что-нибудь о том, как ездить верхом, я неотрывно изучал ее черты. Цветущая сливочного цвета кожа наводила на мысль, будто она родилась для охоты — или по крайней мере для туманного английского сельского пейзажа. В ней ощущался какой-то манящий разум и при этом ореол беззаботности, который притягивал меня непостижимым для меня самого образом. Если бы в тот самый момент кто-нибудь предупредил меня о ней — возьмем крайность: сказал бы мне, что она убийца, — я бы только рассмеялся, дал бы гнедому шпоры и оставил бы этого человека глотать пыль. Я был счастлив ее пьянящим обществом. Увидел ее только что, а ощущение было, будто я знаю ее всю жизнь. Какая-то связь, тесная, как пуповина, объединяла нас. Она была как неожиданный подарок под рождественской елкой. *Это на самом деле мне?* — хотел я спросить, протирая глаза и все равно не веря.

— Эй, вы знаете мое имя, но я не знаю вашего, — сказал я.

— Конечно, вы меня знаете, Вильям. — Она подняла руку, и я поразился, увидев паутину меж ее пальцев. — Я — Гимел, плетущая реальность, купель идей, исток вдохновения. Я, как мой почти тезка кэмел-верблюд, наполнена до краев, я — самодостаточный корабль даже в самом враждебном климате.

В этот момент мы выехали на широкий луг, испещренный одуванчиками и наперстянками. Призраки солидных дубов уходили вперед по обе стороны, и в сгущающемся полумраке я мог разглядеть только широкую тропу. И мы двинулись по ней. Я трезво напомнил себе, что все эти капризы мысли не более чем остатки старых фантазий, быть может, от десятков тысяч лихорадочных гормональных снов, случившихся во времена моего достаточно трудного созревания. «Трудного» — в смысле испорченного, как черные заплесневелые остатки, которые, бывает, найдешь в холодильнике, когда вернешься после полугодового отсутствия.

— Я так понимаю, что мы только одни на этой охоте на лис, — сказал я, поравнявшись с ней. Мы ехали так близко, что я вдыхал ее прекрасный аромат.

— О нет, я бы никогда не стала охотиться на такую красоту, как лиса. — Когда она встряхнула головой, волосы ее колыхнулись самым заманчивым образом. — Мы охотимся на зверя.

— Какого зверя?

— Вы отлично знаете, Вильям, не притворяйтесь. — Она метнула на меня пронзающий взгляд, и я увидел кремневую остроту в этих великолепных изумрудах глаз, и сердце у меня перевернулось. Доктор, кислород! Остановка сердца! — Зверь зверей, — сказала она, не заметив стрелы, пронзившей мое сердце. — Только один есть зверь столь отвратительный,

столь заслуживающий охоты.

— Послушайте, должен признать, я несколько смущен. Понимаете, я только что лежал в парижском переулке, залитый кровью подруги...

— Так вы считаете Вав своей подругой? Интересно. Вы же знали ее очень недолго.

— Я хорошо разбираюсь в людях, — ответил я несколько рассерженно. — Если вы ей не друг, лучше скажите это прямо сейчас.

Она рассмеялась:

— Боже мой, как вы быстро встали на ее защиту!

Мы ехали рядом, и она перегнулась и поцеловала меня в щеку, и я услышал пение птиц у себя в голове, тех, которые в мультиках летают вокруг головы Сильвестра, когда Твити как следует двинет его молотком.

— Мы с Вав были как сестры. Даже больше, если можете себе представить. Как два ломтя одного пирога.

— Мне ее не хватает.

— Меня это не удивляет, — сказала она. — Вы направлялись на выставку картин. Очень важно, чтобы вы туда попали. — Она кивнула, будто сама себе. — Жизненно важно, можно сказать.

— Вы хотите сказать, что знаете, как мне вернуться в Париж?

— Это не было бы разумно, как вы думаете? Кроме того, в этом нет необходимости. — Она ехала не слишком быстрой рысью, так что я мог держать ее темп. Спина прямая, плечи развернуты — тот вызывающий вид девчки-сорванца, против которого я устоять не могу. Я представил себе, как она несется сквозь лес подобно Диане, мифической охотнице, мышцы натягиваются, когда она накладывает на тетиву стрелу и пускает ее в выбранную дичь. — Выставка переехала в Замок. Мы доберемся туда быстро, как только сможем. Но сначала мы должны увидеть неизбежное заключение охоты.

— Если оно неизбежно, чего же нам о нем волноваться? — спросил я. — Отчего не поехать прямо в Замок?

Она нахмурилась.

— С тем же успехом можно спросить, почему нельзя сначала выдохнуть, а потом вдохнуть. Просто нельзя. Законы вселенной, сами понимаете.

— Это те самые законы, которые дали мне в мгновение ока перенестись из Нью-Йорка в Париж и из Парижа в Чарнвудский лес? Или те, по которым выставка из Парижа перенеслась сюда?

— Именно так. — Она не отреагировала на мою иронию. Кажется, даже испытала облегчение. — Мне так приятно, что мы с вами оказались на одной странице.

Я застонал. На странице — какой неведомой книги?

— Не волнуйтесь, — сказала она. — Я доставлю вас туда, где вы должны быть. Поверьте мне, Вильям.

По спине у меня пробежал холодок, потому что эти же слова говорила Вав. И тут я принял решение. Пришпорив коня, я перегнулся к ей. Пока что, как я понял, игра по правилам, какими бы странными они ни были, ничего хорошего не приносила. Все меняется! Я схватил поводья ее лошади и свернул с проторенной тропы.

— Что вы делаете! — воскликнула она.

— К Замку, где бы он ни был, — ответил я. — Пусть остальные возятся со зверем.

— Кто остальные? — Мы теперь ехали бок о бок. — Вильям, на этой охоте только мы с вами!

— Тем лучше, — сказал я. — Некому будет нас хватиться.

— Вы не понимаете...

Я наклонился к ней так близко, что вдохнул запах ее волос.

— Теперь мы к чему-то подходим.

Она облизала губы. В наступившей ночи ее глаза были как неограниченные изумруды. На миг у меня мелькнула шальная мысль, не слепа ли она, как Вав.

— Мы должны загнать зверя, — сказала она. — Иначе он никогда не пустит нас к Замку.

— Почему?

— Вильям... — Было теперь что-то такое в ее лице, какой-то неуловимый след от раны столь свежей и глубокой, что она еще кровоточила. — Вав не посчиталась с присутствием зверя на свой страх и риск. Вспомните, что с ней случилось. Я не хочу повторить ту же ошибку.

У нее был вид такой ранимый... Я коснулся ее шеи.

— Какую ошибку?

Она чуть дрожала.

— Картины и зверь переплетаются. Нельзя увидеть одно и не встретить другого. Она думала, что может отвести вас прямо к картинам, что может обойти зверя. Она ошиблась.

— Вы все говорите о звере, но что именно вы имеете в виду? Насколько я знаю, таких зверей нет в Лестершире или, если на то пошло, во всей Англии. Большие хищники здесь истреблены, как почти во всей Европе.

Глаза ее всмотрелись в мои.

— Вав не объяснила?

— Если бы она это сделала, зачем бы я стал спрашивать вас? — мягко заметил я.

— Это упражнение в бесполезности. Обещаю вам, что вы мне не поверите.

Я поцеловал ее в щеку.

— Вы хотите сказать, что даже не дадите мне такого шанса?

Кажется, она призадумалась. Я чувствовал, что она приходит к решению, которого предпочла бы избежать.

— Лучше будем ехать, пока разговариваем.

Я кивнул и отпустил ее поводья, не отставая, когда она круто свернула через холодную голубую траву к чернильным теням леса.

— Зверь — порождение хаоса, — сказала она наконец. — Он едва ли думает так, как понимаем это слово вы или я, с ним невозможно рассуждать или искать компромисс, но его реакции на раздражители потрясающе быстры. Он — чистое зло.

— Он напал на Вав раньше, чем я успел мигнуть.

— Бедная Вав. У нее не было ни единого шанса, — сказала Гимел со странной интонацией, будто сама себе. Потом она встретила со мной взглядом. — Я уже сказала, что не хочу повторять ту же ошибку.

Я хотел спросить, что она имеет в виду, но тут в лесу все сразу переменялось. Не дубы, не прохлада вечера, не густой запах земли, не ощущение пребывания в этом месте. Не знаю, как это точно сказать, но было так, как будто с той минуты, как я выбежал из задней двери «Геликона», я балансировал на натянутом канате. Теперь канат порвался, и я падал. Не в буквальном смысле, поймите меня правильно. Но я, говоря фигурально, выпадал из одной реальности — или скорее моего *восприятия* реальности — в другую. Лопнул пузырь, и я вдруг оказался под шкурой вселенной. Я сидел внутри и смотрел на поверхность — яркую, блестящую, слишком знакомую оболочку — всех обыденных вещей, которые воспринимал как должное. Теперь мне все казалось иным. И вместе с этим чувство, будто рябь узнавания, как *дежа вю* яркого сна, тех незаконченных картин, что висели в ателье Вав. На кратчайший миг я заглянул под обычную импрессионистскую оболочку и увидел то, что они *значат*. «Они не имеют ко мне отношения», — сказала Вав о картинах выставки. Я тогда ее не понял. Как может выставка *не иметь* к ней отношения? Это я думал там, в Париже. Она — художница. И вот сейчас я начал понимать, что она хотела сказать. Важны только картины. Тот, кто их написал, — в реальном смысле совершенно не важен.

— Пойдите! — крикнул я Гимел. — Погостите секунду!

Она развернула кобылу.

— В чем дело?

Я уже спешил.

— Что-то есть здесь... что-то знакомое.

Она спрыгнула с лошади, и когда лошадь повернулась, я увидел притороченный к седлу старомодный большой лук — не композитный лук из материалов космического века, которые возят с собой современные охотники, — а при луке колчан и стрелы. Она подошла ко мне, заметно хромая, будто одна нога у нее короче другой. Тут я заметил, что левая нога у нее меньше и худее правой, увядшая, как сухой стебель пшеницы.

— Может быть, вы бывали в этой части Чарнвудского леса.

Я покачал головой.

— Я не бывал за пределами Лондона. Но даже если бы и так, это не то, что я имею в виду. — Я пошел по краю полянки. — Это чувство... оно не так примитивно. — Она смотрела на меня спокойно, но с некоторой долей любопытства. — Вы не думаете, что возможно знать какое-то место — я хочу сказать, знать его насквозь, — ни разу там не побывав?

— Если оно принадлежит только физическому миру — нет, конечно, нет. — Она перешла поляну, прихрамывая по-своему, и остановилась передо мной. — Но ведь вселенная гораздо больше физического мира?

По тону ее голоса я чувствовал, что она спрашивает совсем другое.

Любопытно, как со мной случаются эти моменты перехода. Снова мое сознание обратилось в прошлое. Передо мной возник образ Донателлы, слегка навеселе. Мы познакомились в Мексике, где она проводила отпуск с мужем и сестрой. Пока бессовестный муж обхаживал ее сестру, мы с Донателлой сидели на тихих и зеленых скверах Оаксакана и пили мескаль. Это помогало переносить жару и толкало нас в припадки необузданной страсти. Теперь, вспоминая эти эротически заряженные моменты у меня или у нее в номере, я впервые понял, что все это шло неправильно. Они были яростными, эти сексуальные свидания, но — и это очень больно признать — безрадостными по сути. Больно, потому что стало ясно, как мало на самом деле у нас было, до чего мелкими людишками были мы вместе. До меня дошло, что Донателла становилась лучше с Германом — и это тоже было больно. Сказать, что это осознание стукнуло меня как курьерский поезд — значит впасть в преуменьшение. До этой минуты я был абсолютно уверен, что мы любили друг друга, даже после того, как она сбежала с Германом. Теперь я понял правду. Наша любовь, как обложка журнала с полуголой моделью, была лишь принятием желаемого за действительное. Печальная правда была в том, что мы с Донателлой соединились не по тем причинам, и по тем же причинам поженились. Прошло только двенадцать часов после ее развода, и вот — бац! — мы уже женаты. Соблазнительное это было, но отравленное начало, когда мы сидели, вытянув ноги, пьяные от мескаля и друг от друга, тиская влажную плоть под дощатым столом под сонными внимательными взглядами официантов-мексиканцев. До сих пор, когда я слышу задумчивый перебор мексиканской гитары, у меня туманятся глаза. Но думаю, правда в том, что, когда Донателла ублажала меня, думала она о муже, сестре и о мести.

Нет, мы никогда не любили друг друга. Даже наше пламя было не столько страстью, сколько гневом — гневом на все вокруг. И этот гнев — демоническая страсть — нас спасал. На время. А потом его не стало. Нельзя даже было сказать, что наши отношения закончены, потому что они никогда не начинались. Мне она никогда не переставала нравиться. С Лили она была просто святой, навещая ее каждую неделю, на что я совершенно не был способен. Мы с ней чаще всего схлестывались в диких ссорах именно из-за этого. Она говорила, что это смертный грех — так пренебрегать сестрой, и — кто знает? — может, она была права. И еще Донателла, будучи католичкой, отдавалась всем заморочкам и предрассудкам, в обязательном порядке сопутствующим религии. Я часто гадал, как она сама перед собой оправдала два развода. Однажды, когда я ее спросил, она ответила мне с некоторым любопытным презрением, что у нее есть дядя, который знаком с Папой и смог организовать ей отпущение.

До сих пор не знаю, правда ли это. Как бы там ни было, не думаю, что это важно. Она была наверняка добрее к моей сестре, чем к своей, но кто я такой, чтобы ее за это обвинять?

Не могу. И не буду. Она уникальная личность, я в конечном счете рад, что мы встретились, хотя и узнал ее слишком хорошо и слишком поздно. Но если дойти до сути — содрать и отбросить все, что неважно, то она никогда не была моей, и самая глубокая боль порождена осознанием многих лет самообмана.

От огромности этих откровений меня замутило. Будто мир обратился в прах, будто память молниеносной косой прошла по цветущему полю иллюзий. Моих иллюзий. Отныне Донателла, ленивый зеленый мексиканский сквер, неистовые потные соединения, заунывные перезвоны гитары за треснувшим окном отеля — все закачалось и потеряло суть, как джинн, исчезающий в своей лампе.

Я снова стоял в Чарнвудском лесу в эфирной тьме поляны. Со мной рядом стояла Гимел, я слышал ее чуть пряный аромат.

— О чем вы думали? — спросила она. — Я чувствовала вашу напряженность.

— Вспоминал свою жизнь, — честно ответил я. — И мне, к сожалению, стало ясно, что она не была такой, как мне казалось.

— Ну и что? — Глаза ее сияли. — То, что мы познаем сразу, немногого стоит, вы не согласны?

— Я не знаю вас. — Я теснее прижал ее к себе. — Совсем не знаю.

— А это значит, что мне цены нет? — Глаза ее затанцевали с озорной улыбкой. — Вы это хотели сказать?

Прохладная тишина отодвинула весь остальной мир как тусклый размытый дагерротип. Смолк ли ветер среди дубовых листьев, прекратили ли птицы вечерние песни, перестали переговариваться морзянкой насекомые? Мне так показалось. В Мексике Донателла как-то сказала мне, что когда она со мной, все остальное перестает существовать. «Существование — это кончик языка пламени, — сказала она тем вычурным языком, которым передавала обычно картины своего воображения. — Когда я в твоих руках, я в самом пламени, ты это понимаешь?»

И с Гимел я был будто в пламени, а все остальное бытие втиснулось в исчезающий промежуток между нами. Но внешний мир ворвался как холодный и зловеющий ветер. В тот миг, когда мной овладели воспоминания, я что-то упустил, может быть, что-то определяющее.

Меня тут же наполнили дурные предчувствия. Улыбка застыла на лице Гимел. Я увидел, как покрылись гусиной кожей ее руки.

— Что случилось? — спросил я.

И тут я тоже это услышал. Что-то очень большое пробиралось по лесу. Мы стояли, застыв в неподвижности, стараясь понять, что это за звук, и я понял, что он направляется прямо к нам.

— Это зверь, — шепнула она. — Он нас нашел.

— Давай-ка лучше по коням, — предложил я.

— Ты думаешь, это будет разумно? — Она положила руку на уздечку моего коня. — Теперь, когда мы здесь, ты все еще веришь, что лучший выбор — бегство?

— А что еще делать? — спросил я. — Твои стрелы его остановят?

— Не знаю.

— Неуверенность — не лучший шанс.

— А при чем здесь шансы? — Голос ее вдруг наполнился печалью. — Ты думаешь, Вав взвешивала шансы, когда вела тебя тем парижским переулком?

— Я бы так не сказал.

— Тогда ты прав, — сказала она, резко отпустив уздечку. Казалось, она сейчас расплачется. — Лучше попытаемся сбежать, пока не поздно.

Но уже было поздно. Я не успел поставить сапог в стремя, как раздвинулся подлесок и черная громоздкая тень прыгнула из темноты. Вороная кобыла встала на дыбы, фыркнула, раздувая ноздри, и Гимел наложила стрелу. Оттянув тетиву, она выстрелила. Может, это была иллюзия синих сумерек, но стрела исчезла за миг до того, как пронзить грудь зверя. Тихо

вскрикнув, Гимел бросилась наперерез чудовищу.

— Нет! — успел крикнуть я, когда зверь занес огромную лапу. Неимоверно мощную. Даже издали я услышал хруст шейных позвонков. Страшная сила подбросила Гимел на несколько футов и развернула в воздухе, и я увидел, как уходит свет из ее глаз. Она упала на землю, запорокинув голову.

У меня живот свело судорогой, и я рванулся к ней. Но еще меня неодолимо тянуло разглядеть зверя получше, чем я разглядел горгулью. И все равно я успел только мельком глянуть. У твари было то же мерзкое лицо, что мелькнуло передо мной в парижском переулке, но на сей раз ее тело было определенно более звериным, чем человеческим. Как и в тот раз, она помедлила, но в этот раз мне показалось, что я услышал что-то, какой-то дальний треск винтовочного выстрела. Не теряя времени, я подхватил Гимел и потащил ее в чащу дубов. Там я взял ее на руки; она была не тяжелее ребенка. Будто в ней вообще не было субстанции, будто она исчезла, когда зверь сломал ей шею.

И все равно я не мог ее оставить. Она пожертвовала собой, бросилась между мной и зверем. У меня за спиной зверь ломился сквозь чащу, рвался ко мне. Я побежал, спотыкаясь на выступающих корнях, цепляясь за ползучие растения, оступаясь на склизких поганках. Один раз я упал на колени, но Гимел не выпустил. Не мог я даже думать оставить ее здесь, чтобы зверь ее нашел и, может быть, сожрал. Это было бы бесчеловечно.

Я уже сказал, что тело ее было совсем легким, но все равно среди густого подлеска бежать мешало сильно. И потому зверь быстро меня настигал, и его адское дыхание было как рев огромной машины, собирающей меня переехать. Вдруг я выскочил из леса и заскользил, чуть не падая, вниз по берегу довольно широкого потока. Быстро посмотрел по сторонам. Ничего не оставалось, как только бежать вперед, в воду. Она была холодна, как лед и куда глубже, чем казалось с берега. Я уже погрузился по пояс, и это еще было не самое глубокое место. За моей спиной зверь вырвался из леса. По инерции он пролетел до самой кромки воды, встал на дыбы и заревел от ярости. Может быть, он воды боится. Я воспрял духом и пошел вперед. На середине потока вода была уже по грудь. Каким бы ни было легким тело Гимел, а держать его на весу требовало усилий.

Я оглянулся через плечо и невольно вскрикнул от ужаса. Зверь превращался в гигантскую рептилию. На спине выступила чешуя, между задними ногами вырос толстый хвост со зловещными шипами. Поблескивая бледным брюхом, рептилия вошла в воду и устремилась ко мне с угрожающей быстротой.

Сразу мне снова стало семь лет, там, в мексиканских болотах. Жаркое солнце жгло шею как ярмо. Кишели насекомые, пируя на моем голом теле. Меня отделяла от отца стенка переплетенных лианами деревьев. Он задремал, привалившись к здоровенному пню, а я от скуки побрел прочь. И теперь я не знал, как вернуться обратно в лабиринте изумрудной листвы и илистой воды туда, где он наверняка меня ищет. Для довершения несчастья я наткнулся на крокодила, отдыхающего на мелководье. Он был серо-белый и огромный, а доисторическая гребнистая спина, броня и огромные подвижные челюсти делали его похожим на смертельное оружие на четырех мощных ногах.

Господи, ну и быстро же он двигался! Ящер кинулся на меня, будто его выпустили из ракетомета. Пасть уже была открыта, и видны были двойные ряды бритвенно-острых зубов. Казалось, что зверь мне усмехается. Я завопил, когда споткнулся. Я видел, как он несется ко мне. И тут прогремел выстрел, крокодил подпрыгнул вверх, упал и забился на земле. Еще один выстрел, и тяжелое мускулистое тело заметалось, почти накрыв меня. Когда он плюхнулся в солоноватую воду, это было так близко, что меня облило с головы до ног. Последний удар хвоста порезал мне предплечье. Тут меня подхватили отец и Адольфо, наш мексиканский проводник. Адольфо хотел отнести меня к джипу, который нас привез, но отец покачал головой и дал мне свою толстую твердую трость. Я взял ее и с размаху опустил на бронированный череп крокодила. И снова, и снова, крикая от усилий и поднимавшейся во мне злости, а Адольфо бормотал как молитву: «Es muy malo». Очень плохо. Я не обращал внимания и все бил и бил, пока не проломил кость, пока не счел, что наказал зверя

достаточно, так же сильно, как он меня напугал.

В мгновение ока это промелькнуло передо мной как сон. Ощущение *дежа вю* тут же прошло, потому что я знал: Адольфо здесь нет, никто не убьет эту тварь, пока она до меня не добралась.

От ее движений ко мне по воде дошли волны. Что ж, значит, так. Мне судьба здесь погибнуть, эта тварь получила второй шанс сделать со мной в иной реальности то, что могло случиться в мои семь лет. Я ощущал в ночи ее присутствие. Нет! Я этого не допущу. Сказав быструю молитву, я бросил тело Гимел и обернулся к зверю. Шарнирные челюсти уже распахнулись, и я, сжав руку в кулак, сунул согнутую руку вертикально в разинутую пасть. Зубы разорвали кожу, и я вскрикнул, но не уступил. Руку я использовал как палку, потому что в очень ранней молодости где-то прочел: если сунуть палку в пасть крокодилу, он не сможет ее захлопнуть.

Так мы и сцепились: я — окровавленный, тварь — бьющаяся в судорогах, стараясь достать меня мощным хвостом. Ужас боролся с усталостью, заставляя меня держаться, но хвост чудовища подбирался все ближе и ближе, бешено вспенивая воду. Сила его атаки сталкивала меня в глубь реки, и я чувствовал, как усиливается течение, бурля вокруг меня, засасывая, как пасть левиафана. И сила его росла, пока вдруг не сбила меня с ног. Меня закрутило с такой силой, что даже рефлексy зверя оказались недостаточно быстрыми, чтобы захватить мою руку. Меня затащило под воду, подхватило реющим потоком. Я попытался обрести равновесие, а когда это не вышло, просто старался держать голову над водой. Полыхнула боль, когда я налетел на подводный камень. Меня отбросило и завертело. Вспышка боли ударила в бок. Я потерял понятие, где верх, где низ. И снова на что-то налетел. На этот раз не на камень, это было мягкое и цилиндрическое. Тело. Тело Гимел. Я охватил его руками и не выпускал, высовывая голову и хватая желанный воздух, пока меня снова не затягивало вниз. Когда я сделал это второй раз, сила течения стала слабеть, и я смог попытаться выплыть к берегу.

Вытащив труп Гимел на илистый берег, я рухнул рядом, скорее мертвый, чем живой, как мне казалось, потому что ощущал странную с ней связь. Она спасла меня от зверя, как Вав в Париже. Иссохшая левая нога казалась теперь естественной и неотъемлемой частью ее существа. Рука ее лежала поперек моей груди, как спасательный линь, и я закрыл глаза, гадая, не спасся ли я все же в конце концов.

Через миг это уже было не важно, потому что я потерял сознание.

Очнулся я от дождя, падавшего мне на лицо. Еще не рассвело. Может быть, я сутки пролежал без сознания — это невозможно было узнать. Где-то гремел гром. Я приподнялся на локте, и вспышка молнии озарила совершенно незнакомый пейзаж. Я лежал в топкой низине у опушки леса, реки, которая меня сюда принесла, не было. Очевидно, это уже не был Чарнвудский лес. Судя по толстым стволам сосен и американских сахарных кленов, это даже была не Англия. И Гимел исчезла вместе с потоком. Я перекатился на то место, где она лежала, и поразился охватившему меня чувству потери.

Потом я протер глаза тыльной стороной ладони. Рука, которую я вбил в пасть зверя, была как новая. Крови не было. Совсем. Воздух был заметно холоднее, и я задрожал в мокрой одежде. Я понимал, что нужно быстро найти какое-то укрытие, иначе наступит переохлаждение. И подумал, где мой следующий проводник, потому что в двух предыдущих реальностях он был. Не почуяв никого рядом, я встал и, выбрав случайное направление, пошел туда. Я решил, что система нарушена, потому что два моих предыдущих проводника погибли.

Поскольку мой отец занимался ремонтом мебели и работой по меди, я родился и вырос в Хэдли в штате Массачусетс, где он пользовался прекрасной репутацией. Здешняя местность, идентичная густо поросшим холмам моего детства, немедленно напомнила мне тот единственный раз, когда я согласился отправиться на семейный пикник с Лили. Леса эти были мне знакомы, в момент пикника мне было двенадцать, и я уже часто ходил на охоту с отцом. Он любил охоту, как большинство мужчин его возраста любят гольф. Он не любил

насилия — по крайней мере в семье. Но однажды я видел, как он измолотил в кашу громилу вдвое больше себя, который подрезал нас в плотном потоке машин. Я стоял возле нашей машины, открыв рот, а он избил этого великана до бесчувствия. Может быть, в нем была агрессивность, которая и заставляла его охотиться. С другой стороны, охота требует хитрости, лукавства и очень большого терпения, на что человека агрессивного надолго не хватит.

И все же он не очень ладил с Лили, и, хотя и он, и мать это решительно отрицали, насколько я могу судить, его уход не имел другой причины. Не могу говорить за своего брата, но мне трудно было примириться с его уходом. Конечно, я обвинял Лили — не мог же я обвинять его или мать? Лили была очень удобной целью — как череп того крокодила, что я проломил, когда Адольфо застрелил его. Он уже не мог мне ничего сделать, но до того успел вызвать бешеную ненависть.

Наверное, Лили тоже.

Как бы там ни было, а в первые месяцы после ухода отца мать отчаянно старалась удержать вместе то, что осталось от семьи. Я думаю, таким образом она пыталась уверить нас, что мир не рассыпался. Через много лет до меня дошло, что она и себя в этом старалась убедить. И где-то к концу она организовала этот пикник. Поскольку я был старшим, мне выпала обязанность складывать и раскладывать коляску Лили, а также возить ее, пока она вопила, лаяла, выла и вообще доставала меня, как могла.

Был прекрасный весенний день в конце мая. Деловито чирикали птицы, гудели насекомые. Почему-то в воздухе было полно бабочек, будто они вылупились из золотых куколок все одновременно. Можете себе представить, как они были красивы, но что-то в них — быть может, неровный зигзагообразный полет — Лили, казалось, напугал. Она подскочила в коляске, вопя и хватая воздух скрюченными пальцами. Когда я сдуру подошел и попытался ее успокоить, она вцепилась в меня ногтями так, что пошла кровь.

Вот тогда я ее и ударил. Это была всего лишь пощечина открытой ладонью, и она напугала меня так же, как ее. Глаза ее закатились под лоб, лицо налилось кровью, но долгие минуты она молчала. Потом разразилась слезами. Она рыдала и стонала, покачиваясь и трясясь, как в лихорадке.

Мама подбежала и как следует двинула мне в ухо прежде, чем отшвырнуть в сторону. Она присела возле Лили и начала долгий невыносимый ритуал ее успокаивания. Пока она нежно поглаживала ей руки и что-то приговаривала, пока Лили рыдала и дергала ее за волосы, противный Герман смотрел на меня с полным презрением взрослого. Он не пытался помочь Лили — я не верю, что она его любила, и он это знал. Зато он мог смотреть на меня сверху вниз. Мог сказать, что *он* никогда не поднял руки на сестру.

— Как ты мог. Билли! — упрекнула меня мама спустя некоторое время.

— Мам, ты посмотри, что она мне сделала! Она же меня до крови расцарапала!

— Она не владеет собой. И никогда бы намеренно тебя не поранила. Ты знаешь, как Лили тебя любит.

— Ничего я такого не знаю, мам! — горячо возразил я. — А если честно, то и ты тоже. Ты можешь сказать, что гриб тебя любит? Нет, потому что гриб не умеет думать.

И тут она сделала такое, чего не делала ни до, ни после. Она схватила меня за грудки и затрясла, как тряпичную куклу.

— Ты заговорил как твой отец, парень, и я этого терпеть не собираюсь! Ты меня понял? — Она просто взбесилась. — Это твоя сестра! И это человек, такой же как ты или Герман.

— Таких, как Герман, вообще не бывает.

— Я говорю серьезно, Билли! Что нужно, чтобы ты понял?

Она вдруг выпустила меня, и весь огонь из нее выдохся.

У нее был вид побежденного — не мной, жизнью. Линзы, сквозь которые виделся ей мир, были так искажены ее прошлым, что она не могла не поставить нам те же жесткие пределы, что ставила самой себе. Она повернулась к Лили, но я успел заметить горький

скорбный вид, который заволокло ее лицо как саван.

Воспоминание об этом ярком и кровавом дне померкло, когда я добрался до сосновой опушки. Я оказался на краю утоптанной грунтовой дороги. На самом деле просто проселка. Я посмотрел в обе стороны, ничего особенного не увидел и пошел налево. Когда приходится выбирать, я всегда выбираю поворот налево. Поднялся ветер, и вместе с ним начался дождь. Без защиты леса я задрожал от холода. Прибавив скорость, я через двадцать минут увидел дом, отделенный от меня темным вспаханным полем. И побежал через открытое место, мокрая одежда от резкого ветра прилипала к коже. Я миновал старый заржавевший трактор довольно жалкого вида, будто его тут бросили и забыли.

Дом был старым, викторианского стиля, с резными украшениями, широким крытым крыльцом и комнатами с башенками, похожими на остроконечную шляпу колдуна. Вообще вид у него был мрачный. То, что он был выкрашен в серое, как военный корабль, уменьшению мрачности не способствовало, но я вообще не очень люблю викторианский стиль — на мой вкус, слишком вычурно.

Как бы там ни было, я поднялся по широким дощатым ступеням на крыльцо, спасаясь от дождя. Перед тем, как позвонить в звонок, отряхнулся, как собака. Звонок прозвенел где-то в глубине дома, задребезжал своеобразно, так что у меня зубы отозвались резонансом. Когда на второй звонок тоже никто не отозвался, я попробовал дверь. Она была не заперта.

Войдя внутрь, я оказался в суровом вестибюле овальной формы. Главной его достопримечательностью была винтовая лестница, гордо поднимавшаяся на второй этаж. Справа была гостиная, слева — кабинет.

— Эй! — позвал я. — Есть кто дома?

Ответа не было. Не считая серьезного тиканья дедовых часов, покрытых черным лаком и с резным белым фаянсовым овалом, закрепленным над циферблатом. Если бы это был человек, я бы сказал, что он болен.

Кабинет был освещен горящими дровами из камина, так перегруженного углями, как будто он горел уже сотни лет. Как вы можете сами сообразить, треск и искры ароматных поленьев манили, как и сам жар камина. Я устроился возле решетки и расслабился в приятном тепле. Через секунду я ощутил, как начала сохнуть моя одежда. Пока она сохла, я оглядел кабинет. Он был обшит полосатыми дубовыми панелями. Вокруг комнаты шли перила, багеты и карнизы вышли из моды давным-давно. Круглый обуссонский ковер покрывал пол, и люстра позолоченной бронзы свисала с потолка как паук, ждущий пробуждения.

Когда я достаточно согрелся и одежда перестала прилипать, я прошел по комнатам первого этажа и не нашел ни одной живой души. Странно — дом казался очень обжитым. Например, в кухне на столе я нашел тарелку с оранжевым чеддером и солеными бисквитами, а на массивной газовой плите — почерневший чайник, потому что его кто-то оставил на огне и вода выкипела. Я выключил горелку и чуть не обжег ладонь, переставляя чайник на холодную конфорку.

Я выругался и тут же услышал чей-то крик. Схватив здоровенный кухонный нож, я бросился в вестибюль, и тут крик повторился еще раз, оборвавшись пугающим жидким бульканьем. Это был женский голос и он шел со второго этажа. Я взлетел через три ступеньки.

— Эй! — крикнул я наверху. — Что с вами?

В ответ послышался только тихий плач.

Побежав по идущему налево коридору, я распахивал ногой двери в каждую комнату. В них была только тьма и особый запах запустения. Потом я увидел, что из-под двери в конце коридора пробивается свет. Подбежав к двери, я распахнул ее без колебаний.

И оказался в просторной спальне, возможно, хозяйской. Половину комнаты занимала просторная кровать с балдахином, а в другой половине стояли на страже неудобного вида диван и кресла в барочном стиле Людовика Четырнадцатого. Между ними, свернувшись на левом боку, лежала женщина. Я снова услышал всхлипывания и побежал к ней, склонившись

рядом. Она открыла глаза, увидела нож и отпрянула.

Я тут же его бросил.

— Не бойтесь, — сказал я ей как мог мягче. — Я не причиню вам вреда. — И положил руку на ее плечо. — Напротив.

Мне была видна только правая половина ее лица. Длинные черные волосы струились вокруг нее, как течения в очень глубоком озере. Она была одета в розовую чесучовую блузку и темно-зеленые брюки из того же материала. Ноги ее были босы, и на внутренней стороне одной стопы я увидел татуировку — полумесяц и круг.

— Что с вами? — снова спросил я.

— Принесите свечу, — сказала она. Когда я послушался и зажег свечу, она посмотрела на меня еще раз.

— Вильям, это вы!

— Я вас знаю?

— Меня зовут Далет, — сказала она. — Я — дверь, я — влажный лист, который защищает и кормит.

— Что здесь произошло?

Она повернулась ко мне лицом. Я отпрянул и непроизвольно вскрикнул. Вся левая сторона ее лица превратилась в красную кашу, обожженная пламенем.

— Боже мой! — прошептал я. — Вас надо немедленно в больницу!

— Вы нашли дорогу сюда, Вильям, — сказала она, когда я помог ей встать. — Я хотела вас встретить, провести сюда, но...

Она привалилась ко мне, и голова ее упала мне на грудь, не оставив кровавого следа.

Я помог ей добраться до дивана и устроил ее там. Она тяжело дышала — такое же трудное дыхание, как тиканье часов внизу.

— Он пришел, — сказала она. — Зверь уже здесь, как видите. Он нарушил правила, а это значит, что раньше это сделали вы.

Я тут же вспомнил, как намеренно свернул в сторону на охоте в Чарнвудском лесу, вопреки предупреждению Гимел.

— Кажется, да, — сказал я. — Но я понятия не имел о последствиях.

— Это не так, — сказала она. — Но вышло, как вышло, верно?

— Что вы хотите сказать?

— Любая жизнь имеет последствия, Вильям. Любая жизнь имеет ценность.

— Но не эта тварь. Она уже убила двоих, и посмотрите, что она с вами сделала!

Она поглядела на меня угольно-черными глазами.

— Этот зверь — он еще здесь. Ждет, чтобы выйти на свет.

Я подобрал кухонный нож и сжал рукоятку.

— На этот раз я готов.

— И что вы сделаете? — спросила она. — Пробьете ему череп, как тому крокодилу?

Я вздрогнул:

— Откуда вы знаете?

— Откуда я знаю ваше имя?

Я встал, дрожа.

— Кто вы такая? Кто вы все такие?

— Я вам сказала. Меня зовут Далет.

— Вы термаганты! — крикнул я. — Вы посланы меня терзать!

Она приподнялась.

— А вы не заслужили терзаний? — Я был слишком ошеломлен, чтобы ответить. Может быть, она и не ждала ответа, потому что тут же сказала: — Если нет, зачем вы сами себя терзаете?

— Что... что вы имеете в виду? — спросил я хрипло.

— Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Вильям, сидеть в баре день за днем, прятаться от мира, терять душу, падающую в бездонную яму внутри вас — это не пытка?

— Слушайте! — крикнул я, испуганный уже по-настоящему. Я никому, ни Донателле, ни Майку-бармену, ни бухгалтеру Рею не говорил о бездонной яме. *Никому.* — Какого черта все это значит?

Вот тут она наклонила голову, и черный глаз ее широко раскрылся.

— Вы его слышите, Вильям? Зверь снова в пути. Он выходит из тени.

— К... матери зверя!

— Да, — кивнула она, — конечно, *к... матери.* — Она снова наклонила голову набок. — С другой стороны, вы не можете делать вид, что его нет. И убегать вы тоже больше не можете. Это ваш последний шанс. Здесь ваш последний оплот.

Теперь я тоже его слышал, и почему-то этот звук потряс меня новыми волнами ужаса.

— Скажите мне то, что не сказали другие. Скажите, как его убить?

Она посмотрела на меня с чем-то вроде изумления.

— Его нельзя убить. Я думала, что хоть это вы знаете.

— Будьте вы прокляты! Будьте вы все вечно прокляты!

— Для этого слишком поздно.

Я повернулся и выбежал из комнаты. Нож я держал перед собой, но меня так прошиб пот, что рукоять стала скользить в ладони.

— Боже, — простонал я, — что со мной будет? Некому меня защитить, некому спасти. Вав погибла, Гимел тоже, а от этой, от Далет, никакого толку. Она уже показала, что ей перед зверем не устоять. Значит, оставался я и только я.

«Убегать вы больше не можете», — сказала она. Ну и ну ее к черту. Я бросился вниз по лестнице и рванул к входной двери. Она не открылась, несмотря на все мои рывки и толчки. Я побежал в гостиную, отдернул тяжелую штору и попытался открыть окно. Не поддавалось. Я выглянул в бурную ночь, и мне даже там показалось лучше, чем здесь. В припадке ярости я запустил в окно стулом. И открыл в изумлении рот, когда он отскочил от стекла. Я заколотил по стеклу кулаками — без толку. Далет была права — я не мог убежать.

«Это ваш последний шанс», — сказала она. То есть я уже профукал два шанса в Париже и в Лестершире? Шансы — на что?

— Эй! — завопил я никому и всем. Как вообще играть в игру, где не знаешь ни правил, ни цели? — Черт побери, это нечестно!

— Конечно, нечестно, — согласилась Далет, входя в комнату. Казалось, она восстановила приличную порцию своих сил. — А что честно?

— Но вы же знаете, что все это значит! — крикнул я.

— Я знаю *все*.

— Так Господа Бога ради, почему вы мне не говорите?

Она подошла ко мне, и я отвернулся, чтобы не видеть ужасно изуродованную половину лица.

— Вы не смотрите на меня, Вильям? — сказала она тихо. — Разве я не красива?

Она действительно была красива — по крайней мере в основном. Но то, что сделал с ней зверь, изменило ее навеки.

— Не заставляйте меня отвечать.

— Но это важный вопрос. Жизненно важный, можно сказать. — Почему это каждый термагант повторяет то, что говорил другой? И как это вообще возможно? Она поворачивалась, чтобы показать мне левую сторону лица, и я поворачивался вместе с ней. — Вы не считаете, что он заслуживает ответа?

— Молю вас, перестаньте!

— Вы должны ответить, Вильям. В сердце своем вы знаете, что должны.

Она была права.

— Вы были красивой, раньше, — выпалил я. — Но больше нет.

Она кружила вокруг меня, как гиена, учуявшая падаль.

— Теперь я вам не интересна.

— Я этого не говорил.

Она долавливала меня, как термагант, знающий, что работа его почти уже сделана.

— Теперь вы не станете меня защищать.

— Не надо говорить от моего имени! — завопил я.

Она широко развела руки.

— Время выходить на решительную битву, Вильям.

— Как мне драться, если я даже не знаю, за что дерусь?

— О нет, знаете. — Она наклонилась ко мне и прошептала: — За душу, Вильям. За свою душу.

— Значит, я был прав. Я — мертв!

— Нет. Смерть легка. *Это* — нет. — Теперь она была справа от меня, и я даже не старался отвернуться. Я видел обе ее стороны — красивую и страшно изуродованную. И что-то стало складываться у меня в голове. Что-то страшно и глубоко знакомое. — Ты знаешь этого зверя, Вильям. Ты его очень, очень хорошо знаешь. И я уже сказала: здесь твой последний рубеж.

— Но ты сказала, что его нельзя победить!

— Нет. — Она посмотрела на меня пронизывающим взглядом. — Я сказала, что его нельзя убить.

— Постой, что ты говоришь? — И тут что-то знакомое — эмоции или, может, определенная динамика — включило воспоминание, которое я давно подавил. Я обманулся: много лет назад я *сказал* одному человеку о бездонной яме внутри меня, потому что тогда во мне клубилась подростковая взрывная гормональная ярость, и держать это в себе было невыносимо.

— Ты... они... — И тут я понял, понял все. Она увидела это по моему лицу и улыбнулась. Красивой улыбкой, великолепной улыбкой, улыбкой на века. — Ты, и Вав, и Гимел — это все одно, да?

Она кивнула:

— Просто разные ипостаси.

Я только стоял, таращась, не в силах двинуться.

— Тогда пойдем, — шепнула она. — Время изгонять зверя.

— Я не хочу расставаться с тобой, — сказал я.

— Если действительно не хочешь, — ответила она, — то и не расстанешься.

— Но я должен знать... ты тоже этого хочешь?

— Это то, чего я хотела всегда. — Она снова улыбнулась той же блаженной улыбкой. — Но ведь ты это уже знал, правда?

— Да. — Я едва мог говорить, так у меня перехватило горло. — Кажется, я всегда это знал. — Я протянул руку. — Пойдем. Я буду тебя защищать, и никогда тебя не оставлю. Больше никогда.

Она поглядела на меня печально, но взяла мою руку, и я крепко ее стиснул. Мы вместе вышли в гостиную. В кабинете я щелкнул выключателем, но люстра не зажглась.

— Некоторые недостатки этого дома, — сказала она. — Электричество здесь ненадежно.

Я нашел подходящий кусок жерди в куче рядом с камином, обернул его конец газетами и сунул в камин. Когда он разгорелся, мы поднялись вверх. Я держал факел впереди, освещая дорогу.

Мы прошли по коридору. Я снова открывал двери во все темные комнаты. На этот раз факел освещал темноту, и, кажется, я не был удивлен, увидев на стенах картины Вав. В конце концов я добрался до выставки живописи. И в удивлении переходил из комнаты в комнату.

Каждая картина была ясна, как лед, и они пронзали мне сердце с мучительной остротой.

— Это сцены моего детства, — сказал я, рассматривая картины. — Вот леса, где мы с папой охотились, вот поле, где мы с Германом играли в салки и догонялки; вот дорога, ведущая к нашему дому, а здесь... — Я повернулся к моей спутнице: — Здесь я тебя

ударил. — Я дотронулся до ее щеки ладонью. — Лили, ты сможешь простить меня когда-нибудь?

— Я здесь, — ответила моя сестра. — Я привела сюда тебя силой своего разума. Понимаешь, другой силы у меня нет. Вся энергия, которая могла бы пойти на разговор и ходьбу, на теннис и секс и... и на все, что остальные воспринимают как должное, вся она ушла в разум. Больше ей некуда было деться.

— Но почему ты так долго ждала?

— Эта реальность, которую я построила сама, требует колоссального количества энергии — а привести сюда тебя потребовало сверхчеловеческого взрыва. Я знала, что могу сделать это только один раз, и очень ненадолго. И потому я ждала почти до конца. — Она улыбнулась и коснулась моей щеки. — Мама была права, ты это знаешь. Она видела суть. Я любила тебя больше всех других.

— Но я был так с тобой жесток!

Она показала на дальний конец последней комнаты выставки.

— *Regarde ça,*¹ — сказала она теплым голосом Вав.

Я отошел от нее в тот конец комнаты. Там был кирпичный камин, почерневший от сажи, а над ним — резная дубовая каминная доска. На ней стояла старая потрепанная черно-белая фотография, вылинявшая от времени. Я вгляделся. Это был я в детстве. Наверное, солнце светило мне в глаза, потому что я щурился. На моем лице было выражение, которое я хорошо знал и которому не придавал значения. Вначале я подумал, что именно на это просит меня посмотреть Лили, но потом услышал какое-то движение. Посмотрел вниз, но ничего не увидел. Выставив факел дальше перед собой, я увидел темную фигуру, прижавшуюся к почерневшему кирпичу камина. «Господи Боже, — подумал я, — это же зверь!» Инстинктивно я выставил нож, но зверь больше не казался мне угрозой. Лицо, когда он его поднял, уже не было таким мерзким. На самом деле оно казалось знакомым, как тот переулок в Париже, по которому вела меня Вав, как поляна в Чарнвудском лесу, где я остановился с Гимел. Я оглянулся на старую фотографию меня самого, потом снова посмотрел на зверя. Во мне больше не было ни страха, ни отвращения. Я протянул руку, и тьма от него взбежала по моей руке, суть его превратилась в чернила, и они впитались мне в кожу. И в тот же момент он исчез с легким хлопком. Пораженный, я повернулся к Лили.

— Этот зверь — это был я? — спросил я, хотя ответ ее мне был на самом деле не нужен. — По крайней мере он — моя часть.

— Та часть, против которой ты должен был восстать, — ответила она. — Я тебе говорила, что его нельзя убить — если не убить себя. Но ты нашел способ его победить. — Она подошла ко мне. — Понимание и прощение, Билли. — Она положила руку мне на предплечье. — Если ты можешь смотреть на меня, если ты можешь теперь меня любить, то ты наверняка сможешь простить себя.

— Но ты вызывала во мне ужас.

Она прижала мне руку к губам, и я почувствовал, что дрожу.

— И все равно ты кормил меня, когда должен был, ты держал меня и укачивал, даже когда я облеживала тебя с головы до ног. Герман ко мне близко не подходил. Он брезговал мной, как и папа.

— Но в тот день — я же тебя ударил!

— Да, и я любила тебя за это еще больше.

— Как? Я не понял...

— Все просто, Билли. Я тебя расцарапала до крови.

— Но ты же не могла ничего сделать. Ты же психанула...

Жаркая волна стыда не дала мне закончить.

— Ничего, Билли. — Она погладила меня по руке. — Понимаешь, ты реагировал так, будто я нормальная. Ты бы точно так же сделал со всяким, кто на тебя напал. Даже мама, как она меня ни любила, не могла бы так сделать, потому что она меня очень жалела. Ты меня

¹ Посмотри на это (фр.).

никогда не жалел, и потому поступил так от души. Я так тебе за это благодарна, Билли, что даже передать не могу.

— Ох, Лили... — Горькие слезы раскаяния и отвращения к самому себе покатались по моим щекам. — Я даже не подозревал, что под этой оболочкой кроется. Что ты... — Я обвел руками картины.

— Нет, ты знал, Билли. — Она подвела меня к картине с изображением лесной поляны, залитой солнечным светом и чем-то неуловимым, что, как только что созданная ею реальность, было чем-то гораздо большим. — Тот день, когда я пустила тебе кровь и ты ударил меня в ответ, был нашим общением, нашим объединением. До того я плавала в приступах отчаяния и суицидальных мыслях. Ты подтвердил мое право на существование, подтвердил, что я — человек. — Она улыбнулась. — Вав, Гимел, Далет — они кусочки моей личности, и все они любят тебя безоглядно.

Я преодолел стыд.

— Боже мой, я даже не представлял себе...

— А как бы ты мог? — ласково спросила она. Казалось, она теперь держала меня, как раньше держал ее я. — Все хорошо, Билли. Потому что я могла заглянуть в душу *тебе*. Я знала, что там.

— Но я тебя никогда не навещал!

— И все равно мы не теряли связи, правда? Потому что Донателла мне все о тебе рассказывала.

— Она говорила с тобой обо мне?

— Она только о тебе и говорила, Билли. И она так хорошо это делала, что ты будто был со мной в одной комнате. — Темные ее глаза всмотрелись в мои. — Она приходила все время, даже после развода.

— Я не знал.

— Она и сейчас здесь.

Я огляделся:

— В этом доме?

Голос ее гас, как пламя свечи.

— Нет, у моей кровати. Время наступает, Билли. Я умираю.

— Нет! — притянул я ее к себе, крепко обняв. — Я этого не допущу! Я не утрачу тебя, только найдя.

Лили покачала головой:

— У каждого из нас свое время, Билли. Мое пришло и ушло.

— Тогда мы останемся здесь, в фантастическом мире, который ты создала. Я буду тебя защищать. Никто и ничто не причинит тебе вреда.

— Ох, Билли!

Она качала головой, когда я выводил ее в коридор. Но я отпрянул, только заглянув за перила. Там ничего не было. Весь первый этаж скрылся в странном жемчужно-сером тумане.

— Какого черта...

— Этот мир уходит, Билли. Я слабею. Я уже не могу его удержать.

— Тогда научи меня, как построить его снова! Я силен. Я сделаю все, что потребуется. — Туман уже клубился вверх по лестнице, и все, чего он касался, сливалось с ним. Он дошел до второго этажа, и все правое крыло исчезло. Я схватил Лили за руку, и мы побежали по тому, что еще осталось от коридора. — Быстрее! Скажи мне, как это восстановить!

— Это не поможет, Билли. Смерть не обманешь.

— Но я не хочу, чтобы ты умерла!

За нами серый туман одну за другой поглощал дивные картины детства.

— А я не хочу покидать тебя, — сказала Лили, когда мы дошли до главной спальни. — Но я должна.

— Не может быть, чтобы ничего нельзя было сделать! — молил я ее.

Теперь она ввела меня в комнату.

— Закрой дверь и запри, — сказала она. Сделав это, я заметил, что она сильно побледнела. Она упала мне на руки, и я отнес ее под огромный балдахин. Когда я бережно положил ее на кровать, она подняла глаза и сказала: — Всю жизнь я хотела когда-нибудь поспать на такой кровати. — Она поглядела на балдахин; я видел, как ее глаза художницы отмечают все оттенки его цвета, формы, текстуры. — Он как небо, правда? — прошептала она.

— Да, — ответил я. — Именно такой он. Как небо. — У нее на лбу и на верхней губе выступила испарина. — Лили...

Она повернула глаза ко мне.

— Что?

— Я люблю тебя.

— Я знаю, Билли. Знаю.

Я уронил голову ей на живот, и мы долго обнимали друг друга. Потом она очень слабо позвала меня по имени. Дрожь прошла по моему телу.

— Не надо хотеть от Донателлы, чтобы она тебя любила больше, чем любит, — шепнула Лили. — Не жалею о том, что у вас с ней было.

— Но это все кончено.

— Да. — Она вздохнула. — Кончено. Но ты смотри вперед.

— Я не знаю, что ждет впереди.

— Да, — шепнула она исчезающим голосом. — Но ведь в этом-то и смысл?

И тут я заплакал, о ней и о себе — но еще и о нас, потому что то, что было у нас краткий миг, исчезло. И меня не было при ней в момент ее конца. Как я завидовал Донателле! Как я заново оценил ее за дружбу и преданность Лили!

Открыв глаза, я увидел, что стою в переулке за «Геликоном». В руке у меня был цветок лотоса чистой белизны. Касаясь тонких лепестков, я знал, что это Лили оставила мне доказательством, что наше время с ней не было галлюцинацией, вызванной временным помешательством или мескалем.

Вдруг я вспомнил о Майке. Дернув дверь, я влетел в бар, готовый звонить 911.

— Ну, друг, — заметил Майк со своего обычного места за стойкой, — ты отливал, как пьяный слон!

Ошеломленный, я только мигнул.

— Чего?

Где разбитые бутылки и зеркало, где дыры от пуль и кровь? Кровь Майка?

— Слушай, *черт* побери! Ты... ничего с тобой не случилось?

— Если не считать свалившейся горы счетов для оплаты, ничего, — ответил Майк. — А что могло?

— Но ты же погиб, вот что! — Я дико осмотрелся. — Где тот псих с пистолетом?

— Единственный псих, которого я сегодня видел, это ты. Кроме тебя, сегодня утром тут вообще никого не было. — Майк поглядел на меня с каменной мордой. — Слушай, ты ведь уже два мескаля принял. Может, сделаешь перерыв и поешь? Я тебе яичницу сделаю.

Я заглянул в свою излюбленную кабинку, высматривая оставленные мной пустые бокалы, но не увидел на столе ничего, кроме кругов от стаканов, следов былых разгулов.

— Но я же выпил три!

— Да? — Майк почерневшей лопаткой выложил на сковородку жир. Разбил туда же пару яиц, и они зашипели. — Тогда, сын мой, ты начал еще дома, потому что здесь ты выпил только два.

— погоди минутку. — Я все вертел в руках цветок лотоса, думая о Лили и той силе, которой смог достичь ее разум. — Который час?

Майк все с тем же озадаченным лицом посмотрел на часы на стене.

— Десять двадцать восемь.

— Утро понедельника, так?

Бедный Майк посмотрел на меня так, будто не знал, то ли следить за яичницей, то ли звать ребят из дурдома.

— Да, а что?

— Не знаю, — сказал я ему. Но я, наверное, знал. Звонок от Германа был в десять тридцать. Кажется, я оказался перед тем моментом, когда это все началось. Было ли это последнее необычное действие, выполненное Лили силой ее разума, чтобы дать нам шанс оказаться вместе еще раз до ее смерти? — Но у меня есть такое забавное чувство, что сейчас зазвонит телефон.

— Ага! — огрызнулся он. — А меня зовут Рудольф В. Джулиани.¹

Телефон зазвонил, и Майк подпрыгнул.

— Ну и ну! — произнес он, пялясь на меня.

— Наверное, мне стоит снять трубку. — Я взял трубку и услышал голос Германа. Ага, именно так Лили и сделала. Я подмигнул Майку. — Это меня.

Эдвард Ли Реанимация

Оно за ним гналось, и было оно *большое*. Но что это было? Он ощущал, как настигает его огромность, преследует по неосвещенным лабиринтам, за углы задушенной плоти, по переулкам крови и сукровицы...

Матерь Божия пресвятая!

Когда Паон проснулся окончательно, казалось, у него стерли разум. Его крушила тупая боль и скованность... Или это паралич? В голове неясные образы, голоса, мазки света и цвета. Фрэнсис Паон по кличке Фрэнки вздрогнул от ужаса перед неведомым, что гналось за ним по канавам и бороздам его собственного подсознания.

Да, он уже проснулся, но погоня вела к...

Налетающим силуэтам. Встряске. Крови, брызнувшей на грязно-белые стены.

И будто медленно наводился на резкость кадр, Паон наконец понял, что за ним гналось. Не киллеры. Не копы или федералы из бюро.

Гналось за ним — воспоминание.

Но *о чем?*

Мысли понеслись галопом.

Где я? Какого черта со мной стряслось?

Последний вопрос по крайней мере прояснялся. Что-то ведь стряслось. Что-то катастрофическое.

Комната расплывалась. Паон прищурился, скрипя зубами: без очков он не видел дальше трех футов.

Но разглядел достаточно, чтобы понять.

Кожаные ремни с мягкой обивкой опоясывали его грудь, бедра и лодыжки, фиксируя на кровати, которая казалась тверже кафеля. Не пошевелиться. Справа стояли несколько металлических шестов, а на них — размытые пузыри. Длинная полоска спускается оттуда... к руке. Он догадался — капельницы. Полоска кончается внутри правого локтя. А вокруг запахи, которые ни с чем не спутать: антисептика, мази, изопропиловый спирт.

В больницу меня занесло, к хренам собачьим.

Кто-то, значит, его зацепил. Но... он просто не мог вспомнить. Воспоминания плясали фрагментами, преследуя его дух немилосердно. Стрельба. Кровь. Вспышки.

А близорукость оказывала еще меньше милосердия. Возле кровати он видел только расплывчатый белый периметр, тени и лишенный объема фон. Слышалось какое-то жужжание, вроде как далекий кондиционер, и медленные, раздражающие попискивания: монитор капельницы. А наверху что-то раскачивалось. Подвесной цветок в горшке? Нет, больше похоже на складные рычаги, как бывает во врачебных кабинетах, вроде

¹ Мэр Нью-Йорка.

рентгеновской пушки. И расплывчатый ряд силуэтов вдоль стен — только ящики это могут быть, ящики с лекарствами.

Значит, я в самом деле в больнице. В реанимации. Ничего другого не придумаешь. И его хорошо пришили. Не только лодыжки, но и колени, и плечи. Правая рука привязана к выносной стойке под капельницу, и в локтевом сгибе белой лентой закреплена игла.

Паон глянул на свое левое плечо, на руку... Именно рука — без кисти. А когда он поднял правую ногу...

Обрубок на несколько дюймов ниже колена.

Кошмар, захотелось ему подумать. Но преследующие воспоминания слишком реальны для сна, и боль тоже. Сильная боль. Больно дышать, глотать, даже моргать. И кишки сочились болью, как теплой кислотой.

Кто-то меня щедро уделал. Тюремная больница, сомневаться не приходится. И наверняка за дверью стоит легавый. Да, теперь он знал, где он, но страшно было другое — он не знал, что его сюда привело.

Воспоминания рвались с цепи, гнались, бросались...

Тяжелый топот. Крики Гремящий искаженный голос... как мегафон.

Господи Иисусе!

Снова попытался вспомнить — и снова не смог. Воспоминания теперь *подкрадывались*: пистолетные выстрелы, длинные автоматные очереди, ощущение куска собственного тела, подпрыгивающего в ладони...

— Эй! — крикнул он. — Помогите кто-нибудь! Слева отозвался щелчок открылась и закрылась дверь. Тихие шаги — и выступила яркая размытая фигура.

— Как давно вы в сознании? — спросил бесцветный женский голос.

— Пару минут, — ответил Паон. В горле пульсировала боль. — Может подойти ближе? Я вас еле вижу. Фигура повиновалась, черты ее стали резче. Совсем не легавый — это сестра. Высокая, черноволосая, с голубыми глазами и резкими выразительными чертами лица. Белая одежда сияет ярким светом. На игривых гладких ногах переливается белый нейлон.

— Не знаете, где мои очки? — спросил Паон — Я чертовски плохо без них вижу.

— Ваши очки остались на месте преступления, — ответила она без интонаций.

На месте преступления, мелькнула неуклюжая мысль.

— Мы пошлем за ними кого-нибудь, — добавила она. — Это будет не очень долго. — Безразличные глаза оценивали его. Она наклонилась, определяя его состояние. — Как вы себя чувствуете?

— Отвратительно. Кишки болят, как сволочи, а рука... — Паон скосил глаза и приподнял забинтованный обрубок. — А, блин!

Даже спрашивать не хотелось, Сестра отвернулась к монитору капельницы, а Паон продолжал борьбу с грузом навалившихся воспоминаний. Где-то в глубине сознания завертелись новые картины. Осколки дерева и потолочной плитки дождем на плечи. Бешеная какофония, которую создает только пулеметная стрельба. Разлетевшаяся брызгами голова.

Сестра с непроницаемым лицом повернулась к нему снова.

— Что вы помните, мистер Паон?

— Я...

И больше он ничего не сказал. Только поднял глаза. Паон никогда не носил на работе никаких настоящих документов, а ездил только на угнанных или с поддельными номерами. У него из горла вырвался вопрос:

— Откуда вы знаете мое имя?

— Мы все о вас знаем, — ответила она, разворачивая лист бумаги. Полиция нам показала этот телетайп из Вашингтона. Фрэнсис К. Паон по кличке «Фрэнки». Семь псевдонимов. Тридцать семь лет, холост, официальное место жительства неизвестно. В 1985 году вы были осуждены за бегство из штата с целью уклониться от обвинения, перевозку между штатами порнографических материалов с участием несовершеннолетних и многочисленные нарушения Раздела 18 Кодекса Соединенных Штатов. Два года назад вы

были выпущены из федерального пенитенциария Олдертон после отбытия шестидесяти двух месяцев одновременного отбывания одиннадцати и пятилетнего срока тюремного заключения. Известны ваши связи с преступной семьей Винчетти. Вы специалист по детской порнографии, мистер Паон.

Господи, сгорел на фиг! Кто-то меня подставил.

Сейчас это уже не трудно было заключить. Он лежит в реанимации, привязанный к кровати, продырявленный, как мишень в тире, без руки, без ноги, а эта флегматичная сука зачитывает ему его собственный послужной список из факса ФБР. Уж точно его взяли не при попытке подломить мелочную лавочку.

— Вы сами не знаете, что несете, — сказал он.

Ее глаза полыхнули на него огнем, а лицо было будто вырезано из камня.

Ага. Спорить могу, что у нее есть пара ребятишек, которые сачкуют школу и посасывают травку. Спорить могу, что у нее сломалась машина и как раз кончилась страховка, а муженек каждый вечер опаздывает к ужину, потому что слишком занят на работе, отбарабанивая секретаршу и слизывая колу у нее с сисек, и тут выясняется, будто это я виноват, что мир — говенная дыра, полная извращенцев и педофилов. Это моя вина, что столько народу отдают свои праведные денежки за картинки с детками, так, лапонька? Давай, гвозди меня. А что? Да, а наркотики? А спад экономики, Ближний Восток и озоновая дыра? Это ж тоже я виноват, нет?

Когда она снова заговорила, в ее голосе будто перекачивался гравий.

— Что вы помните?

Этот вопрос и ему не давал покоя. Перед близорукими глазами по комнате проносились обрывки воспоминаний — впивающиеся в тело пули, скрежет мегафона, вылетающие в облаке дыма стреляные гильзы — и эти обрывки гнались за ним и дальше, кралась беспощадно, как дикая кошка крадется за олененком, а Паон все бежал и бежал, отчаянно желая знать и все равно не смея оглянуться...

— Да ни хрена, — ответил он наконец. — Ничего не могу вспомнить какие-то кусочки.

Сестра, казалось, обращается больше к себе, чем к нему.

— Преходящий эффект глобальной амнезии, ретроградной и, как правило, не связанной с афазией. Вызывается острым травматическим шоком. Не волнуйтесь, это симптом кратковременный и бывает у всех. — Огромные голубые глаза снова впились в него бурами. — Так, я думаю, что могу освежить вашу память. Несколько часов назад вы убили двух полицейских штата и федерального агента.

У Паона отвалилась челюсть.

Погоня сразу закончилась, дикая кошка памяти вцепилась в свою добычу разум. Он вспомнил все, кусочки легли на место, как булыжники под катком.

Оригиналы. Родз. Ролики. И вся эта кровь.

* * *

Новый день — новый десяток килодолларов, подумал Паон, подымаясь на третий этаж в квартиру Родза. На нем были шерстяные перчатки — не такой же он кретин, чтобы оставлять отпечатки пальцев где-нибудь поблизости от логова Родза. Он постучал в дверь шесть раз, насвистывая «Люби меня нежно» Кинга.

— Кто там? — раздался грубый голос.

— Санта-Клаус! — ответил Паон. — Ты бы каминную трубу, что ли, завел.

Родз впустил его внутрь и быстро запер за ним дверь.

— Хвоста не привел?

— Нет, только полный автобус агентов минюста и телеоператор с репортером из «60 минут».

Родз окрысился.

Ну и хрен с тобой, если ты шуток не понимаешь, подумал Паон. Родза он

недолюбливал — мразь из Ньюарка, псих ненормальный. С виду Натан Родз смахивал на исхудавшего Крошку Тима после неудачной подтяжки лица: длинные кудрявые черные волосы на голове пухленького медицинского трупа, глубокие носогубные складки на щеках. Работу Родза на профессиональном жаргоне называли «съемщик» — так сказать, субподрядчик. Он похищал детей или получал их от работающих самостоятельно агентов и сам снимал ленты. «Круг» — так называло министерство юстиции этот бизнес: подпольную порнографию. В этой промышленности вертелись полтора миллиарда долларов в год, и тут не снимали фигов, которую можно взять напрокат в «Метро видео». Паон возил все подпольное видео: ролики с изнасилованием, гомики, кадры с животными, испражнения, мокруха, и (самое главное) «до» и «пред-подростки». Он забирал оригиналы у таких, как Родз, и перевозил их в «тиражные» лаборатории Винчетти. Сеть Винчетти контролировала почти всю подпольную порнуху Востока; Паон был посредником, членом Семьи. Все это работало через почтовые ящики и тайные пункты распространения. Винчетти платил за двадцатиминутный оригинал два куса, если разрешение было хорошее; с каждого оригинала делались сотни копий и продавались клиентам — любителям извращений. «Дубари» — парни, которые делали фактическую работу собственными штырями — нанимались со стороны, и таким образом никто не мог бы выйти на самого Винчетти. Паону самому приходилось малость хлебнуть дерьма — в его работу входила проверка каждого оригинала на качество: обдолбанные мотоциклетные девицы отсасывают у жеребцов и кобелей, психи испражняются друг на друга и часто пожирают извержения своих кишок. Дубари обрабатывают беременных девчонок, умственно отсталых, инвалидов, уродок. И мокруха. Паона это забавляло: несмотря на всю нелепость, находились люди, которые *платили*, чтобы это посмотреть. Они *заводятся* от этого. Что за блядский мир, думал он не раз, но стоп: Спрос и Предложение — разве это не есть Американский Образ Жизни? Не будет снабжать клиентов Винчетти — будет кто-то другой, пока существуют деньги...

Я просто беру свою долю, твердо решал Паон. Самые большие заказы были всегда на ДП. Согласно федеральной статистике, каждый год пропадали и больше не появлялись 10 000 детей, и большинство из них затягивал в себя Круг. Чем моложе дети, тем дороже ленты. Когда дети вырастали (до четырнадцати-пятнадцати лет), их продавали за границу или выпускали на улицу работать в сети проституции Винчетти. Одно кормит другое. Да, это блядский мир, верно, но это не проблема Паона.

Конкуренция была хилая. Только еще одна Семья на Востоке работала в подпольном порно. Семья Бонте, и у них была вражда с Винчетти, имеющая давние корни. Обе Семьи воевали за каждый кусок трудного рынка, но Семья Бонте работала лишь в узких рамках, и над причиной этого Паон просто смеялся. Дарио Бонте, дон, считал, что делать детей жертвами неэтично. Ну разве это не смешно? Этот сукин сын растягивает баб и ставит их в фильмы с дерьмом, пока они с голоду не сдохнут, но не может трогать деточек. *Что за мудака!* Все равно все главные деньги идут из ДП. Неудивительно, что Бонте теряет последние штаны. И время от времени какие-то иностранные банды пытаются потеснить Винчетти с помощью ДП из Европы.

Но эти банды долго не живут.

Так или этак, а работа у Паона простая: покупать оригиналы, возить их в лабораторию и держать съемщиков в руках — вот таких безмозглых и безглазых, как Родз.

— У меня для тебя пять штук, — сказал Родз. — Обычных. — Голос у него был насморочный и скрипучий — гвоздь по шиферу и то музыка по сравнению. Но я тут, знаешь, подумал.

— О, ты еще и думаешь? — спросил Паон. Никогда он не видел такой помойной квартиры. Тесная гостиная уставлена мебелью типа «сложи сам», грязные стены, вытертые ковровые плитки на полу, омерзительная кухня. *Не Букингемский ни фиго дворец.*

— Насчет того, что два килодоллара за ролик сильно тощая сумма по нашим дням, — гнул свое Родз. — Слушай, два жалких куса за оригинал, который ребята Винчетти отдублируют сотнями? Ему от этого хорошая зелень капает. А мне? Я же каждый раз, когда

делаю для него мастер-ленту, подставляю шею на целую милю.

— Это потому, что тебя родили с шеей длиной в милю, Икабод.

— Я думаю, что два с полтиной хотя бы — это справедливо. Потому что слышал, что семья Бонте платит три.

— Бонте не делают детского порно, дубина, — проинформировал Паон. — И это знают все, кто в нашем бизнесе.

— Ага, но они же делают мокруху и прочую крутизну. А это я задницей рискую, когда делаю оригиналы. Так что мне надо бы и прибавить.

Паон уставился на него тяжелым взглядом сверху вниз.

— Так вот что, Родз. Без балды. Ты делаешь ленты для Винчетти и только для Винчетти. Точка. Хочешь совет? Даже не думай насчет продать свое барахло другой семье. Последний, кто проделал такой фокус — знаешь, что с ним было? Джерсийские копы нашли его в прачечной жилого дома — он там висел вниз головой. Сожженный. И еще ему отрезали хрен и отправили по почте его бабушке в Сан-Бернардино.

У Родза дернулось лицо.

— Да нет, я же говорил, два куска за ленту — это звучит нормально.

А то, подумал Паон.

— Так где же зелень?

Паон направился в спальню, где Родз делал свою работу.

— Ты хвоста собачьего не получишь, пока я не увижу плоды твоего труда.

Он сел на кушетку, которая — можно не сомневаться — служила реквизитом в десятках роликов Родза. На треножниках стояли профессиональные камеры и юпитера — уж никак не то дерьмо, что продается на радиобарахолках. Оригиналы надо снимать на высокоскоростных лентах большого формата шириной дюйм с четвертью, чтобы на копиях сохранялась хорошая контрастность. Пять коробок с лентами лежали перед «Сони тринитрон» с диагональю тридцать пять дюймов и студийным плеером «Томпсон электроникс».

— Классные ребятки на этот раз, — похвалил сам себя Родз. — На уровне.

Иногда детеныши балдели от камеры или просто выпадали; многие страдали от внутриутробного кокаина, алкоголизма или внутриутробных повреждений. Бывало, что Паона действительно печалило положение дел в этом мире.

Теперь наступила самая неприятная часть работы. Паон должен был сидеть и осматривать каждый оригинал: освещение, разрешение и четкость. Он вставил первую кассету...

Ну и ну! — подумал он. На экране задвигались бледные фигуры. В общем, они были всегда одинаковы. Что Паона больше всего доставало — это их лица, жалкие лица детишек, их *выражения*, когда дубари Родза пускали в дело свои штыри. *О чем они думают? Что творится у них в голове?* То и дело ребенок заглядывал в камеру с выражением, не поддававшимся описанию...

— Дай мне хотя бы просветить бабки ультрафиолетом, пока ты смотришь, сказал Родз.

— А, да. На.

Паон кинул ему набитый пакет, а сам продолжал смотреть, и ему казалось, будто его лицо вылеплено из глины. Родз всегда придумывал к своим роликам забавные заглавия, вроде «Вазелиновый переулочек», «Юные и безволосые», «Перфораторная». Пока что Родз натянул нейлоновые перчатки и вытащил из пакета пачку сотенных. Десять кусков сотнями — это не очень впечатляющее зрелище. Каждую бумажку он просвечивал с обеих сторон ультрафиолетовой кварцевой лампой. Техники казначейства все время работали в контакте с минюстом и Бюро. Любимый их трюк — это метить деньги невидимыми красками уранил-фосфата. Неубиенная улика для суда.

— Достаточно для тебя чисто? — спросил Паон. — Для такого чистоплюя, как ты?

— Ну, выглядят нормально. — Лицо Родза отсвечивало ультрафиолетом, пока он занимался инспекцией. — И номера не подряд. Нормально.

Паон снова повернулся к экрану и вздрогнул. На последней ленте был сам Родз с зачесанными назад волосами и фальшивой бородой. Он тоже пускал в ход свой штырь. Паон скривился.

— Здорово, да? — Родз усмехнулся своему изображению на экране. Всегда хотел сниматься в кино.

— «Оскара» тебе надо дать. За лучшее извращение.

— Кто бы говорил про извращения! Я только фильмы снимаю. Это ваши люди их продают.

Родз был по-своему прав. *Все мы в одной игре.* Когда платят хорошие деньги, делаешь, что приходится делать.

— Все, я пошел, — сказал Паон, когда последний оригинал щелкнул и отключился. Он собрал ленты и вышел в гостиную вслед за Родзом. — Не могу сказать, что приятно было зайти.

— Ты бы со мной повежливей, — хихикнул Родз. — Как-нибудь я мог бы и тебя пустить в фильм. Ты после этого уже не будешь прежним.

— А ты не будешь прежним, если я оторву тебе голову и засуну тебе же в задницу.

Возле двери лицо Родза снова растянулось в морщинистой улыбке.

— До следующего раза... Предложил бы я тебе пожать руку, но у меня тут все так измазано...

— Спасибо за заботу.

Паон протер очки платком, потянулся к двери...

Ба-БАХ!

— Твою мать! — выдохнул Родз

...дверь вылетела из рамы. Не распахнулась, а *рухнула вниз*, и это перестало быть удивительным, когда Паон в мгновенном оцепенении увидел, какого размера коп стоит за ней со стальным тараном в руке. И коп еще здоровее двумя руками наводил в комнату взведенный револьвер.

— Ни с места! Полиция!

Паон быстрее, чем когда-либо в жизни, обхватил рукой Родза и дернул на себя. Родз ахнул, обмочив штаны, когда Паон выставил его живым щитом. Грохнули два выстрела, обе пули чавкнули, войдя в грудь Родза.

— Сдавайся, Паон! — посоветовал коп. — Выхода нет!

Врешь, сука! — подумал Паон.

Родз передернулся, с хрипом заливая грудь кровью, и вдруг обвис мертвой тяжестью. Но это движение дало Паону время нырнуть под кухонный стол и вытащить свой «SIG-220» с полной обоймой разрывных пуль. *Быстрее!* — приказал он себе, высунулся, послав две пули, и снова нырнул вниз. Обе пули вошли копу в горло, и Паон услышал влажный шлеп.

В двери застыли тени, и грохнул мегафон:

— Фрэнсис Паон по кличке Фрэнки, вы окружены агентами министерства юстиции и полиции штата. Бросайте оружие и сдавайтесь. Бросайте оружие и сдавайтесь, бросайте оружие и сдавайтесь...

И снова, и снова и снова.

Паон вытащил запаску — тупоносый «кольт» — и бросил его на кухонный стол. Тут же вломились еще один полицейский и с ним хмырь в штатском. *Ну и мудаки*, успел подумать Паон, снова высовываясь и давая две короткие очереди по две пули. Коп завертелся на месте, получив обе пули в подбородок. Штатский из минюста получил свою пару между глаз. Паон успел заметить краем глаза, как разлетелась его голова и мозговая каша плеснула на стены.

Хрен вы меня возьмете! Паон ощутил вдруг неожиданное спокойствие. *Задняя комната. Окно. Прыжок в кусты с третьего этажа.*

Это был единственный шанс...

...Которого не было.

Он не успел двинуться, как комната... задрожала. Трое из SWAT¹ штата в кевларовых бронежилетах влетели внутрь почти балетным движением, и мир рухнул в хаос. Пули летели мимо Паона волнами. Автоматы М-16 плевались горячей латунью и стрекотали, как газонокосилки, выбивая дыры в стенах, раздирая в клочья кухню.

— Сдаюсь! — крикнул Паон, но автоматный огонь только усилился. Паон свернулся в клубок, и все вокруг стало распадаться на части. Пули летели обойма за обоймой, разбивая ящики, перемалывая кухонный стол и пол, и от Паона тоже мало что осталось. Левая кисть повисла на одном сухожилии, правую ногу будто отгрызло. В живот впиалась горячая серебристая сталь.

И тишина.

В животе горело, как напалм проглотил. Сознание уносилось на волнах запаха сгоревшего кордита. Паон чуть отполз; очки были залепаны кровью. Санитары унесли мертвых полицейских, люди в синем вошли в кухню, выставив впереди дымящиеся стволы автоматов. Как туман, висели в горячем воздухе квакающие разговоры по радио, потом Паона протащили по озеру крови.

В глазах замигало белое и красное, двери машины «скорой помощи» с лязгом захлопнулись.

* * *

— Господи ты Боже! — шепнул он.

— Я же вам говорила, что вы вспомните, — сказала сестра.

— Серьезно я ранен?

— Не смертельно. Антибиотики внутривенно остановили перитонит, а санитары вам наложили жгуты на руку и на ногу, и вы не успели потерять слишком много крови. — Она прищурилась. — Вам повезло, что в этом штате нет смертной казни.

Это да, медленно подумал Паон. А федеральные законы разрешают высшую меру лишь в случае убийства агента при контрабанде и торговле наркотиками. Его засадят пожизненно без права помилования, это можно не сомневаться, но все лучше, чем удобрять кладбище. Федеральные тюрьмы куда лучше кутузок штата, к тому же Паон — убийца копа, а таковые в камере сразу получают иной статус. Никто его не попытается опустить.

Могло быть хуже. Это он теперь понимал.

Паон вспомнил, как объяснял Родзу насчет его уверенности, что ничего с ним не случится. Паон же надеялся на свое оружие. Его подставили, окружили, продырявили, как швейцарский сыр, и он руку и ногу оставил в кухне у Родза, зато он жив.

Ага. Надежда умирает последней.

— Чему вы улыбаетесь? — спросила сестра.

— Не знаю. Наверное, просто рад, что живу... Да, в этом все дело.

И это была правда. Несмотря на довольно очевидные обстоятельства, Паон был счастлив.

— Рады, что живете? — В голосе сестры слышалось холодное отвращение. И вам наплевать на убитых вами людей? У них были жены, семьи. Дети. Эти дети теперь осиротели. И люди погибли по вашей вине.

Паон пожал плечами, насколько это ему удалось.

— Жизнь — игра. Они проиграли, а я выиграл. Это они хотели играть жестко, а не я. Не трогали бы они меня, у деток остались бы папочки. Я не собираюсь угрызаться, что завалил несколько ребят, которые хотели завалить меня.

Да, забавно. Боль в животе становилась все острее, но Паон все равно не мог сдержаться самодовольства. Хорошо бы сейчас вернуть себе очки, чтобы лучше разглядеть эту сестру. Черт, да и холодного пива сейчас хорошо бы, и затяжку. И еще снять бы эти больничные ремни. Отпраздновать возвращение жизни, и в порядке празднования засадить бы этой

¹ Спецотдел полиции "Специальное оружие и техника".

заносчивой суке-сестре. Ага, завалить ее на койку и задать работу ее охолодавшей дырке. Уж тогда бы с нее крахмал пообсыпался.

И Паон начал по-настоящему смеяться. Ну и карты выпадают в этом мире! Да, пути Господни неисповедимы.

Зато у Него хотя бы есть чувство юмора. Да, забавно до чертиков. Три копа откинули копыта, а я тут лежу в кайфе и уюте и лапаю глазами эту сучку.

Тихий и отрывистый смех Паона не смолкал.

Сестра включила радио, чтобы заглушить неуместное веселье пациента. Она стала проверять пульс Паона и маркировать капельницы, а по радио доносились вечерние новости. Ведущий бубнил главные события дня. Жертвой необычайной жары в Техасе стали уже сто человек. На следующей неделе обезжиренное масло выйдет на рынок. Главный хирург США обращается к производителям с просьбой приостановить выпуск силиконовых имплантантов для яичек, а где-то в Африке взорвали американское посольство. И это было еще смешнее: весь мир с его дуростью перестал для Паона что-нибудь значить. Он на всю жизнь загремит за решетку. Так какое ему дело до всех мировых событий, плохих или хороших?

Он прищурился, пытаясь рассмотреть, кто это еще к нему вошел. Из размытых контуров комнаты выступило лицо: мужик лет шестидесяти, белоснежные волосы и серые пушистые усы.

— Добрый вечер, мистер Паон. Я доктор Уиллет. Решил зайти и посмотреть, как вы тут. Могу я вам чем-нибудь помочь?

— Раз вы спрашиваете, док, я бы не возражал, чтобы мне вернули очки. И если правду вам сказать, не возражал бы против замены сестры. У этой дружелюбие как у бешеной собаки.

Уиллет в ответ только улыбнулся.

— Вы были тяжело ранены, но зато можно не волноваться насчет инфекции или потери крови. При множественных огнестрельных ранениях с этим всегда проблемы. Рад вам сообщить, что — учитывая все происшедшее — на удивление в хорошем виде.

Ну и отлично, подумал Паон.

— И должен вам сказать, — продолжал Уиллет, — я хотел с вами познакомиться. Вы — первый детский порнограф, с которым мне представилась возможность поговорить. В некотором экзотическом смысле вы знамениты. Стоящий вне закона ренегат.

— Да, я бы вам дал автограф, — пошутил Паон, — да вот проблема: я левша.

— Отлично, вот что значит не падать духом. Нужно иметь характер, чтобы сохранить юмор после того, через что вам...

— Т-с-с! — зашипела сестра. Ее размытый контур дрожал и нервничал. Это оно... кажется, оно.

Паон соорудил гримасу. Из радио все так же бубнил диктор:

— ...в результате длившейся год тайной операции федеральных сил. Один из подозреваемых, Натан Родз, был убит на месте в яростной перестрелке с полицией. Погибли также двое сотрудников полиции штата и специальный агент министерства юстиции. Согласно заявлению властей, они были убиты вторым подозреваемым, предполагаемым агентом мафии по имени Фрэнсис Паон по кличке Фрэнки. Сам Паон находился в разработке по тем же обвинениям; считается, что он тесно связан с преступным синдикатом Винчетти, который, по оценкам экспертов, контролирует более пятидесяти процентов рынка детской порнографии в США. Представитель полиции далее заявил, что во время перестрелки Паону удалось скрыться с места преступления и в настоящий момент он объявлен в розыск штата.

Мысли Паона медленно оседали на дно.

— То есть как это... скрыться?

Сестра улыбалась. Она открыла дужки очков в темной оправе и надела их на Паона...

Наконец-то размытая комната навелась на резкость.

Что за так твою мать?

Его окружали шторы, как и полагалось бы в реанимационном отделении, но сейчас он

заметил и кое-что другое. Сверху — это был не рентгеновский аппарат, а складная стойка с микрофоном. И на одном из штативов была вовсе не капельница, а направленная галогеновая лампа.

— Что это за больница такая? — резко спросил Паон.

— А, это не больница, — объяснил Уиллет. — Это явочная квартира.

— Одна из явочных квартир дона Дарио Бонте, — любезно добавила сестра. И снова Уиллет:

— А мы — его личный медицинский персонал. Вообще говоря, наши обязанности совсем не связаны с его работой. Когда подстрелят кого-нибудь из людей дона — им занимаемся мы, поскольку местная больница в определенном смысле менее надежна.

Бонте, подумал Паон в медленном ужасе. *Дарио Бонте, единственный соперник Винчетти.*

— А полиция была только рада передать вас нашему достойному работодателю, — говорил Уиллет. — Половина всей полиции у него на жалованье... и таким образом несчастных налогоплательщиков избавят от расходов на судебный процесс.

Паону казалось, что сейчас он выблюет свое сердце.

Сестра хихикала так, что груди тряслись.

— Но мы не собираемся просто так вас убивать...

— Да, у нас до этого запланированы некоторые интересные игры, пояснил Уиллет. — Понимаете ли, наше дело — проследить, чтобы вы дожили до момента, когда сюда приедет Малыш...

Щелкнула дверь, и сестра отодвинула шторы, открывая типичный подвальный интерьер. Но Паон увидел не только это. В дверях перед ступеньками стоял пугающе мускулистый молодой парень с короткой стрижкой и каменными чертами лица и...

Господи Иисусе мать твою пресвятую...

Штаны у него так вздувались спереди, будто там пара картофелин.

— Угадай с трех раз, за что его прозвали Малышом! — залилась хохотом сестра.

— И еще с трех раз угадайте, что будет дальше, — предложил Уиллет. У него на плече оказалась профессиональная «Сони-бетакам». — Видите ли, мистер Паон, пусть *ваши* босс захватил долю рынка, относящуюся к детской порнографии, но у *нашего* босса есть доля во всем остальном. Понимаете, я имею в виду продукцию для *настоящих* психов. Вы же, как безрукий и безногий — да еще и с огнестрельной раной в животе, — для нас *совершенно особая* возможность... — вы улавливаете мою мысль?

Когда Малыш стал спускать штаны, Паон блеванул себе на грудь. Сестра всадила ему в руку иглу — амитал натрия, не столько, чтобы он отрубился, но чтобы не слишком отбивался. Потом сестра сняла с него ремни и перевернула.

Швы на животе Паона стали лопаться; шаги Малыша все ближе...

— Ну, как говорится, — с энтузиазмом произнес Уиллет, — камера, мотор!

Эд Горман Энджи

— Прошлой ночью он нас слышал, — пробурчал Рой.

— Слышал что?

— Слышал наш разговор о Джине.

— Не может быть. Он же спал.

— Я тоже так думал. Но пошел в сортир, увидел, что дверь его комнаты приоткрыта, и заглянул к нему. Он сидел на кровати и слушал.

— Наверное, он только что проснулся.

— Он слышал наш разговор.

— Откуда ты знаешь?

— Я его спросил.

- Да? И что он тебе ответил?
- Что ничего не слышал.
- Видишь, я же тебе говорила.
- Он соврал.
- С чего ты так решил?
- Он ведь мой сын, так? Так что я знаю. Прочитал все на его лице.
- Пусть он и слышал, что с того?

Рой в изумлении уставился на нее.

- Что с того? Он же пойдет к копам.
- К копам? Рой, ты рехнулся. Ему девять лет, и он твой сын.

— Этому маленькому мерзавцу на меня насрать, Энджи. Он всегда был маменькиным сыночком. И теперь, когда он знает...

Он мог и не продолжать. Энджи работала официанткой в закусочной для дальнобойщиков, когда встретила с Роем. Тот жил в трейлере с сыном, Джейсоном, и женой, Джиной. Энджи ему сразу приглянулась. Когда у нее выдавался выходной, он возил ее в Седар Рэпидс, они ходили в танцевальные клубы. И всегда отлично веселились, во всяком случае, до того момента, как Рой напивался и начинал задирать черных, которые танцевали с белыми девушками. Некоторые из друзей Роя только и говорили о том, что надо взрывать увеселительные заведения, куда пускают черных, евреев и геев. Рой регулярно отдавал им часть награбленных денег. Так Рой зарабатывал на жизнь. Грабил банки, обычно в маленьких городах, расположенные подальше от центра. Рой был профессионалом. Заранее тщательно все просчитывал. Готовил маршруты отхода, выяснял, где установлены видеокамеры, какой из кассиров быстрее отдаст деньги. В девятнадцать его взяли за вооруженное нападение на автозаправку. От отсидел шесть лет в Форд-Мэдисон и дал себе слово никогда больше не попадаться. Ему уже исполнилось тридцать шесть, и после освобождения из тюрьмы с полицией он больше не имел никаких дел. Энджи нравилось, что у него была цель в жизни. Рой хотел ограбить один банк в Де-Мойне. Он говорил, что по пятницам, когда туда привозили жалованье, там можно взять полмиллиона долларов. На такие деньги они могли поехать в Вегас, а потом в один из городков Юты, где жили только белые. Вот эта черта Роя Энджи не нравилась. Она не понимала политики, и рассуждения Роя и его дружков о засилье евреев, гомиков и цветных вызывали у нее зевоту. Но она умела спать с открытыми глазами. Что она и делала, когда Рой и его дружки заводили разговор о существовании некоей милиции, в которую неплохо бы вступить и поставить на место всю эту сволочь.

Жена в конце концов прознала об Энджи и закатила Рою скандал. Разводиться она не желала и пригрозила, что расскажет копам об ограблениях банков на Среднем Западе. Поэтому одной дождливой ночью Рой ее и убил. Пырнул ножом под правую грудь, а потом перерезал горло. Сунул тело в большой пластиковый мешок, добавил сто фунтов камней, и безлунной ночью подъехал на своем «форде» к реке и бросил мешок в воду у дамбы. А потом Рою не давал покоя его сын. Он плакал и все время спрашивал, где его мама. Рой с самого начала не хотел ребенка, узнав, что станет отцом, не раз дубасил Джину, но та не пожелала сделать аборт. Даже тогда он мечтал о том банке в Де-Мойне. А когда у тебя столько денег, на кой черт нужен ребенок? Но Джина добила своего, и у Роя появилась новая обуза. А вот теперь Джейсон подслушал их разговор и узнал, кто убил его мать. Рой не сомневался, что этот маленький говнюк рано или поздно сдаст его копам.

- ...Не волнуйся, я все улажу, — добавил Рой. Энджи не отрывала от него глаз.
- Иногда ты меня пугаешь Рой. Честное слово. Он же твоя плоть и кровь.
- Я его не хотел. Это все Джина.
- И ты убил Джину.

— Ради тебя, — напомнил он. — Я убил ее ради тебя. Черт, опять мы взяли за старое. Спорим, я этого не хочу, да и ты тоже. Иди-ка сюда. Этот парень просто связывает нас по рукам и ногам.

Ему нравилось, когда она садилась к нему на колени. У него сразу все вставало, а уж

если она начинала чуть ерзать, член разве что не рвал брюки. А потом, как и сейчас, они укладывались на большую теплую кровать.

— Мне пора в город, — сказал он, когда они насытились друг другом. Хочу посмотреть, что к чему.

Речь, конечно же, шла о банке. Рой собирался ограбить его послезавтра. Деньги подходили к концу. Менеджер трейлерной стоянки уже не один раз напоминал Рою, что пора платить за аренду.

— Когда он вернется из школы, ничего ему не говори, — предупредил Рой.

— Хорошо.

— Я сам все улажу.

— Хорошо.

— Так будет лучше для нас всех. — Рой попытался подбодрить ее. Мы же повсюду таскаем с собой этого ребенка. Такая жизнь не для нас. Нам нужна свобода, крошка. Такие уж мы люди. Не можем без свободы.

Рой и раньше убивал людей, но ее это нисколько не волновало. Но она знала, что детей он не убивал. А тут речь шла о собственном ребенке.

В последний раз он поцеловал ее груди и вылез из кровати.

— Я разберусь с Джейсоном, а потом мы пойдем на танцы. Хорошо?

— Хорошо, Рой.

Она знала, что Рой от своего не отступится.

* * *

Однажды, когда Энджи было тринадцать, ее бабушка сказала: «Такое тело когда-нибудь доведет ее до беды». Ирония состояла в том, что и у бабушки в свое время, в молодости, было точно такое же тело, груди и бедра, которые сводили мужчин с ума. Как и у матери Энджи, с которой в тот момент говорила бабушка.

Для бабушки беда обернулась тем, что ее накачал солдат, приехавший в отпуск со Второй мировой войны, в результате чего на свет появилась Сюзи, мать Энджи. Та же беда не обошла и Сюзи: ее накачал солдат, приехавший в отпуск с вьетнамской войны, в результате чего на свет появилась Энджи.

А вот самой Энджи раздвинутые ножки принесли гораздо больше неприятностей. Как-то раз она увидела по ти-ви какой-то фильм про красивую женщину, которую все время называли содержанкой. Женщина целыми днями слонялась по роскошной квартире. Прекрасно выглядела, аренду платил какой-то старичок, заваливал ее подарками и чуть не умирал от горя, если содержанка хоть в чем-то выражала неудовольствие.

А ведь она была простой девушкой из Айовы, с таким же великолепным телом, как у Энджи. Стоило ли удивляться, что Энджи тоже захотелось стать содержанкой?

В пятнадцать лет она убежала из дома с тридцатидвухлетней женщиной из Омахи, которая поселила ее в отеле в Де-Мойне. За три года Энджи переспала с десятью мужчинами и скопила около тысячи долларов. Один из них был черным, что и заставило Энджи призадуматься. Ей не составило труда представить себе, что скажет отец, узнав, что она: а) спит с мужчинами за деньги; б) спит с черными мужчинами за деньги.

Поэтому она вернулась домой. Ее отец, который работал в мастерской по ремонту бытовой техники, не мог оплатить услуги частного психоаналитика, поэтому Энджи направили в Департамент социальной защиты округа, где она могла получить бесплатную психиатрическую помощь. Она потратила два часа, отвечая на вопросы миннесотского многофакторного личностного теста, который не вызвал у нее ничего, кроме скуки. Ее врач то и дело заглядывал в комнату и спрашивал, как у нее идут дела. То есть прикидывался, что его интересовало, как она справляется с тестом. На самом же деле он не мог оторвать глаз от ее груди. Влюбился в нее, как только Энджи вошла в его кабинет. Кончилось тем, что она начала с ним спать. У него была жена, которая работала в универмаге «Уол-Март» в Седар

Рэпидс, и две дочери, одна из которых чем-то серьезно болела. Тридцативосьмилетний лысый психиатр мучился от острого чувства вины, поскольку трахал пациентку и обманывал жену, но говорил, что ничего не может с собой поделаться, потому что ее грудь сводила его с ума, просто сводила с ума. Он все время приносил ей компакт-диски с рэпом. Она любила рэп. Рэп всегда звучал в гангстерских фильмах. Ей нравилось, как гангстеры заботились о своих женщинах. Этого она хотела больше всего. Встретить мужчину, который устроит ей легкую жизнь. Возьмет на содержание. Не надо работать. Не надо торговать своим телом на улице. Никаких хлопот. Сидишь себе в уютной квартирке, листаешь комиксы, смотришь МТВ и порнофильмы. Энджи любила порнофильмы. А вот секс не жаловала, за исключением мастурбации. Но если секс — та цена, которую предстояло заплатить за безбедную жизнь, она не возражала. Она бросила психиатра, как только окончила среднюю школу. Ее взяли продавцом в универмаг «Таргет» в Седар Рэпидс. За прилавком она простояла три недели. Получила жалованье, купила сексапильное платье и начала посещать бары в центре города, которым отдавали предпочтение адвокаты. В первые два месяца дела у нее шли очень неплохо. Она не нашла парня, который взял бы ее в содержанки, зато у нее появились несколько постоянных клиентов, которые снабжали ее деньгами. Их вполне хватило, чтобы снять маленькую квартирку и купить шестилетний «олдсмобил».

Но все хорошее когда-то да заканчивается. Она подхватила триппер и заразила пару мужчин, которые подкидывали ей денег. А потом подряд нарвалась на двух мужчин, которые много болтали, но мало платили, продавца автомобилей, который возил ее на «кадиллаке», и владельца ночного клуба с рубиновым перстнем на мизинце. Обещали они золотые горы, но денег-то у них не было. Продавец выплачивал алименты двум женам, владелец ночного клуба так много задолжал Департаменту налогов и сборов, что мог купить только жевательную резинку. Несколько лет тому назад ему принадлежал модный клуб в Рок-Айленде, но его обвинили в укрывательстве доходов. Потом, однако, все свелось к неуплате налогов, но штраф наложили большой.

И наконец разразилась катастрофа. В тот день, когда Энджи исполнилось двадцать шесть лет, ее арестовали за проституцию. Она сидела в баре со знакомыми шлюхами и отмечала день рождения, когда кто-то из адвокатов предложил поехать на его яхту. Они поехали, но к ним на хвост сели копы. Энджи настаивала, что за свои услуги она брала только подарки, а деньги никогда, но жандармы прикинулись, что не видят разницы. Они люто ненавидели хозяина яхты и одного из его приятелей, тоже адвоката, поэтому с радостью воспользовались возможностью посадить их в кутузку. На Энджи произвело впечатление новое здание, которое занимал полицейский участок Седар-Рэпидс. Заметила она и парочку симпатичных молодых копов, с которыми не отказалась бы переспать. Почему нет, даже интересно. У Энджи взяли отпечатки пальцев, предъявили ей обвинение. Ей казалось, что все это происходит во сне. Или в кинофильме, который она смотрит по телевизору. И лишь на следующий день, когда ее фамилия появилась в газете, она поняла, что произошло. В ее родном городе все читали седар-рэпидскую газету. Энджи позвонила домой, попыталась все объяснить. Мать расплакалась, отец пришел в ярость. Ей строго-настрого запретили приезжать на ежегодную встречу всех родственников, которая намечалась двумя неделями позже.

С тех пор прошло два года, и теперь Энджи жила с Роем, который грабил банки и убивал людей, если возникала такая необходимость. Теперь она понимала, что у него никогда не будет больших денег и на содержание он ее не возьмет. Черт, да он уже несколько раз намекал, что ей бы неплохо вновь податься в официантки, чтобы помочь оплачивать аренду площадки для трейлера и продукты. Что же касается людей, которых убил Рой, то о троих она знала точно. Но тревожило, даже пугало ее лишь одно убийство — Джинны. Все-таки жена — вторая половина. А намерение Роя убить сына еще больше напугало Энджи.

* * *

Во второй половине дня она просто впала в депрессию из-за своих бикини. Через неделю заканчивались занятия в школах. Открывались бассейны. То есть она могла во всей красе продемонстрировать свое тело. Да только на этот раз тела было слишком много. Она прибавила двадцать фунтов. Складки жира висели на бедрах. Да еще Рой уговорил ее вытатуировать на обеих грудях его имя.

Джейсон вернулся домой в половине четвертого. Худенький, светловолосый мальчишка, в веснушках и очках, с такими толстыми стеклами, что Энджи стало его жаль. Таких, как Джейсон, другие дети всегда выбирают мишенью для своих жестоких шуток.

Энджи сразу заметила: что-то не так. Обычно Джейсон прямым ходом шел к холодильнику, наливал себе молока, брал кусок пирога. И он, и Энджи любили сладкое в отличие от Роя, который отдавал предпочтение виски. А потом Джейсон перебирался в гостиную и смотрел «Бэтмена». Но сегодня он глухо поздоровался и сразу прошел в свою маленькую комнатку, закрыв за собой дверь. Энджи, конечно же, догадалась, в чем причина. Она накинула поверх бикини халат, нельзя же смущать ребенка чуть ли не голой грудью, Рой не раз говорил ей об этом, подошла к двери. Постучала. Она как-то не задумывалась, как Джейсон воспринимает ее. С ней он всегда держался вежливо, но не более того.

— Я сплю, — донеслось из-за двери. Энджи хихикнула.

— Если бы ты спал, то не смог бы ответить: «Я сплю».

— Мне просто не хочется разговаривать, Энджи.

Она решила рискнуть.

— Ты слышал наш ночной разговор, Джейсон, не так ли? — спросила она.

Долгая пауза.

— Он ее убил. Я слышал, как он это сказал.

Значит, Рой не ошибся. Парень все слышал. Энджи открыла дверь и вошла. Он лежал на кровати. Даже не снял кроссовки. С книжкой комиксов на груди. Солнечный свет, падающий сквозь пыльное окно на западной стене, золотил его светлые волосы.

Энджи шагнула к кровати, присела рядом с Джейсоном. Заскрипели пружины. Она старалась не думать об избыточном весе, о том, как выглядит она в бикини. Все равно придется садиться на диету. Она же хочет быть содержанкой, а содержанки должны прежде всего следить за своей фигурой. И, разумеется, лицом.

— Я только хочу, чтобы ты знал, что я не имела к этому ни малейшего отношения.

— Да, я знаю.

— Я также хочу, чтобы ты знал, что твой папа не такой уж плохой человек.

— Это точно.

— Иногда на него находит. Но вообще он очень даже ничего.

— Он сломал тебе ребро, так ведь?

— Просто не рассчитал силу удара. Слишком много выпил. Трезвым он никогда не бьет меня так сильно.

— В школе нам говорят, что мужчина вообще не должен бить женщину.

Энджи вздохнула.

— Ты же знаешь, что думает о школах твой папа. Он говорит, что там заправляют евреи, гомики и цветные.

Джейсон посмотрел на нее.

— Я собираюсь его сдать. Она испугалась.

— Милый, только не говори этого отцу. — Она-то знала, что Рою нужен только повод, любой повод, чтобы убить Джейсона. — Обещай, что не скажешь. Он может разозлиться и...

Энджи не договорила, но почувствовала, что мальчишка понял ее без слов.

— Хороший комикс? — Она указала на книжку.

— Хуже «Бэтмена».

— А чего ты не взял «Бэтмена»?

— Уже начитался.

— Понятно.

Она наклонилась, поцеловала Джейсона в лоб. Чего никогда не делала раньше. Мальчишка-то хороший.

— Запомни мои слова. Никогда не говори отцу, что хочешь его сдать. Ты меня понял?

— Да. Понял.

— А теперь поспи.

Энджи встала. Ей вспомнились слова матери: «Если гладить мужчину по шерстке и каждый день давать ему добрый кусок мяса, он будет доволен и тобой, и твоей готовкой». Энджи как-то процитировала ее слова Рою. Тот ухмыльнулся, полопал ее грудь и ответил: «Все зависит от того, о каком мясе идет речь». Тогда Энджи нашла его ответ очень даже забавным.

* * *

А вот сегодня, когда она терла сыр для спагетти, а на сковородке шкворчали свиные отбивные, ей было не до смеха. Он намеревался убить собственного сына. Она не могла с этим смириться. Собственного сына!

Еще через сорок пять минут все трое сидели за столом. Как всегда, перед едой Джейсон прочитал молитву, которой научила его мать. Рой, тоже обычное дело, скорчил гримасу и закатил глаза. Как-то раз, крепко выпив, из-за этой молитвы он назвал Джейсона сосунком.

— Знаешь, что я сегодня нашел? — нарушил молчание Рой.

— Что? — переспросила Энджи.

— Я разговариваю с парнем.

— Извини, — раздраженно бросила Энджи, задетая его тоном. — Не поняла...

Встала из-за стола и с грязными тарелками направилась к раковине.

— Знаешь, что я сегодня нашел? — повторил Рой.

— Что? — Джейсон посмотрел на отца.

— Отличное место для рыбалки.

— Правда?

— Для нас обоих. Я всегда хотел научить тебя ловить рыбу.

— Я думал, ты *ненавидишь* рыбалку, — ответил Джейсон.

— Теперь уже нет. Жить не могу без рыбалки, не так ли, крошка?

— Да, — ответила Энджи, стоя к ним спиной. — Ему нравится ловить рыбу.

Энджи сразу раскусила замысел Роя. Рыбалку он терпеть не мог И от сына обычно старался держаться подальше.

После ужина Джейсон ушел в свою комнату. Большинство детей в такой теплый весенний вечер играли на улице. Но не Джейсон. От предпочитал смотреть телевизор или читать.

Пока она мыла посуду, Рой пил из бутылки пиво и смотрел на голых девиц по плейбоевскому каналу.

— Ты все-таки хочешь это сделать. — Энджи на мгновение обернулась Да, хочу.

— Он же твоя плоть и кровь.

Он подошел, прижался к ее задку. Член стоял колом. Как обычно. По этой части жаловаться ей не приходилось. Сжал руками груди, поцеловал в шею, прошептал: «Мы любим свободу, Энджи. Очень любим. А этот малец связывает нас по рукам и ногам. Особенно теперь, когда он все знает. Один телефонной звонок, и мы за решеткой».

— Но он — твой сын.

Дверь в комнату Джейсона открылась. Мальчик прошел в туалет.

— Вот и позволь мне с ним разобраться.

* * *

Двадцать минут спустя Рой и Джейсон ушли. Она не могла придумать иного способа

остановить Роя, кроме как пойти за ними и предупредить Джейсона о замыслах отца.

Энджи кружила по трейлеру. Кружила и пила виски. Она так разволновалась, что сердце буквально выпрыгивало из груди, а правая рука непроизвольно дергалась.

А потом она вспомнила про револьвер. Она даже не знала, что это за револьвер Его ей дал один из друзей-адвокатов, когда она пожаловалась, что ей досаждают давний ухажер. Несколько раз она из него стреляла. Так что знала, как им пользоваться. Револьвер она хранила в комодке под трусиками без промежности, которые купил ей Рой. Он любил пошутить, что съел промежность.

Энджи достала револьвер и пошла за ними к реке. В полумиле от стоянки для трейлеров начинался лес. Берег там был обрывистый, течение быстрое. Как-то раз они там гуляли, и Рой сказал, что лучшего места, где можно избавиться от тела, не найти. Его сосед по камере, которого Рой очень уважал, говорил, что обычно утопленники все равно всплывают, но замести следы гораздо проще, если тело пробудет под водой пять или шесть дней.

Небо темнело, сгущались сумерки, с северо-востока доносились раскаты грома, усиливающийся ветер пах дождем. Грозы всегда пугали Энджи. Маленькой девочкой она пряталась от них в чулане. Обе старшие сестры дразнили ее трусишкой. Но она все равно пряталась.

* * *

Она их нашла. Отец и сын сидели за столиком для пикника неподалеку от обрыва и разговаривали. Темнота медленно окутывала их. Еще немного, и они растворились бы в ночи.

— Какого черта тебя сюда принесло? — спросил Рой.

— Она может прийти, если ей этого хочется, — вступился за Энджи Джейсон.

Она улыбнулась. Приятно, знаете ли, осознавать, что мальчишка тебя любит.

— Мне надо по-маленькому. — Джейсон поднялся и ушел за кусты.

— Я боялась, что ты с ним уже покончил, — прошептала Энджи.

Он посмотрел на нее. Пожал плечами.

— Оказалось, что это не так просто.

— Он же твоя плоть и кровь.

— Да, да, наверное, причина в этом. Я уж пару раз принимался, но давал задний ход. Это тебе не пристрелить незнакомца.

— Давай вернемся домой. Он покачал головой.

— Нет. Возвращайся одна.

— Если ты не можешь этого сделать, чего здесь торчать?

— Я не говорил, что не могу. Просто думал, что все будет проще. Времени уйдет больше, но я справлюсь. А теперь отрывай свой аппетитный зад от скамьи и жди меня дома. Сегодня мы уезжаем.

— Уезжаем?

— Да. — Они увидели возвращающегося Джейсона, и Рой перешел на шепот. — В школе будут задавать вопросы. Лучше уехать сразу.

Джейсон подошел к столу.

— Папа говорил тебе, что в этой реке можно поймать двадцатифутовую рыбину?

— Да, — кивнула Энджи, — говорил.

— Энджи должна вернуться домой. Она готовит нам сюрприз.

— Сюрприз? — оживился Джейсон. — Какой сюрприз?

— Если она тебе скажет, какой же это будет сюрприз, а?

Джейсон радостно улыбнулся.

— Никакой.

— Иди домой, крошка. — Рой шевельнул бровями. — Мы скоро подойдем.

Она бы, может, и заспорила, но хорошо знала, что спорить с Роем бесполезно. Во

всяком случае, взять верх точно не удастся. Синяков же, а то и переломов может прибавиться.

— Ну, я пошла. — Она поднялась.

— Так хочется увидеть твой сюрприз, — воскликнул Джейсон.

Но домой Энджи идти не собиралась. Спряталась в ночной тьме у края леса, наблюдая за ними Она надеялась, что Рой не сможет этого сделать. Просто не сможет, и все. Даже прочитала пару молитв.

Но он смог. Вытащил пистолет, схватил Джейсона за плечо и поволок по траве к обрыву.

Дальнейшее словно произошло помимо ее воли: она побежала, закричала. Рой жутко разозлился, увидев ее. Она отвлекла его от ребенка, а ребенок старался вырваться, размахивал руками, пинался, кусался.

Рой и подумать не мог, что у нее есть револьвер. Она подбежала вплотную, выхватила револьвер из заднего кармана джинсов и убила его. Три выстрела в голову.

Его повело вбок, и он обделался до того, как повалился на землю. Завоняло ужасно. А реакция Джейсона и вовсе поразила Энджи. Она-то рассчитывала на благодарность. А он опустился на колени рядом с Роем и завыл. Потом схватил безжизненную руку в свои и завыл еще сильнее. Может, подумала Энджи, причина в том, что его мать тоже мертва. Может, потерять обоих родителей — это уже перебор, даже если твой папаша пытался тебя убить?

Она подтащила Роя к обрыву, сбросила в реку. В воде отражались звезды, у берега плескались волны.

Потом оттащила мальчишку от обрыва. Поначалу он упирался, кусался, пинался. Но она вlepила ему затрещину, которая тут же его успокоила. Он продолжал плакать, но хоть стал слушаться

* * *

— Как ты?

— Нормально.

— Есть хочешь?

— Скорее да, чем нет.

— В Колорадо тебе понравится. Подожди, пока покажутся горы.

— Напрасно ты убила его.

— Он собирался убить тебя.

Потом он долго молчал. Они приближались к границе Небраски. Исчезли последние холмы. На пастбищах мычали коровы, на деревьях пели ночные птицы. Ехали они, опустив стекла, вдыхая ароматный ночной воздух Среднего Запада.

В шестидесяти трех милях от границы, около десяти вечера, они поравнялись с мотелем «Империя», построенным в пятидесятых годах. С административной частью по центру и отходящими от нее двумя крыльями, по восемь номеров в каждом.

Энджи сняла номер, бросила в автомат несколько монет, получив взамен пакетики сладостей и картофельных чипсов. Для Джейсона арендовала фантастический канал кабельного тв-ви.

Вымыла его под душем, уложила в постель, включила телевизор Долго он не протянул. Заснул едва ли не на десятой минуте фильма. Энджи выключила свет, разделась, легла. Она очень устала. Во всяком случае, думала, что устала. Но сон не шел. Она лежала, думала о Рое, о своем детстве, о том, что ей хотелось стать содержанкой. Когда-нибудь она ею станет. Другого не дано. Потом она вспомнила, как выглядела в бикини. Господи, надо садиться на диету.

Лежала она с час. Потом услышала, как открылись дверцы автомобиля, раздался мужской смех. Решила выглянуть в окно. Двое симпатичных, хорошо одетых мужчин заносили чемоданы в номер, расположенный в ее крыле. Приехали они на огромном новеньком «линкольне». Энджи встrepенулась. Ей захотелось выпить, послушать музыку.

Может, даже потанцевать. И посмеяться. Чего ей сейчас не хватало, так это смеха.

Пятнадцать минут спустя она уже причесалась, накрутилась, надушилась, надела белый топик и красные шорты с подрезанными штанинами, оголяющими ягодички.

Она знала, что мальчишка прекрасно без нее обойдется. Он спит, дверь закрыта, с ним ничего не случится.

* * *

Их звали Джим Дарбин и Майк Брейди. Жили они в Седар Рэпидс, где им принадлежало два больших компьютерных магазина. Еще один они собирались открыть в Денвере. Обычно Джим предпочитал автомобилю самолет, но вот Майк боялся летать. Обычно они останавливались в более пристойном мотеле, но на этом шоссе другого просто не было. Энджи постучалась в их дверь под тем предлогом, что в административном корпусе не нашлось автомата по продаже сигарет, в окне у них горел свет, вот она и решила спросить, не смогут ли они одолжить ей несколько сигарет. Джим ответил, что не курит, а вот у Майка сигареты нашлись. Джим добавил, что уже много лет уговаривает Майка бросить курить, но без всякого результата. «Как вам это нравится? — задал Майк риторический вопрос. — Этот парень каждый день рискует заболеть раком легких, но боится войти в самолет».

Они достали бутылку хорошего виски, конечно же, предложили ей составить им компанию. Майку она приглянулась с первого взгляда. Как скоро выяснилось, Джим не мог пожаловаться на отсутствие семейного счастья, зато Майк, наоборот, разводился. Его жена ушла к доктору, с которым познакомилась в каком-то благотворительном комитете. Джим сказал, что Майку просто необходима хорошая женщина, которая должна помочь ему вернуть веру в себя. Эти слова Энджи слышала не раз. Ей нравились дневные ток-шоу, а в них страсть как любили говорить о возвращении веры в себя. Аккурат на прошлой неделе ведущий беседовал с проституткой-трансвеститом, которая/который мечтала/мечтал вернуть веру в себя.

Энджи немного захмелела и увлеклась разговором с Майком, тогда как Джим пошел принять душ перед сном. Энджи заметила, что выходить из ванны он не торопится, чтобы дать ей и Майку возможность побыть наедине. Вскоре их губы слились в поцелуй, его руки тискали ей грудь и ягодички, а потом она уже стояла на коленях у кровати и делала ему минет. А он ахал, стонал, выгибал спину и просто сходил с ума от наслаждения. И ей это доставляло удовольствие. Приятно, знаете ли, осчастливить мужчину, тем более если у него разбито сердце.

Когда Джим вернулся, в красном махровом халате, вытирая волосы белым полотенцем, Энджи и Майк сидели в креслах с полными стаканами.

— Как идут дела? — любопытствовал Джим.

— Ну, — Майк напоминал подростка, нервного и возбужденного, — я как раз собирался спросить у Энджи, не сможет ли она поехать со мной в Денвер. Провести там пару недель, пока мы будем готовиться к открытию магазина.

Джим все вытирал голову полотенцем.

— Этот человек во всем стремится к совершенству, Энджи. Тебе надо побывать в его квартире в кондоминиуме. Потрясающий вид на город.

— Тебе нравятся реактивные лыжи? — спросил Майк.

— Конечно, — ответила Энджи, не очень-то понимая, о чем речь.

— Слушай, у меня они есть. Поверь мне, получишь удовольствие. Ты можешь остановиться в моей квартире и весь день делать все, что тебе захочется. Смотреть телевизор, ходить по магазинам. А вечер мы проведем вместе.

— Слушай, Энджи, ты просто волшебница, — подал голос Джим. — Я вновь слышу голос моего самого близкого друга Майка Брейди. За последние три или четыре года я никогда не видел его таким счастливым.

Майк сиял как медный таз.

— Может, я влюбился.

Он наклонился к Энджи, обнял ее и сочно чмокнул в губы. Энджи не верила своему счастью. Неужели она встретила человека, который возьмет ее на содержание? Да еще и неженатого. Ведь он мог и жениться на ней.

— Я только скажу Джейсону, — вырвалось у нее. В лице Майка что-то изменилось.

— Джейсону? А кто такой Джейсон?

— Можно сказать, приемный сын.

— Так ты путешествуешь с ребенком?

— Да.

Майку не пришлось ничего говорить. Все пропечаталось на его лице. Он-то мечтал об оргиях, а она все испортила, вернув его с небес на землю. Ребенок! Гребанный ребенок!

— Понятно, — вырвалось у Майка.

— Он очень хороший мальчик. — Энджи попыталась все уладить. — Тихий, спокойный.

— Я уверен, Энджи, что он очень хороший, — покивал Джим. — Но я не думаю, что Майк хочет видеть его в своей квартире. Ты пойми, мы ничего не имеем против детей. У меня их двое, у Майка — трое.

— Я люблю детей, — добавил Майк, хотя никто не обвинял его в обратном.

— Он никому не помешает, — пробормотала Энджи. — Никому.

Майк и Джим переглянулись, вновь посмотрели на Энджи. Общее мнение выразил Джим.

— Знаешь, что мы сделаем? Ты едешь в Омахе, так? Оставь нам свой телефонный номер, и Майк позвонит тебе, как только обустроится в своей квартире. Идет?

Майк потерял дар речи, даже не смог попрощаться. За него это сделал Джим.

Этот малец связывает нас по рукам и ногам, вспомнились ей слова Роя. В Омахе придется опять идти в официантки. Потом наступит осень, и придется устраивать его в школу. А тем временем кто-то будет жить с Майком в денверской квартире и пользоваться его кредитной карточкой, покупая еду и одежду.

— Вы не знаете, есть ли поблизости река? — спросила она.

— Река? — переспросил Джим.

— Да, — кивнула Энджи. — Река.

Наутро, в семь часов, она постучалась в дверь их номера. Открыл ей заспанный Джим.

— Ты чего? — В голосе слышалось удивление. Он полагал, что вечером они распрощались навсегда.

— Угадай, что случилось?

— Что?

— Вчера я сказала, что Джейсон мне приемный сын, так? На самом деле я его тетя. Моя сестра живет в десяти милях отсюда. Она страдает глубокой депрессией. Вот она и попросила меня взять его на несколько дней. Но рано утром заехала и забрала ребенка, потому что ей полегчало.

За плечом Джима вырос Майк.

— Значит, ты уже без ребенка?

— Конечно. И свободна как ветер.

— Так едем в Денвер.

Джим отошел в сторону, приглашая Энджи войти.

— Пойду-ка я завтракать. Вернусь через час.

Он быстренько оделся и отбыл.

Они же улеглись в кровать Майка. Раз или два Энджи вспомнила о Джейсоне. О том, как оглушила его в номере. Реку она нашла без труда. Действительно, ей следовало оставить эту грязную работу Рою. Малец и впрямь связывал по рукам и ногам. Она его любила, но он сковывал ее почище кандалов.

Через несколько часов они уже ехали в Денвер. Вечером поужинали в ресторане,

выпили много вина, Майк слизывал соус с ее пальчиков. Она боялась засыпать. Думала, что ее будут мучить кошмары. Но пригелась рядом с Майком, они ублажили друг друга, выкурили одну сигарету на двоих, поговорили о Денвере, так что Энджи и не заметила, как заснула. Спала крепко, безо всяких кошмаров.

Эл Саррантонио **Бечевка-бесовка**

В субботу утром, пока Сюзи и Джерри, как обычно, смотрели по телевизору мультики, бечевка-бесовка слопала почти весь их район. В конце концов экран погас, и папа Джерри включил радио, но оно тоже не работало. Тогда Сюзи и Джерри стали смотреть на бечевку-бесовку из большого окна в гостиной Джерри. Бечевка-бесовка была очень проворная, и дети успевали заметить лишь ее кончик, Заданный кверху, прямой-прямой, или другой кончик, свернутый петлей или ползущий, извиваясь, по стене какого-нибудь дома, между деревьями, по автомобилям. Немного помедлив, бечевка-бесовка юркнула в мебельный фургон, который стоял на той стороне улицы — перед домом Сюзи, вытащила из него толстого грузчика в форменном комбинезоне, обвила его тело с ног до головы, как мумию, и утащила под землю. Маму Сюзи она тоже уволокла под землю. Вообще-то мама Сюзи стояла на тротуаре и командовала грузчиками, но, увидев бечевку-бесовку, побежала к дому. Однако бечевка ее опередила.

— Уезжаем! — крикнул папа Джерри, странно покосившись на сына, и бечевка-бесовка сцапала его во дворе, между гаражом и машиной Мама Джерри с кучей подушек в руках бежала за папой. Она тоже попала в бечевку-бесовку. То же самое случилось и с Джейн, сестрой Джерри. Джейн хотела незаметно смыться к своему жениху Брэду, который жил в том же квартале. На глазах Сюзи и Джерри бечевка-бесовка — вылитая черная пружина — выпрыгнула из кустов перед домом Брэда и схватила Джейн, когда та уже протягивала Брэду руку. Брэд попытался было сбежать, но и его бечевка не упустила. Тонкие, проворные ростки вырвались из газона и бетонной дорожки. Обкрутив Брэда, они разорвали его на две половинки — верхнюю и нижнюю — и обе утащили под землю.

Сюзи с Джерри убежали по лестнице на чердак, а бечевка-бесовка обвилась, как удав, вокруг дома, но до чердака не долезла, а потом вообще уползла. Из крохотного восьмиугольного чердачного окна дети увидели, как бечевка-бесовка оплела дом Майерсов и выдернула через окно второго этажа их маленького ребенка. Потом обвила в три круга фундамент майерсовского дома и, немножко подрыгавшись, блаженно затихла, как уснувшая кошка.

— Она совсем как... — произнес Джерри, обернувшись к Сюзи. Голос у него дрожал от страха.

— Знаю, — оборвала его Сюзи, приложив палец к губам. Когда они опять обернулись на дом Майерсов, все окна в нем были уже разбиты, столбики террасы выдернуты из земли, а бечевки-бесовки и след простыл. Они обнаружили ее немного подальше, по правую руку от участка Майерсов: бечевка лениво покачалась в воздухе, а потом хлестнула землю, как кнут; немного погодя они увидели ее в соседнем слева квартале: проскочив между домов, бечевка вынеслась на улицу и там перехватила на бегу какого-то мальчика — кажется. Билли Карсона.

Солнце поднималось все выше. Стояло самое обычное летнее утро: зной, зной и ничего, кроме зноя.

Днем стало еще жарче, и чердак превратился в печку. Бечевка-бесовка занималась своим делом. Посмотрев в бинокль, принадлежавший отцу Джерри, они обнаружили, что бечевка-бесовка обвилась, точно змея, вокруг шпиля методистской церкви далеко-далеко в самом центре города. Так выяснилось, что бечевка может залезать на какую угодно высоту. На их глазах она вытащила с колокольни какое-то маленькое и беспомощно сучащее ногами существо (наверное, оно еще и кричало, но в такой дали ничего не было слышно) и,

соскользнув со шпилья, исчезла из виду.

— Я тебе говорю, это же... — снова начал Джерри. Сюзи, пристально глядя в бинокль, вновь приложила палец к губам, но Джерри все-таки договорил фразу до конца:

— ...страшно похоже на папкин розыгрыш.

* * *

Ночь они провели на чердаке, чуточку приоткрыв окно, чтобы не задохнуться. Снаружи, освещенная луной, была бечевка-бесовка. Дважды она подбиралась к ним близко-близко. Во второй раз она вообще разбила огромное окно гостиной на первом этаже, потом вытянулась высоко-высоко перед самым чердачным окошком, ощупала кончиком щель между рамами — Джерри, стоявший у окна, так и остолбенел, — но тут же упорхнула.

Они нашли пачку крекеров и съели их. Бечевка-бесовка, беспрестанно перемещаясь туда-сюда, то и дело загораживала луну, поэтому на потолке и стенах чердака плясали размытые темно-серые тени.

— Как ты думаешь, везде так? — спросил Джерри.

— А сам-то ты как думаешь? — ответила Сюзи вопросом на вопрос, и тут Джерри вспомнил про папкин коротковолновый приемник на батарейках. Он принимал станции со всего мира. Приемник хранился в углу чердака, в коробке с фонариками.

Джерри достал приемник и включил, но, сколько он ни крутил ручку, из динамика слышалось одно только шипение.

— Везде... — прошептал Джерри.

— Похоже на то, — отозвалась Сюзи.

— Не может быть... — проговорил Джерри.

Сюзи съела еще один крекер.

Вдруг Джерри уронил приемник и заплакал.

— Но это ведь папа меня просто разыграл! Это не взаправду!

— Но ведь сначала-то казалось, что взаправду? — спросила Сюзи.

— Он всегда-всегда меня разыгрывал, — продолжал Джерри, не переставая всхлипывать. — Когда я съел вишню вместе с косточкой, он спрятал в кулаке несколько листочков, а потом сделал вид, будто вытащил их у меня из уха — сказал, что косточка проросла, и теперь внутри меня ничего нет — одно вишневое дерево! А в другой раз он поклялся, что у нас во дворе сейчас приземлится звездолет, приказал дежурить у окна в гостиной, а сам тихонько обошел дом и кинул с крыши игрушечную ракету: она прямо передо мной упала! — Джерри озадаченно, серьезно хмурил лоб. — Он вечно такие фокусы проделывал!

— И ты верил, когда он тебя разыгрывал? — спросила Сюзи.

— Да! Но разве...

— Может быть, если очень-очень верить, желание сбывается взаправду!

Джерри окончательно вышел из себя.

— Но это был розыгрыш! Ты там была, ты тоже видела, что он сделал! Он закопал во дворе веревку, потом позвал нас и выдернул кусок веревки из земли, и сказал, что это отросток гигантского чудовища, бечевки-бесовки, и что оно разрослось под землей, пока не заполнило изнутри всю планету, и что теперь оно подобралось совсем близко к поверхности. И как только ему захочется, оно высунет наружу свои веревочные щупальца и всех переловит, и затащит под землю, и всосет их своим телом, а тело у него мягкое и колыхается, как у слизняка...

Джерри с умоляющим видом посмотрел на Сюзи.

— Бечевка-бесовка была не ВЗАПРАВДАШНЯЯ!

— Но ты поверил.

— ОН МЕНЯ ПРОСТО РАЗЫГРАЛ!

— Но ты поверил, что все это взаправду, — тихо произнесла Сюзи, глядя себе под

ноги. — Может, дело в том, что моя мама решила переехать и нас разлучить. Вот ты и поверил в бечевку так сильно, что она появилась на самом деле. — Сюзи подняла глаза. — Может, потому она нас и не сцапала — из-за тебя.

Сюзи подошла к Джерри и обняла его, стала гладить его по голове своими длинными тонкими пальцами.

— Может быть, ты это сделал, потому что меня любишь, — сказала она.

Джерри поднял свои заплаканные глаза.

— Я тебя вправду люблю, — сказал он.

* * *

За неделю они съели всю еду, какая была в доме, и потому перебрались к Майерсам и съели всю их еду, а затем к Дженценам — соседям Майерсов. И так они все переселялись и переселялись, незванными гостями объедая квартал за кварталом. Из дома в дом они перебегали после заката или на рассвете. Бечевка-бесовка к ним и близко не подходила — теперь она решила переловить всех окрестных собак и кошек.

И даже когда они замечали бечевку-бесовку, она обычно находилась далеко. К примеру, заглядывала в какой-нибудь дом в соседнем квартале, а потом поднималась к небесам, чуть ли не касаясь облаков: прямая, черная, маслянисто-блестящая от солнца — совсем как антенна. Часто она пропадала на несколько дней кряду, а однажды в телескоп, который нашелся в очередном жилище (расположенном так далеко от родного квартала, что имен хозяев они больше не знали), Джерри и Сюзи обнаружили вторую бечевку-бесовку. Дом этот стоял на самой окраине города, а вторая бечевка-бесовка находилась в соседнем городе. Днем она сворачивалась кольцами, но порой тут и там выпускала торчащие кверху побеги. И вот несколько из этих побегов на миг замерли, а потом загнулись на конце, указывая на бечевку-бесовку в их городе. Та тоже загнулась, указывая в сторону соседки.

Сюзи покосилась на хлюпающего носом Джерри.

— Повсюду, — сказала она.

Лето близилось к концу. Белки исчезли, а вслед за белками исчезли птицы, цикады, мошки и комары. Джерри и Сюзи переселялись из дома в дом, из города в город и частенько видели, как бечевка-бесовка затаскивает под землю стрекоз, а иногда прихлопывает мух и тоже забирает. Везде происходило одно и то же: каждый город, каждый дом, каждый уголок земли бечевка-бесовка очистила от людей, зверей и насекомых. В конце лета исчезли и пчелы. Казалось, бечевка-бесовка приберегла их на сладкое, а потом все-таки всосала в свое вязкое слизистое тело вместе со всеми другими живыми существами. В одном городе Джерри и Сюзи попался маленький зоопарк, и они долго с изумлением разглядывали пустые клетки, дочиста вылизанный обезьянник и пруд, где больше не плескались тюлени.

Еды было полно, да и с водой проблем не было, и с газировкой в банках — тоже. Когда Сюзи и Джерри обошли все города в окрестностях, они поехали на поезде: залезли в кабину локомотива, запустили дизельный двигатель, научились им управлять и отправились в путь. Двигатель взревел, как гром в клетке. Тут даже Джерри рассмеялся и, высунув голову из окна, почувствовал, как ветер, точно живое существо, ласкает его щеки. Сюзи нажала на кнопку гудка, и раздалось истошное кваканье. Они проехали один большой город, потом другой, а когда топливо кончилось, сошли в городке, очень похожем на их родной.

Потом они перебрались в другой город, а оттуда — в третий, и всюду их сопровождала бечевка-бесовка: ползла за ними далеким стражником, торчала выше самых высоких зданий, нервно дергая кончиком.

Лето перешло в осень. Теперь Джерри никогда не улыбался — даже когда глядел на Сюзи. Глаза у него стали какие-то пустые, руки дрожали. Он почти ничего не ел.

* * *

Настала осень, но их странствия не прекращались. В одном из безымянных городов в пустом подвале пустынного дома Джерри подошел неверной походкой к верстаку и снял с крючка висевшие там клещи. Вручив их Сюзи, он сказал!

— Сделай так, чтобы я больше не верил.

— Ты о чем?

— Убери бечевку-бесовку из моей головы. Сюзи засмеялась, тоже подошла к верстаку, взяла фонарик и посветила им Джерри в уши.

— У тебя там ничегошеньки нет — одни козюли.

— Не хочу больше верить, — проговорил Джерри монотонным голосом призрака.

— Поздно, — отозвалась Сюзи.

Джерри лег на пол, подтянул колени к подбородку.

— Раз так, я хочу умереть, — прошептал он.

* * *

Зима наступала осени на пятки. Воздух был холодный, как яблоки — вот только яблок на свете больше не существовало. Всю осень бечевка-бесовка прилежно затаскивала под землю деревья, кусты, траву и последние, еще не отцветшие розы.

Она очищала планету от всего: от сорняков и рыб, амёб и микробов.

Джерри перестал есть и теперь мог ходить, лишь опираясь на Сюзи.

Он лениво размышлял, чем займется бечевка-бесовка после того, как убьет Землю.

* * *

Сюзи и Джерри стояли на поле между двух городов и разглядывали грязь. Вдали, свистя в воздухе, трудилась бечевка-бесовка: кукурузные стебли аккуратными рядами, точно сами собой, проваливались под землю. Позади Джерри и Сюзи, зарывшись носом в пыльный кювет, стояла машина, на которой они ехали, пока бензин не кончился. Вела ее Сюзи. Чтобы видеть что-то помимо руля, ей пришлось подложить на сиденье целый штабель телефонных книг. Небо было тускло-серое с голубоватым отливом, какое-то запачканное. В небе неподвижно, точно нарисованные, висели чахлые облака. Птиц не было.

Несколько блеклых снежинок слетело на поле.

— Пусть все это кончится, — хрипло прошептал Джерри. Уже несколько дней он даже не пил воды. Его одежда превратилась в лохмотья, глаза стали омутами горя. Смотреть на небо ему было больно, хотя освещение никак нельзя было назвать ослепительным.

— Пусть... кончится, я так хочу... — проскрипел он. И нарочно уселся прямо в грязь. Со стороны он казался стариком, случайно попавшим в тело ребенка. Устало моргнув, он поглядел на Сюзи снизу вверх.

И вновь заговорил, чтобы спокойно спросить:

— Это ведь не я сделал, а ты. Сюзи молчала. Затем все же сказала:

— Я верила. Я верила, потому что иначе было нельзя. Меня никто никогда не любил — только ты. А они хотели увести меня от тебя.

Вновь воцарилось молчание. Бечевка-бесовка, покончив с кукурузным полем, застыла по стойке «смирно», чего-то ожидая. У ее основания на землю осело неплотное облако пыли.

Очень тихо Джерри произнес:

— Я тебя больше не люблю.

На секунду в глазах Сюзи мелькнула печаль — но тут же превратилась во что-то гораздо более твердое, чем сталь.

— Значит, вообще ничего не осталось, — сказала она. Джерри вздохнул, уставившись на небо сощуренными больными глазами.

Бечевка-бесовка обняла его почти нежно. И пока она тащила его под землю, внутрь своего трепещущего вязкого тела, он увидел миллион бечевко-бесовок: тонкие и черные, они

тянулись злыми пальцами к Солнцу и другим звездам.

Томас М. Диш Филин и Киска

И когда Кристофер Робин приходит в Зоопарк, он идет туда, где живут Полярные Медведи, и шепчет что-то третьему смотрителю слева, и двери отпираются, и он идет по темным коридорам и крутым лестницам, пока не приходит к особой клетке, и клетка эта открыта, и оттуда выбегает трусцой что-то бурое и мохнатое, и со счастливым воплем «Мишка!» Кристофер Робин бросается к нему в объятия.

Они больше всего любили утро, когда мистер и миссис Фэрфилд еще спят наверху, а в доме тихо, и можно забиться вдвоем на тесную кушетку и ждать, пока прогрехочет поезд на той стороне реки. Бывают и другие поезда в другое время дня, но тогда уже поднимается такая суматоха, что можно не заметить поезда, пока стекла в окнах не задребезжат.

Давно уже пора было бы починить эти окна, особенно те, что по обе стороны телевизора. Мокрик тревожился при каждом штормовом предупреждении, уверенный, что рано или поздно порыв ветра вырвет эти старые стекла из алюминиевых рам. Окна наверху были крепче, поскольку сделаны были на старый манер и, наверное, им предстояло пережить крышу. Хотя это не означало долголетия — крыша тоже была в плачевном виде. Как-то, когда у мистера Фэрфилда были деньги, он собирался починить крышу, но получилось не так сразу, потому что поиск постоянной работы заставлял его подолгу не бывать дома.

Когда пройдет поезд, начнет становиться светлее, заверещит будильник наверху и зашумит вода в ванной, а потом из кухни запахнет завтраком. Завтрак они любят больше всего, потому что он всегда одинаковый. Стакан яблочного сока и либо воздушный рис, либо кукурузные хлопья с молоком, а потом хрустящий тост с маслом и джемом. Все опустят головы вместе с миссис Фэрфилд, и мистер Фэрфилд тоже, если рано встанет, и возблагодарят Господа за дары его.

А по воскресеньям иногда бывали даже блинчики. Мокрик жил в детском саду Большой Развилки, пока не переехал к Фэрфилдам (еще при *первой* миссис Фэрфилд), и раз в месяц в столовой детского сада бывал особый завтрак с блинчиками. Первая миссис Фэрфилд помогала печь их на газовой плите аж по двадцать штук сразу. Чудесные блинчики, иногда с черникой, иногда с кокосовой крошкой, и давали их съесть сколько хочешь всего за два доллара, если тебе еще шести не было. Потом на такие праздники приходило народу поменьше, и только дети, будто это был обычный будний день, только с блинчиками, и тогда с Мокриком и произошел тот случай, который дал ему имя Мокрик. Дети стали кидаться едой, швыряли блюда как летающие тарелки, хотя на блюдах был сироп, а мисс Вашингтон велела этого не делать. Никто не обратил внимания — на мисс Вашингтон никто никогда не обращал внимания — и одна тарелка попала в Мокрика и облила его сиропом, и миссис Фэрфилд потащила его в умывальник и стала оттирать губкой, а когда так весь сироп снять не удалось, устроила ему настоящий душ. И он никогда уже до конца не высох.

Он не возражал, чтобы его называли Мокриком. Мелочи жизни, как говорится. Но потом был Ужасный Случай (который даже и не был случаем), но чего об этом говорить. Не стоит вскрывать темные стороны, и вообще это пример того добра, без которого не бывает худа, потому что если бы не Ужасный Случай, вряд ли Фэрфилды взяли бы к себе Мокрика навсегда. А уж спора нет, что дом Фэрфилдов — место получше, чем детский сад Большой Развилки. Одиноко там, конечно, было, пока Ухарь не поселился с ними, но Мокрик всегда старался быть сам по себе. И новая миссис Фэрфилд была такая же. Она больше любила одиночество у телевизора, чем много друзей.

Но особые друзья — это другое дело, конечно, и с самого начала Ухарь должен был

стать *особым* другом Мокрика. Он перебрался жить к Мокрику и Фэрфилдам, когда мистер Фэрфилд забрал его из родного дома в реформатской церкви Большой Развилки. Вот там он сидел в ящике и слушал оратора на собрании Анонимных Алкоголиков во вторник вечером, но не так чтобы очень внимательно, и там-то мистер Фэрфилд его и заполучил. Он сам тоже там был, потому что его арестовали за Вождение в Состоянии Интоксикации, и судья его приговорил два раза в неделю посещать собрания АА. Вот он и сидел в голландской реформатской церкви на раскладном стуле рядом с ящиком Ухаря.

У мистера Фэрфилда были нервные руки. Если он не вертел в них сигару, то чистил ногти складным ножиком или рвал листок бумажки на мельчайшие клочки. В тот вечер, превратив в конфетти двухстраничное расписание местных собраний АА, он начал играть с Ухарем — нельзя сказать, чтобы грубо, но явно не учитывая собственные чувства Ухаря. Когда участники собрания поделились друг с другом опытом, силой и надеждой (все, кроме таких, как мистер Фэрфилд, которому особо делиться было нечем), все взялись за руки и провозгласили «Отче Наш».

Вот тогда-то мистер Фэрфилд поднял молодого филина и шепнул ему в фетровое ухо: «Ухарь, я беру тебя к себе», но Ухарь, покинувший церковный подвал под полкой пиджака мистера Фэрфилда, и с таким чувством, будто Высшая Сила его предала, понял это слово как «краду». Он столько уже прожил в подвале церкви и считал, что это его законное место, и никто его отсюда не заберет, хотя каждое воскресенье он проводил в коробке, на которой было написано «БЕСПЛАТНО». Сначала это было ужасное переживание, но собрания АА были утешением в одиночестве и изоляции. Но Ухарь возложил упования на Высшую Силу и сокрушил волю свою, и приучился принимать свою жизнь церковного филина. А теперь вот его похищают.

Мистер Фэрфилд открыл дверцу своего пикапа, и Ухарь удивился, увидев, что кто-то в этом неимоверно холодном пикапе ждал в течение всего собрания. В темноте, завернувшись в одеяло и очень раздраженный, что пришлось все это время ждать на холоде.

— Ухарь, познакомься с Мокриком, — сказал мистер Фэрфилд. — Мокрик, это Ухарь. Он будет твоим новым другом, так что поздоровайся.

Мокрик ответил не сразу, но наконец испустил долгий и горестный вздох.

— Привет! — сказал он и подвинулся, освобождая Ухарю место под одеялом. Когда они уместились, он шепнул Ухарю на ухо:

— Ничего не говори в его присутствии.

При этом он бросил многозначительный взгляд на мистера Фэрфилда, который вынул из бардачка коричневый бумажный пакет.

Первый пшик открываемой бутылки сказал Ухарю, что мистер Фэрфилд тоже тайный пьяница, вроде преподобного Друри, пастора голландской реформатской церкви. Ухарь часто был свидетелем тайных возлияний преподобного в церковном подвале, и когда Друри не приканчивал свои полпинты шнапса за один раз, то оставлял их на попечение Ухаря, в коробке «БЕСПЛАТНО» — вместо сломанных игрушек и заляпанной одежды для малышей. Теперь Ухарь оказался в той же ситуации.

— За вас двоих! — сказал мистер Фэрфилд, заводя мотор и поднимая бутылку в сторону Мокрика и Ухаря. Они переглянулись с пристыженным видом соучастников, и машина выехала на дорогу 97.

— Я тебя видел, ты это знаешь, — сказал мистер Фэрфилд. — На воскресной гаражной распродаже. Ты сидел на столе для бесплатных пожертвований. Неделями. Никому эта мерзость, значит, не нужна. Так что когда я тебя увидел сегодня, так подумал — вот тут для него самое место. В дружки пригодится. Так, Мокрик?

Мокрик помалкивал. Это жестокая подначка — так говорить про беднягу филина, который уж точно был несчастным созданием, можно не сомневаться. Мокрик привык к тому, что его чувства никто не щадит. Давно притерпелся. Но бедняга Ухарь наверняка был близок к тому, чтобы расплакаться.

А мистер Фэрфилд, казалось, за эту мысль зацепился.

— Да я, знаешь, и сам не картинка. У тебя вон клюв, у меня пузо, а Мокрик — вообще инвалид. У него проблем побольше, чем у старого Эбби. Только он о них ни с кем не говорит. В своей семье — никогда. Может, тебе расскажет. Как думаешь, друг?

Ни Мокрик, ни Ухарь ни слова не сказали.

Мистер Фэрфилд приложился к бутылке еще раз, и путь продолжался в молчании.

Когда они приехали, новой миссис Фэрфилд представил Ухаря сам мистер Фэрфилд.

— Лапонька, у нас новый член семьи. И он плюхнул Ухаря на колени миссис Фэрфилд с громким, но не очень совиным «Ух! Ух!»

— Какой милочка! — сказала миссис Фэрфилд не очень убежденно. — Какая прелестная лапочка! — Она сделала затычку и спросила:

— Только кто же это такой?

— Какая птица кричит «Ух! Ух!»? Это филин. Ты посмотри на него. У него клюв совиный и глаза большие. Не иначе как филин. Так что будем звать его Ухарь.

— Но у него ушки, как у плюшевого мишки! — возразила миссис Фэрфилд.

— Ну так что? Никто не совершенен. Так что это филин, и хрен с ним. Поцелуй его. Ну!

Миссис Фэрфилд положила сигарету в пепельницу, вздохнула, улыбнулась и осторожно поцеловала Ухаря в клюв. Ухарь понял, что этот поцелуй настоящий, совершенно искренний, и знал, что с этого момента он — член семьи Фэрфилдов. И это он, который думал, что никакой семьи у него никогда не будет, и вся жизнь пройдет в ящике в подвале голландской реформатской церкви.

— Годится? — спросила миссис Фэрфилд, поворачиваясь к мужу.

— Теперь скажи, что ты его любишь.

— Я тебя люблю, — сказала миссис Фэрфилд, все еще глядя на мистера Фэрфилда с некоторым беспокойством.

— Теперь годится, — сказал мистер Фэрфилд, обтирая руки о шерсть у себя. На голове — того же цвета, что у Ухаря, только намного длиннее. — Это дело утрясли. Ты теперь иди заваливайся спать, а мне еще надо кой-куда съездить.

У миссис Фэрфилд вид был слегка разочарованный, но она не спросила ни куда он, ни можно ли ей с ним.

Вообще она была домоседкой, и в этом и Мокрик, и Ухарь брали с нее пример. Они могли часами сидеть в тесном кресле и смотреть телевизор вместе с миссис Фэрфилд или играть вдвоем под большим обеденным столом с горами сложенной одежды, ожидающей глажки. Очень редко выходили они из дому, потому что знали: есть серьезные причины этого не делать. Сразу за домом был лес, а мистер Фэрфилд про этот лес рассказывал страшные сказки. У животных — очень многих — нет человеческих семей, в которых можно жить, и дома нет, а только леса, а там опасно бывает даже для сов. Совы сами хищники, и охотятся на мышей и на птиц поменьше, но и на них тоже охотятся волки, медведи и змеи. А для молодых котиков, говорил мистер Фэрфилд, лес это верная смерть. И Мокрик никогда, никогда не должен ходить в лес один, и даже с Ухарем не должен, а то их там хищники съедят живьем.

Мокрик, слушая эти рассказы, дрожал от ужаса. А вот Ухарь иногда думал, не преувеличивает ли малость мистер Фэрфилд насчет леса. Что верно, то верно — лес был. Он был виден в окна, и лесных созданий тоже иногда удавалось увидеть — оленей, и двух симпатичных сурков, и разных птиц, некоторых миссис Фэрфилд знала — вороны, малиновки и синицы, но для прочих у нее не было имен. А на закате летом бывали даже летучие мыши со своими пискливыми неприятными песнями. Но в самом ли деле эти лесные создания так враждебны и опасны, как в рассказах мистера Фэрфилда? Ухарь в этом не был убежден.

И совершенно другой вопрос: а Мокрик в самом деле был кошкой? Миссис Фэрфилд однажды сказала, что он, как ей кажется, гораздо больше похож на медведя коала. И даже указала, что у него уши точно как у того коалы из рекламы авиалиний «Кантас». Кантас — австралийская компания, а там эти медведи и живут. Ухарь думал, что в этом что-то есть.

Даже без носа Мокрик был больше похож на коалу, чем на кота.

Но мистер Фэрфилд был неколебим. Мокрик — кот. И в доказательство он спел песню. Вот такую:

Филин и Кошка отправились вдаль
На лодке в утренний час.
И взяли в дорогу денег немного
И хлеба кусок про запас.
Филин на звезды тогда посмотрел
И тихо запел под гармошку:
О Кошка моя! — так Филин пропел,
О что за красавица Кошка!
О что,
О что,
О что за красавица Кошка!

— Мокрик не девочка, — возразил Ухарь. Впервые он позволил себе противоречить мистеру Фэрфилду, и мистер Фэрфилд наградил его мрачной гримасой, а потом тумакон, от которого Ухарь перелетел через полкомнаты.

— Если я говорю, что он девочка, так он, твою мать, девочка и есть. А если я говорю, что он Киска, значит, он Киска. Дошло?

— Гарри, прошу тебя, — сказала миссис Фэрфилд.

— Гарри, прошу тебя! — повторил мистер Фэрфилд плаксивым тоном, желая, очевидно, передразнить жену, хотя вышло совсем не похоже.

— Я думаю, все кошки — девочки, — сказала миссис Фэрфилд Ухарю. — Псы — мальчики, а кошки — девочки.

Никто не подошел помочь Ухарю, пока мистер Фэрфилд не вышел из комнаты, но Мокрик обменялся с ним сочувственным взглядом, хотя и очень печальным.

Потом, когда они могли говорить, не опасаясь быть подслушанными, Ухарь возразил (шепотом и под простыней):

— Так мы ничего не можем сделать? Так нам и придется тут сидеть и терпеть все издевательства?

— Он бывает очень злой, — согласился Мокрик.

— И с миссис Фэрфилд такой же злой, как с нами.

— Даже злее. В прошлом году, примерно за неделю до Нового года, первую миссис Фэрфилд отвезли в приемный покой больницы, и ей там семь швов наложили на голову. Ей пришлось носить банданну, а когда она ее снимала, швы были видны.

— А зачем он это сделал? — спросил Ухарь, пораженный ужасом. — И что это он сделал?

— Ну, они пели тогда песню, его любимую. Снова и снова. И наконец она сказала, что устала и больше не может петь, и он сидел как раз там, где ты сейчас сидишь, и смотрел на нее, а потом встал и дал ей гитарой по голове. Знаешь, что я думаю?

— Что?

— На самом деле он разозлился на гитару. Потому что никогда не умел хорошо играть. Хотя никто особо не жаловался, особенно при нем. Только для него было большое облегчение, что никто больше не будет слышать, как паршиво он играет на гитаре. Он так и не завел другую взамен разбитой.

— Не очень он приятная личность, — угрюмо буркнул Ухарь.

— Не очень, — согласился Мокрик. — А нам надо постараться немножко поспать. Завтра снова день.

Он обхватил Ухаря руками, и они заснули.

В таком маленьком доме, в пустынной части страны, в отсутствие ближних соседей было неизбежно, что Мокрик и Ухарь будут проводить вместе много времени и очень подружатся. Мокрик узнал от Ухаря про голландскую реформатскую церковь, и про преподобного Дрюри, и про Двенадцать Шагов Анонимных Алкоголиков. О жизни Ухаря до того, как он стал церковным филином, мало что было рассказывать. Он был призом в игре по бросанию колец на уличной ярмарке Большой Развилки по случаю двухсотлетней годовщины Дня Независимости, но девочка, которая получила Ухаря от победителя, почти сразу пожертвовала его на еженедельной гаражной распродаже реформатской церкви. Ухарь признался Мокрику, что часто чувствовал себя как румынские дети из той передачи, которую каждый день слушал преподобный Друри. Они прожили все детство в приюте и потом трудно сближались с приемными родителями.

А Мокрик на это ответил:

— А ты знаешь, я не уверен, что это так уж плохо. Есть родители, с которыми лучше не сближаться больше, чем это абсолютно необходимо.

— Ты хочешь сказать... мистер Фэрфилд?

— И не только он, — кивнул Мокрик. — Она была ничуть не лучше, первая миссис Фэрфилд. Сейчас наша жизнь на самом деле лучше, чем была тогда, при ней.

— Ты никогда еще о ней не говорил. Это она тебя... — Ухарь коснулся конца клюва кулестей крыла, имея в виду ту же область лица Мокрика.

— Нос оторвала? Нет, это было еще в детском саду. Там был мальчик, Рей Мак-Нолти, который вечно тянул меня за нос, и тянул, и тянул, и тянул. Мисс Вашингтон ему говорила перестать, но он не слушал. И однажды, когда всем полагалось спать, он его просто оторвал. Так этому Рею Мак-Нолти этого было мало! Он еще взял ножницы и вспорол мне шов на шее.

— И никто никогда не пытался его зашить?

Мокрик подошел к креслу рядом с входной дверью и мрачно на себя посмотрел. Шея у него была вспорота спереди и до самого левого уха, отчего у него голова грустно наклонилась в сторону, и был такой вид, что когда он говорит, ты должен внимательно слушать.

— Однажды. Однажды миссис Фэрфилд пыталась зашить мне шею — новая миссис Фэрфилд. Она хотела как лучше, только за иголку и нитку ей бы лучше не браться. Но я уже привык. Теперь мне все равно, как это выглядит.

Ухарь подошел к нему и попытался запихнуть набивку в рану на шее.

— Это просто позор! Чуть-чуть поработать иголкой — и ты будешь такой красивый!

Мокрик отвернулся от зеркала.

— Спасибо на добром слове. Да, так я тебе рассказывал про первую миссис Фэрфилд.

— Она была вроде него? — спросил Ухарь. — В смысле, тоже пила?

— Да, а когда напьется, начинала буяннить. Они всегда ссорились, и она любила что-нибудь ломать. Выбросила электрическую сковородку прямо в окно кухни. Она вылила на него целую бутылку красного сладкого, когда он валялся пьяный на половике, а потом на него напоззли муравьи — ух, что было! А потом, если он давал сдачи, она вызывала полицию. Два раза сажала его за решетку.

— Так чем все кончилось? Они развелись? Ответ Мокрика был почти неслышным. Ухарю пришлось переспросить.

— Она умерла, — ответил Мокрик хриплым шепотом. — И это тоже вышло не случайно.

Рассказывать подробности ему не хотелось, и Ухарь знал, что не надо докучать ему вопросами. Все равно надо было решить куда более серьезный вопрос: Мокрик предложил Ухарю пожениться!

Ухарь было возразил, что они одного пола, но Мокрик напомнил ему об однополых

браках, которые все время обсуждаются по новостям, и хотя их не разрешают ни у южных баптистов, ни у католиков, ни у ортодоксальных евреев, они двое все же принадлежат к голландской реформатской церкви, если вообще к какой-то принадлежат. А кроме того, мистер Фэрфилд говорит, что Мокрик не мальчик, а девочка, так что это не будет однополый брак. Важно то, что они любят друг друга и будут любить друг друга до конца времен или пока смерть не разлучит их. И в конце концов Ухарь ответил словами песни: «Поженимся скорее, не в силах я больше ждать, но только сперва расскажи мне, откуда кольцо нам взять?»

В стихотворении филин и кошка приплывают на лесной остров и покупают у свиньи за шиллинг кольцо из носа, но в реальной жизни найти кольцо было куда проще, потому что у миссис Фэрфилд была шкатулка с украшениями, и там много всяких колец, которые бывают в ювелирных магазинах. Кольца с рубинами, и кольца с изумрудами, и два кольца с аметистами (новая миссис Фэрфилд была Водолеем, а аметист — это камень рожденных в феврале), но окончательный выбор пал на кольцо с четырехкартатным цирконом бриллиантовой оправки в четырнадцатикартатной золотой оправе из «Магазина на диване».

Они поженились в лесу за домом в пасмурный июньский день, когда мистер и миссис Фэрфилд поехали в Большую Развилку поговорить с адвокатом. Мокрик был одет в кухонное полотенце в красно-белую клетку, и Ухарь сказал, что он похож на арабского террориста. Сам Ухарь был в черном. Это впервые они были вместе в лесу так далеко, что даже крыши дома не было видно. По их понятиям, это ничего иного не могло значить, как то, что они заблудились!

Мокрик взялся лапой за обрывок крыла Ухаря и произнес:

— Венчаюсь с тобою!

И ответил филин:

— В горе и в счастье.

— В болезни и в здравии.

Больше они ничего не могли вспомнить из церемонии, только поцелуй. И еще была проблема, что делать с кольцом, когда оно стало их кольцом. Мокрик хотел вернуть его в шкатулку миссис Фэрфилд, но у Ухаря сразу сделался такой несчастный вид, что Мокрик предложил другой план. И они зарыли кольцо под камнем в лесу, отметив место, где была их свадьба.

Когда они вернулись домой, там вместе с мистером и миссис Фэрфилд был их адвокат, мистер Хабиб, и еще два полисмена и одна дама, миссис Ярдли, с волосами желтыми, как у кинозвезды. Та, которая хотела с ними говорить. Мистер Хабиб сначала сказал, что это смешно — мальчик аутичен и дезориентирован. Из разговора с ним ничего не выяснишь, и вообще это дело безнадежное. Этого мальчика не заставить отвечать на вопросы. Мистер Хабиб уже пытался, и полиция тоже.

— Но я поняла из замечаний, которые сделал в своих показаниях мистер Фэрфилд, что он *говорит* со своими плюшевыми медведями или за них. И я вижу, что они у него с собой. И я хочу поговорить с этими медведями. Наедине.

— Хотите говорить с парой засранных медведей? — заржал мистер Фэрфилд. — Может, устроите им допрос третьей степени?

— Прошу отметить в протоколе, — сказала миссис Ярдли, — что у нас есть причина подозревать неблагополучное состояние ребенка и угрожающую ему опасность. Существует целое дело об издевательствах.

— Все эти обвинения связаны только с покойной, — указал мистер Хабиб. — А этот мальчик явно не подходит для официального допроса.

Миссис Ярдли мило улыбнулась ему и присела возле Ухаря.

— Но я же не собираюсь говорить с мальчиком. Я вот с этим маленьким другом хочу познакомиться. И с его приятелем. — Она ласково погладила Ухаря по клюву и потрепала Мокрика по голове. — Если *кто-нибудь* меня представит.

Мокрик отвернулся, но Ухарь был не так застенчив.

— Меня зовут Ухарь, — поведал он шепотом. — А это — Мокрик.

Мистер Хабиб энергично запротестовал, утверждая, что миссис Ярдли поступает против правил, но она просто не обратила на него внимания и стала говорить с Мокриком и Ухарем, рассказывая им про других плюшевых медведей, которых она знала и уважала, про Эванджелину, которая жила в Твин-Форкс и была всегда одета как топ-модель, Дрейфуса, который носил галстук-бабочку и знал разные вещи про Инвестиционные Фонды Открытого Типа, и про Жан-Поль-Люка, который говорил только по-французски, и миссис Ярдли поэтому не очень хорошо его понимала, пока не прошла в школе годовой курс французского, а было это очень давно.

Она оказалась действительно приятной дамой, но чем она была приятнее, тем грубее становился мистер Фэрфилд, и в конце концов ей пришлось попросить двух полисменов проводить мистера Фэрфилда к полицейской машине. Мистер Хабиб вышел с мистером Фэрфилдом, а миссис Фэрфилд поднялась наверх.

Когда они остались с миссис Ярдли наедине, она сменила тему и перестала вспоминать знакомых плюшевых медведей, а захотела узнать все-все-все про Фэрфилдов. Ухарь хотел ей помочь, но он мало что мог ей рассказать про первую миссис Фэрфилд. Мокрик поначалу не так уж ей доверял, и про многое говорил, что не помнит, особенно про ту ночь, когда умерла первая миссис Фэрфилд.

Ухарь постепенно понял, что миссис Ярдли думает, будто мистер Фэрфилд убил свою первую жену и сейчас ищет способ, как это доказать. Когда она перестала задавать вопросы Мокрику, она стала спрашивать то же самое у Ухаря, хотя он и объяснил ей сразу, что жил еще в голландской реформатской церкви, когда убили миссис Фэрфилд.

— А! — сказала миссис Ярдли. — А почему ты говоришь «убили»? Ты не веришь, что это был несчастный случай?

— Не *знаю* я! — отбивался Ухарь, готовый заплакать.

— А я думаю, она сама на себя руки наложила, — сказал вдруг Мокрик, хотя его и не спрашивали. — Так говорит мистер Фэрфилд.

— В самом деле? А кому он это говорил? Тебе?

— Нет, мне он всегда говорит, что это был несчастный случай и чтобы я про это не думал. Но я слышал, как он говорил это *новой* миссис Фэрфилд...

— Это Памеле Харпер? Той даме, что поднялась только что наверх?

— М-гм. Он ей сказал, что никто столько снотворных таблеток случайно не принимает. Он ей говорил, что думает, что она, наверное, подмешала их себе в мороженое, «Роки роуд». Она могла съесть целую пинту «Роки роуда». Особенно если они перед тем подрались. Он извинился и принес домой мороженое. И никому больше ни кусочка не дал.

И чем больше Мокрик объяснял миссис Ярдли про мороженое, и про выпивку, и про споры, которые тут бывали, тем яснее становилось Ухарю, что мистер Фэрфилд, наверное, убил свою первую жену, подмешав снотворные таблетки в мороженое. А потом поставил бутылку виски туда, где она ее должна была найти, когда он оставит ее одну. Ясно, что миссис Ярдли подозревала то же самое.

И тут с диким шумом новая миссис Фэрфилд скатилась с лестницы, как буря, и вылетела из дому, чтобы бросить своему мужу обвинение в краже четырехкаратного бриллиантового кольца из ее шкатулки.

Ухарь с тревогой посмотрел на Мокрика, а Мокрик откинул голову назад и стал смотреть на причудливый узор водяных потеков на потолке. Миссис Ярдли больше ничего не смогла у них вытащить, и потому оставила их в покое и отошла к входной двери, где мистер и миссис Фэрфилд орали друг на друга, пока мистер Фэрфилд не перешел от словесных оскорблений к действиям и не дал миссис Фэрфилд пощечину — а миссис Ярдли ничего больше и нужно не было. Эту ночь Мокрик и Ухарь провели в семейном приюте в сорока милях от дома Фэрфилдов, и там они и жили, пока продолжался суд над мистером Фэрфилдом за убийство первой жены. Они по закону не имели права быть свидетелями на суде, и Ухарь лично был рад, что избавлен от такого неприятного долга. Что он мог бы такого сказать, что помогло бы мистеру Фэрфилду? При всех своих недостатках этот человек был

ему вроде отца, и Ухарю не хотелось бы присутствовать, когда присяжные вынесут вердикт «Виновен в убийстве первой степени».

В семейном приюте Мокрику и Ухарю не особенно позволяли друг с другом видаться. Встречались они только в прачечной, когда там никто не стирал одежду, или на чердаке, куда им ходить не полагалось. И даже когда им удавалось улучшить несколько минут наедине, без других обитателей приюта, они не находили слов. Мокрик потихоньку опять сползал в депрессию и уныние, которые не давали ему ни с кем разговаривать, пока он не встретил Ухаря. А Ухарь большой кусок своей жизни провел в подвале голландской реформатской церкви, долбя таблицы умножения.

Никто из них не захотел говорить с мистером Фэрфилдом, когда он звонил по телефону, а миссис Фэрфилд ни разу не позвонила. Может быть, на самом деле она и не была женой мистера Фэрфилда, а только подружкой. И вообще она куда-то уехала, где адреса не было.

— Ты по ней скучаешь? — спросил как-то Ухарь у Мокрика в холодный ноябрьский день, сидя рядом с сушилкой в прачечной.

— Да нет, пожалуй. Скучно было смотреть все эти программы по каналу домашних покупок. Я и первую-то миссис Фэрфилд не очень любил, но с ней было забавнее.

Ухарь меланхолично рассматривал большой узел с бельем на полу.

— А знаешь что? Я по *нему* скучаю.

— Слушай, нам так гораздо лучше, — заверил его Мокрик.

— Надеюсь. А он *долго* будет сидеть в тюрьме?

— В газете было сказано: минимум двадцать один год.

— Подумать только! Ему будет, сейчас посчитаю... — Ухарь произвел мысленный расчет, — ...почти пятьдесят пять, когда он выйдет. Ну, я думаю, он это заслужил. Если ты кого-то убил, за это надо расплачиваться.

Мокрик странно улынулся Ухарю. Местная дама зашила ему рану на шее, и теперь его голова склонялась чуть в другую сторону, и это нервировало.

— Верно, — согласился он. — Но ты же знаешь, что *он* миссис Фэрфилд не убивал.

— Да-да, так и мистер Хабиб говорил — ничего, кроме косвенных улик.

— Нет, я не о том.

— А о чем? Что она действительно покончила с собой?

— Нет, это я ее убил.

Ухарь был ошеломлен.

— Но этого не может быть! Ты же просто...

— Игрушечный медведь? — спросил Мокрик с улыбкой. — Так ты думаешь, что игрушечные медведи — просто глупые пушистые бессловесные звери?

Ухарь покачал головой.

— Может, мы не живем в лесу, но мы — медведи.

— Я — филин! — возразил Ухарь.

— А я — котик. Но оба мы — медведи. Не спорь — просто посмотри на свои уши. Мистер Фэрфилд как раз там, где ему следует быть, а что до нас, я думаю, нас усыновят хорошие люди. Миссис Ярдли говорит, что на нас уже много заявлений.

Так это и вышло. Их усыновили Кертис и Мевы Беннетты, и они переехали в дом на побережье Джерси и там, как в том стихотворении:

В руке рука, на краю песка,
Танцевали они при луне,
Вот так,
Вот так
Танцевали они при луне

Но венчальное кольцо их осталось там, где они положили его, под камнем в лесу, на месте их свадьбы.

Стивен Спрюлл Гемофаг

Двери лифта раскрылись, первая струйка запаха крови была как стебель розы, вознесшийся в вазе, потом заиграли хищные обертона... У Меррика запершило в горле. Кабина дернулась, но он держался крепко. Перед глазами темно-коричневый ковер, серые обои с серебристым узором. В полосе света из лифта кружились пылинки. Там где-то люди — спешат мимо. Но это — там, отсюда никого не видно. Можно нажать кнопку лифта, сказать полицейскому в вестибюле, что оставил что-то в машине, и вернуться к Кэти — ведь там его место. Но труп уже проник в него, атомы мертвой всасывались в его кровь — с каждым вздохом.

Меррик выпустил лифт и шагнул в холл, ладони покалывало там, где он прижимал их к поручню. За спиной сузился и погас свет со стуком закрывшихся дверей, оставив бледные вспышки двадцатипятиваттных канделябров, слишком далеко расположенных друг от друга.

Они любят, когда темно. Здесь можно проскользнуть не боясь, что заметят, если вдруг даже выйдет кто из жильцов...

Меррик стиснул зубы. Черт поberi этого лейтенанта — «нет» для него не ответ, пожалуйста, только взглянете. Он знать не мог, о чем он просит.

У открытой двери в конце коридора — еще один полицейский. Когда он поднял руку с фонарем, лицо его осветилось отраженным от стен светом.

— Здесь место преступления. Если вы обойдете вокруг...

— Я Меррик Чепмен.

Коп подтянулся и покраснел.

— Да, сэр, простите! Я думал, вы старше.

И не ошибся, сынок.

Тесный вестибюль переходил в узкий коридор — слева и небольшую гостиную — прямо, где паркет был укрыт персидскими коврами. Удобное кресло в углу сразу же привлекло внимание — Меррик понял, что это и было любимое место. Растения в горшках переплетались над ним кружевом, а стоящий позади торшер давал достаточно света для чтения. На полу лежал открытый любовный роман яркой обложкой вверх. Два эксперта в перчатках возились около кресла.

— Лейтенант!

— Дес, сзади.

Меррик обернулся. Его удивило, что Дес столь изрядно прибавил в весе. И сколько белых нитей в черных волосах. Все еще пижонски одевается, но уже без своих излюбленных масайских мотивов в подтяжках и галстуках. Просто черный шелковый блейзер, белая рубашка и угольного цвета брюки — форма ответственного сотрудника.

— Сам ты лейтенант.

— Отлично выглядишь, Меррик. Черт, ты будто какой-то греческий эликсир нашел, будто вчера только ушел со службы. А вот я... — Он бросил укоризненный взгляд на собственное брюхо. — Спасибо, что приехал. Я у тебя в долгу. Черт, я и раньше у тебя в долгу был.

— Ничего ты мне не должен, Дес.

— Ага. Это какой-то другой Меррик выкручивал всем руки, чтобы меня назначили на его бывшую должность.

— Ты все еще считаешь это услугой?

— Наверняка лучше, чем просиживать задницу в наблюдении и кемарить в дежурке. А свой милый офис я всегда могу послать подальше, если пожелаю. Он оглянулся через плечо в коридор, и ничего близкого к такому пожеланию в этом лице не было. — Степански тебя остановил при входе?

— Который у двери? А что ты ему вообще сказал?

— Только твою фамилию. Хороший мальчик, рвется в детективы, сшивается возле наших ребят и впитывает их боевые рассказы, как губка. У тебя все еще рекорд по раскрытым убийствам.

Меррик ощутил неловкое удивление. Люди в департаменте еще о нем говорят? А что это меняет? Ему сейчас уже мало есть, что скрывать.

Дес протянул пару латексных перчаток. Пока Меррик их натягивал, в мозгу промелькнули видения отмеченной синевой мраморной кожи, неподвижных глаз, крови, темной и ароматной, всегда пахнувшей по-разному. На секунду снова вернулась мысль о бегстве — сейчас уж совсем не ко времени!

— Она в ванной, — сказал Дес.

Меррик прошел по узкому коридору мимо крохотной спальни — кровать аккуратно накрыта цветастым покрывалом. Ванная была большая, с розовыми и зелеными плитками под стиль пятидесятых. Женщина лежала в ванне, глаза закрыты, губы раскрыты, будто задремала. Простоватое лицо при жизни было красивее. Кровь в воде наполовину скрывала тело. Меррик глянул — вот он, около ванны, возле ее плеча — поварской нож с длинным остро отточенным лезвием, блестящим от крови. Дес вынул из воды алебастровую руку. Порез был глубокий, вдоль запястья, а не поперек. Наклонившись ближе, Меррик осмотрел рану, голова чуть закружилась от отравленного запаха. Горло перехватило, но потом он смог проглотить слюну. Он опустил руку в воду — холодна, как камень.

Позвоночник свело напряжением, но он спросил:

— Почему ты заподозрил убийство?

— Ты не считаешь, что вода должна была бы быть темнее? Я видал четыре или пять самоубийств в ванне, и обычно тела не разглядеть, если порезанная рука не снаружи и кровь не стекла на пол. А на запястье нет старых следов. Откуда она знала, как сделать разрез? Она не врач. Продавала туры в агентстве.

— Записка?

Дес покачал головой.

Меррик посмотрел на него:

— Ты меня экзаменуешь, Дес?

Лейтенант ухмыльнулся, и на секунду годы умчались прочь.

— Я уверен, ты заметил, — сказал Меррик, — что кровь на ноже еще не засохла, а это значит, что прошло не больше часа. Так почему же вода такая холодная?

— Вот именно. Никто не залезет в холодную ванну резать себе вены. Тот, кто это сделал, никак не рассчитывал, что хозяйка войдет, чтобы отдать щипцы для завивки.

Меррик закрыл глаза, и ему представилась высокая фигура — фигура человека, крадущегося по сумрачному коридору к этой квартире. Или, быть может, лезущая по наружной стене к скошенному окну. Он увидел женщину, сидящую в кресле за чтением, может быть, она подняла голову, ощутив изменение в воздухе. Но убийцы она не видела, потому что он ментально коснулся капилляров ее сетчатки и пережал их, создав слепое пятно, которое мозг жертвы заполнил знакомыми предметами обстановки. Потом он расширил ей яремные вены, откачивая из мозга кровь, и подхватил, когда она упала. Он едва ощущал ее вес, относя в ванную на руках, которые способны поднять грузовик, с кистями, которые могут пробить стену. У нее не было никаких шансов, совсем-совсем ни одного шанса не было, потому что вампиров не существует. На самом деле эта женщина, быть может, видела своего убийцу, но только в самой глубине мозга, где нет ожидаемых образов, способных заполнить слепое пятно. Романисты создали образы кровососов, искаженные их горячечным воображением, а Голливуд бросил эти искажения на экран, и это, по иронии судьбы, показанное в ложном свете, только лучше скрыло тайну веков. Да, мы знаем о вампирах, и главное, что мы знаем о них, — это то, что они выдуманы.

Ладно, крест или осиновый кол эту женщину не спасли бы, но сигнал тревоги, подключенный к видеокамере, мог бы. Сколько уже гемофаг, побывавший сегодня здесь, бродит среди людей и берет то, что ему нужно двести лет? Тысячу? Бродил ли он в глухую

полночь по истоптанным полям Гастингса или Ватерлоо, выпивая кровь умирающих? Сколько тел оставил он в лесах, где зубы других зверей стирали следы его собственных? Сейчас можно выследить убийцу по одному волосу или следу его крови — если он человек. Но если кто-то гибнет в автомобильной аварии, при пожаре, просто исчезает, кончает самоубийством — убийцу даже не ищут.

— Что мне теперь хотелось бы знать, — сказал Дес, — это где остальная кровь? На полу ее точно нет. И в ней тоже нет, потому что она бела, как хлеб причастия. Ты думаешь, он мог вернуться — наш убийца-вампир?

Наш убийца-вампир.

— Я думал, он мертв, — протянул Дес. — На самом деле я верил в ту теорию, что это ты его убил. Меррик пристально на него глянул. Дес развел руками:

— Слушай, я же тебя не обвиняю. Но ты дни и ночи охотился за этим злобным гадом, а потом перестал — и он тоже.

Меррик увидел подземелье в лесах Вирджинии, ряды лежанок в общих залах для тех, кто слишком ослабел и не может больше двигаться. Он увидел Абези-Тибода, Балберита, Проща, лежащих в индиговом полусвете, разметав по подушке волосы. Лица мертвых фараонов, пока не заметишь мерцающих ненавистью глаз. Вокруг за железными решетками вопили и бесновались другие — туда он помещал свежепойманных, и туда он наконец поместил Зана.

К горлу подкатила тошнота. Не надо было сюда приходить. Кошмар кончился и не должен начинаться заново.

— Да, ты много еще мотался несколько месяцев после последнего убийства, — сказал Дес. — Но ты никогда бы не ушел в отставку, если бы знал, что он еще здесь. По крайней мере так мне хотелось думать.

— Ты думаешь, я поймал бы его и не арестовал, а просто убил?

— Твой секрет я бы не разболтал.

Меррик ощутил тяжесть в груди. *Обвинитель, судья, плач.*

У Деса был смущенный вид.

— Слушай, ты меня извини, не надо было мне это говорить. Я не знаю человека более цельного, чем ты. Я знал, что все это, наверное, принятие желаемого за действительное. Я смотрел все сводки еще несколько лет, когда убийства прекратились — посмотреть, не начнутся ли они в другом месте. Не начались. А это явно другой почерк. Тот убийца, тринадцать лет назад, выставлялся напоказ. Этот... — Дес поглядел на труп в ванне и проглотил слюну. — Этот хитер, Меррик. Кто бы он ни был, он не рассчитывал, что всплывет убийство — нам просто повезло. Но недостающая кровь заставляет вспомнить того типа тринадцать лет назад. Сколько еще сукиных сынов настолько спятили, что вообразили себя вампирами? — Дес покачал головой. Где ее кровь? И не говори мне, что он ее выпил.

Меррик положил Десу руку на рукав:

— Не фиксируйся на этом. Это может ничего не значить. Может, у нее была по-настоящему медленная свертываемость, и потому нож еще мокрый. Тогда это могло случиться три часа назад — достаточно, чтобы вода остыла.

— Ты думаешь, такое может быть? — На лице Деса отразилась борьба надежды и сомнения. — Черт, может быть. — Он шумно выдохнул. — Посмотрим, что скажет лаборатория. Я тебе сообщу.

— Не надо.

— Ладно. Я думаю, тебе хватило психов на всю оставшуюся жизнь.

Меррик не ответил.

— Извини, что на тебя это навалил.

— Не бери в голову.

— Привет от меня Кэти, — сказал Дес.

— Обязательно.

У Меррика посветлело на душе. Кэти, его теперешняя жизнь. В этот час им полагалось

пить кофе в кабинете, обсуждая ее день в больнице. Потом они поднимались наверх...

Но он еще не может ехать домой. Пока не будет уверен.

* * *

Меррик остановил машину, выключил фары и подождал, пока уляжется пыль. Перегнувшись к пассажирскому сиденью, он осмотрел ферму Зана. Калитка, прикрученная ржавой проволокой к столбу, — как на скотном дворе. Ни машины, ни огней в доме, но это ничего не значит.

У Меррика от напряжения свело желудок. Съехав на наклонную обочину, он заглушил мотор и вышел. В ночном воздухе, холодном и тихом, слышимость идеальная. Отключившись от тихого тиканья остывающего двигателя, Меррик засек шуршание в поле возле дома и направился туда, пристально изучая траву в красноватом подобии дневного света. Енот в траве встал на задние лапы, почувствовал его взгляд и быстро удрал.

Он повернул к дому. Когда темнота вокруг расступилась, ветхость здания стала огорчительно очевидной. Со столбов веранды облупилась краска, — днем она была бы бледно-желтой. Маскировочная лента висела по стеклу двери, закрывая трещину в стекле. Еще месяц-полтора, и клены по обе стороны веранды, скроют кое-какие недостатки свежей листвой, но сейчас все это выглядело скорее как развалины.

— Подойди.

Приглушенный голос Зана. Тут Меррик увидел его — высокий серый силуэт, плавающий в прямоугольнике треснувшего окна. Миновав калитку, он поднялся к веранде по травянистому склону, и грудь его сжималась от ужаса. Заскрипели под ногами доски — последняя система предупреждения, которую никому не отключить. Звонкая наружная дверь, ручка, холодная, неподатливая. Меррик отступил на несколько шагов. Зан глядел на него без всякого выражения на смуглом гладком лице. Соболиные волосы он подстриг коротко, как шерсть пантеры.

— Сегодня у меня был вызов. Молодая женщина умерла в ванне. Вены вскрыты, исчезло много крови. Ты?

— Я этого больше не делаю. Беру немного, когда они спят. Хочу их убивать, но не убиваю. Мы — львы, они — зебры, но наутро они все просыпаются. Потому что теперь я такой, как ты. Ты это сделал.

Меррик тогда взялся за плетень не дрогнув, шрамы оставила его собственная рука. Как может правильный поступок ощущаться таким не правильным? Он позволил логике загнать себя в капкан: только он может остановить Зана, следовательно, если он этого не сделает, кровь на его руках.

И потому я похоронил своего сына тринадцать лет назад, чтобы спасти легион чужих людей. Потому что они похожи на нас. Они вспыхивают и гаснут в мгновение ока, но у них наши лица. А у нас — их. Неужели Зан забыл свою мать, которая была из людей?

У Меррика сжалось сердце. Пятьсот лет, и кости ее стали прахом, но он ее не забудет. Она в Зане, ее смуглая красота в его лице бедуинского шейха, молодом навеки.

— Ты получил то, за чем, пришел, — сказал Зан.

В мозгу Меррика слышался тот же голос, и он молил: «Не оставляй меня, прошу тебя...»

Но я его оставил.

Меррик увидел мысленным взором келью, как заставлял себя видеть каждый день: Зан, скорчившийся на лежанке, придавленный бесконечной однообразной тьмой, лишенный будущего, и оставлены ему лишь все воспоминания, вся охота, льющаяся кровь. Видел ли он их во тьме — призраков с разорванным горлом и багряной грудью, произносящих бледными губами безмолвные укоры?

Молился ли он?

Выпусти меня, и я не буду больше убивать.

И тут неуловимая дрожь касается его подошв. Прижимая ладони к двери, он задерживает дыхание, ожидая другой, страшной иллюзии. Земля дрожит, ее глухой рокот поглощается оглушительным треском, бетон разрывается от пола до потолка, осыпая его крошкой. Сердце прыгает у горда, он бросается к стене и прижимается глазом к пролому, смаргивая струи пыли, вопя от облегчения, найдя изломанную линию дневного света, всего два дюйма, все, что ему нужно.

Меррик ощутил, как свет избавления заливает его собственные глаза. Чудо. Ты это был, Бог? Или дьявол? Кто бы ни устроил то землетрясение, я благодарю тебя. Еще один шанс, для нас обоих.

Зазубренные колеса жажды зашевелились в горле. Он представил себе Зана, пьющего из пакетов для переливания крови, берущего только чуть, оставляющего им их жизнь — или смерть?

Женщина в ванне сегодня — сделала сама свой выбор?

Быть может.

Самоубийство. Медленная свертываемость, вот и все.

Да.

Он приложил руку к стеклу.

За ним погас зеленый взгляд.

Еще миг Меррик видел своего сына, потом Зан исчез в красных тенях пустой комнаты.

Майкл Маршалл Смит

Книга иррациональных чисел

Симпатичная пустая страница. Страница номер три. $3 \times 3 = 9$, следовательно, 0. Начало. Начиная новый блокнот, я никогда не пишу на первом листке бумаги, потому что, знаете ли, он всегда изгаздается. Я оставляю обе стороны пустыми, а писать начинаю со второго листа, который будет прикрыт от грязи. Вообще блокноты я использую для хобби. Сейчас мне хочется написать много разных вещей. Только не знаю, как это сделать по-настоящему. Тра-та-та, слова, слова, слова. Буквы должны во что-то складываться, только я не знаю, во что. Когда что-то запишешь, это сразу уже вчерашние новости. А на самом деле почти ничего не бывает вчерашней новостью. Почти все оно до сих пор продолжается. Сегодня такой же рациональный день, как почти все прочие. Мне надо было красить дом на том краю города, и я уже почти все приготовил с утра, но дождь пошел, так что я так все и оставил.

$142 = 196$. $8,562 = 73,2736$.

В Роаноке жить забавно. Не то чтобы посередине какого-то «нигде», а близ гор Голубая Гряда. Это в Вирджинии.

Никогда не видел тут одинокой сосны, потому что их тут миллиарды. Но мне это нравится. Работы полно. Людям всегда надо, чтобы с их домами что-то делали. Больше делать почти нечего, и много труда надо положить, чтобы найти вечером где поесть или выпить, по воскресеньям особенно. Единственное такое место — «Макадос», бургерхаус в центре города. Полно старшеклассников, но это ничего. Они не настолько богаты, чтобы быть гадостными. Вообще почти все — нормальная детвора. А город — это пара кварталов магазинов плюс аэропорт. Зимой можно ездить на машине по горным дорогам, открывать неизвестные места. Однажды я проехал от Ричмонда вдоль Гряды мимо всех этих усадеб. Так люди мне смотрели вслед, будто никогда автомобиля не видели. Земля, которую забыло время.

* * *

Самая, быть может, важная вещь, которую я в своей жизни открыл, — это идея цифровых корней. Когда ищешь цифровой корень числа, цель в том, чтобы свести его к одной цифре. Для этого складываешь все его цифры: например, 943 521 дает

$9+4+3+5+2+1=24$. Тут, конечно, все еще две цифры, так что складываешь их вместе: $2+4=6$. Значит, цифровым корнем для числа 943 521 будет 6. Что интересно: для ускорения процесса можно выкинуть все цифры 9. Если в числе есть девятки, или любые цифры, которые в сумме дают девять, их можно не учитывать. Значит, в числе 943 521 можно отбросить 9, а еще отбросить 4 и 5, которые в сумме дают 9. Остается: $3+2+1$, что дает 6. Тот же ответ.

* * *

Я пришел к этому случайно. Не знаю, не могу вспомнить, какие шаги, направили меня в эту сторону. Не знаю. Не помню ничего конкретного, но это могла быть такая мелочь, что я ее не счел достаточно важной. Помню какие-то книги, какие-то разговоры, какие-то сны. Что-то, что видел? Но ничего особого. Такого, чтобы по голове шарахнуло.

Ищешь то, что имеет смысл.

Новенькая эта из книжной лавки, Сьюзен — красива. У нее улыбка классная, и она всегда так рада, будто знает, что рано или поздно что-нибудь приятное случится. Она — прайм.¹ Подрабатывает, думаю, на каникулах. И сразу заметила мой акцент. Я думаю, она думает, что он крутой. Надеюсь.

* * *

Джерри снова висит на телефоне, надоедая всем рассказами, как он готовится к Миллениуму. Макс тоже перегревается и беспокоится. А какая разница? Все думают, что год 2000 — невесть какое событие. А вот и нет. Мы уже проехали. Уже началось. Отбросьте все девятки — и увидите, почему так. Прошлый год был 1998. $1+9+9+8=27$, а $2+7$ (а то отбросьте обе девятки и просто сложите 1 и 8)=9. Девятку отбрасываем. То есть ноль. Год 1998 — это момент ноль, конец всего, год ничто по модулю 9. А вот 1999 имеет цифровой корень 1. 1999 — это и есть год 1, 2000 дает корень 2. И год 2000 — ничего не начало, он уже после, когда все уже началось. Миллениумы для реальных людей ничего не значат. Их жизни вращаются по куда меньшим кругам. Доходить надо до корня. Если уже число не можешь свести к меньшему, оно что-то значит. А иначе это просто сложение.

* * *

Сегодня красил дом Макиллсонов. И внутри тоже кое-чего им подремонтировал. Думаю, соседу ихнему тоже надо кое-чего сделать. Так оно, к счастью, и идет.

* * *

Очень похоже, как когда что-то ломается. Когда так выходит, проходишь через этот ад. Вот как горе. Сначала идут минуты, потом часы. Недели, месяцы. Циклы вины, горя, иногда и радости. А когда однажды это пройдешь, уже по-другому. Первый раз ты виноватый, и деваться некуда. Потом — другое дело. Все структуры, когда-то твердые, навек разжижаются, вроде как мешок толченого стекла в патоке. Сунешь туда руку — а оно и острое, и сладкое.

* * *

Люди ко мне хорошо относятся, но я от этого бываю грустный и виноватый, потому что я знаю, что я не такой хороший. И это больно. У меня есть друзья, и всегда я шучу и смеюсь с ребятами в лавке, где покупаю материалы. А Сьюзен из книжной лавки мне теперь машет рукой, когда видит, как я прохожу мимо. Не заслуживаю я этого. Я хочу быть хорошим! Мне это важно. Когда-то я был хорошим, так мне кажется, и немножко еще осталось. Я, бывало,

¹ Игра слов Prime — одновременно и "простое число", и "цветущий возраст"

миллю за милей мог проехать, только чтобы с кем-то повидаться — и так каждые выходные. Было во мне это — возможность быть хорошим. Но ведь не было помощи, и только гадать приходится, откуда они приходят — энергия, желание, радость. Не из меня ли, из того, что мне в себе нравится? Да, это подходит: если нет, почему оно так бессильно? Наверное, оно очень слабо, что ничего сделать не может, а тогда выходит, что не так уж оно безупречно, это «во мне». Очень похоже получается, что сидит этот дрожащий человечек в высокой башне замка за запертой дверью и ничего не хочет. Слабый, боязливый, рациональный в сердце иррационального. Рациональность слабость, у нее нет момента, она ни в какие интересные суммы не входит. Она только лебезит.

* * *

Сегодня опять похолодало. На самом деле не то, чтобы на меня охотятся. Это будто кто-то тянется ко мне из темноты, будто непрозрачный бурый туман начинает вздвухаться, когда кто-то его толкает снаружи. Думаю, холодная будет зима.

* * *

Семнадцать — последний год, когда молод. Я помню, когда был пацаном около четырнадцати, кажется, думал я, как это странно будет стать старше. Я еще как-то мог понять возраст шестнадцать или семнадцать. Восемнадцать это был возраст вроде как двадцать один, который даже и не возраст вовсе, а законный барьер. Граница. Ты же не думаешь: «О, быть восемнадцатилетним это будет так-то и так-то», ты просто думаешь о том, что уже не будет запрещенным. А зато вот девятнадцать. Это кажется по-настоящему старостью. Это уж — вырасти большим и перейти стену. Конечно, теперь это так не кажется. Теперь я понимаю, что 19 — это 1 и 9, а $1+9 = 10$, а $1+0 = 1$. Первый год старости. $1+8$ — это 9. Год нуля.

* * *

Надо очень внимательно за всем следить.

* * *

Все думаю о людях, которые ждут открыток на день рождения, на Рождество. Телефонного звонка ждут, которого не будет. В основном — матери. Хотелось бы мне сказать, что тут есть большая разница — так ведь ее нет.

* * *

Возвести число в квадрат — проще простого. Берешь число и умножаешь его на себя. Каждый может. Дорога, по которой просто ехать — как все время в привычном направлении.

* * *

Дороги. Помню, еще в Англии, ездил я в Кембридж из Лондона по дороге M11. Если вообще где-то в мире будет плохая погода, так она будет на M11. Это я вам говорю. Как если бы дорога была построена специально, чтобы погода могла свирепствовать. Есть там высокие участки, где ветер хватает машину и кидает ее на другие полосы, средние участки, где дождь лупит по ветровому стеклу почти параллельно земле, а еще есть ямы. Особенно возле Кембриджа длинные низкие провалы, где собирается туман и лежит, как каша в миске. У меня тогда была девушка, которая там жила. И год, а на самом деле даже больше года, я каждые выходные ездил по M11. Я ее видел весной, летом, осенью и зимой — и без разницы:

погода была хуже, чем где бы то ни было. Однажды октябрьской ночью я съехал на эту дорогу с боковой — и плюхнулся в сплошной туман. На десять миль видимость такая, что еле разглядишь конец капота. Ни черта я не видел. Я своих-то фар разглядеть не мог, что там говорить о чужих. И ехал все медленнее и медленнее. Я помнил, что после следующей развилки шоссе начинает подниматься вверх, вытаскивая само себя в объезд всего города. И ждал этой развилки. Мимо меня никто не проехал, и я вообще других машин не видел — ни фар на встречной полосе, ни собственных хвостовых огней. Очень долго ехал, пока миновал первую развилку. Обычно здесь туман уже поднимался. А в эту ночь лежал, как и всюду. Такой же густой, такой же мертвящий, и точно так же надо было ехать, как через огромный сугроб, доходящий до неба. И ни звука, только гул мотора. Радио я выключил, чтобы не отвлекало. А за окнами ничего не видно, только туман клубится. Так ехал я примерно минут тридцать пять — сорок, стал беспокоиться, а еще через десять минут занервничал всерьез. Дорогу М11 я знал, как свои пять пальцев, и одна мысль стала настойчиво стучать мне в голову, туда, где сидит автопилот и за всем присматривает. Не пора ли, не пора ли уже проехать следующий выезд? В нормальных условиях я проехал бы первый выезд на десятой минуте пути, а второй — на получасовой отметке. Эта ночь какой-какой — а нормальной не была, и я ехал куда медленнее обычного. Но уже прошло пятьдесят минут, как я миновал первый выезд. Проехать второй, не заметив, я не мог: большие указатели выездов на этой дороге были единственным, что я мог разглядеть в начале пути. Так где же второй? Еще десять минут. Все так же ни одной машины на моей стороне дороги и ни одной пары фар на другой. Еще пять минут, чуть прибавив скорость. Я просто был слегка... озабочен. Еще через десять минут силуэт появился из тумана, и я вздохнул с облегчением. Путь уже наполовину пройден, и вот он — второй выезд. Закуривая сигарету, имея наконец возможность чуть отвлечься от дороги, я на миг задумался. Сколько еще времени нужно было бы, чтобы я запаниковал? Сколько времени нужно было бы мне ждать, чтобы «несколько долговато» стало «определенно слишком долго», и в самой глубине сердца я бы решил, что где-то ошибся, что выезд исчез, что я ползу по бесконечной, туманной дороге в никуда, оставив за спиной реальный мир?

* * *

Кто-то меня преследует. Определенно. Я это знаю. Странное положение. Все остальные болеют за охотника. А я не он. Некоторые в моем положении так себя называют, но это чистое тщеславие. Я решил, что он — коп. Он еще не знает, кто я, но он здесь. Понятия не имею, откуда я это знаю. Может, я замечал всякие мелочи, не определяя сознательно, что они значат. И я не знаю, что с ним делать. Я не хочу ни бросить, ни выдавать себя, если это в моих силах, но — может быть, он даже мой друг. Он должен что-то в этом понимать, и это может помочь. Я не понимаю. Частично дело в этом. Я не понимаю, почему я просто не могу быть хорошим. Вы читали книги о людях, которые — 1. 2. 3... «и это причины того, что». Простое сложение. А у меня не так, насколько я помню. У меня нечем оправдаться. У меня приличное количество друзей, и они приходят ко мне или я к ним, и мы вместе тусуемся, но все это получается как в двух измерениях. Как витражное оконное стекло один камень, и все разлетается. Я просто не хороший, и это меня печалит, потому что люди со мной обращаются хорошо и я хочу быть хорошим, только не могу. Больше не могу. Однажды — это достаточно. Это слишком много. Это пятнает на всю жизнь.

* * *

Сегодня я опять был в книжной лавке, купил кое-какие книги и выпил чашку кофе. И со Сьюзен снова поболтал. Народу там было немного, и я показал ей пару фокусов с цифровым корнем. Например? Ну, возьмите любое число (скажем, 4201), сложите его цифры ($4+2+0+1=7$), отнимите сумму от исходного числа ($4201-7=4194$) — и результат всегда будет

иметь цифровой корень 9. Или еще: возьмите любое число (скажем, 94 213), перепутайте его цифры в любом порядке (например, 32 941) и вычтите меньшее число из большего ($94\,213 - 32\,941 = 61\,272$). Угадали — цифровой корень снова 9. Эти девятки, они всюду попадаются.

Она решила, что фокусы — прикольные. Мы еще поговорили о симметричных числах, и как они не слишком часто попадаются в годах. 1991, 2002, 2112, 2222. Приехав домой, я кое-что заметил. Если посмотреть на цифровые корни, получается последовательность: $1+(9+9)+1 = 2$; точно так же $2002 = 4$; $2112 = 6$, $2222 = 8$. Четные числа. А теперь: 2332 дает 1, 2442 дает 3, 2552 дает 5, а 2772 дает 7. Нечетные числа. А это уже интересно. Быть может.

* * *

Джерри сто баксов в месяц просаживает на порнуху. Есть там одно местечко в Гринсборо. Пару месяцев назад мы как следует надрались и он мне об этом рассказал. Ничего такого особого, просто люди занимаются сексом. Его это тревожит, но он не может перестать. Он пытается, покупает, заглаживает вину. Забавно, к чему приходят бухгалтеры.

* * *

Попасть в Роанок — это езда по туманным дорогам.

* * *

От двадцати годов и после тридцати мой возраст не имел смысла. Когда-то, я умел понимать возраст. Пока тебе не стукнуло двадцать, возраст имеет смысл. Каждый год после тринадцати — это большая ступень, пока не будет двадцать, а тогда они опять все меньше и меньше. После тринадцати и до двадцати. Столько становится возможным. А потом — ты только становишься старше и меньше. У тебя бывают дни рождения, иногда люди их помнят, а иногда и нет. Когда тебе шестнадцать, а у твоего друга день рождения и ему становится семнадцать, ты уж точно об этом знаешь. Это значит, твой друг уходит на другую планету. Они там стоят выше тебя. Они старше. А между двадцать шесть и двадцать семь разницы нет. Или между сорок три и сорок четыре. Ты слишком много раз обошел кольцо. Сорок четыре — это «кому какое дело», по какому модулю ни считай.

* * *

Это как влюбиться.

* * *

Греки много чего знали о математике, но они не знали нуля. Нет, в самом деле. У них не было 0, а это значит, они не понимали, как числа связаны с людьми и что они делают. Разница между 0 и 1 — это самая большая в мире разница, она куда больше, чем между 2 и 3, это просто следующие ступени счета, а 0 — он вообще к счету отношения не имеет. Греки мало что знали об иррациональностях, и ничего — о покое, который лежит даже вне этого. Любили они совершенство, эти греки. Совершенные числа, например те, что являются суммой чисел, на которые их можно поделить: $6=1+2+3$; $28=1+2+4+7+14$. Они же, как оказывается, являются суммой последовательных целых чисел: $6 = 1+2+3$; $28 = 1+2+3+4+5+6+7$. Четко, правда? Но совершенные числа — они очень, очень редкие; иррациональности встречаются куда как чаще. Говорят, Пифагор просто притворялся, что иррациональных чисел не существует. Саму идею не мог ухватить. Вот и видно, что можно быть талантливым и все равно ни хрена не знать.

* * *

Это лежит под полом в кухне. А кухня даже не очень большая. Но это там лежит, примерно на глубине фута, лицом вверх. Оно покрыто бетоном, а поверх — отличная плитка. Но иногда, когда я вижу, как кто-нибудь из моих друзей там стоит, я думаю: господи, так это же очень плохо. Последний раз это было, когда зашли Макс и Джули, и Макс нам смешивал коктейли на кухне. Как будто пол стал прозрачен, и я увидел, как она там лежит у людей под ногами. Не в буквальном, конечно, смысле. Видений у меня не бывает. Уж если я какой и есть, так слишком рациональный. В другие времена, и долгие, я просто забываю, и тогда вспомнить — очень плохо становится. Ну вроде: о Господи, что я натворил? И что мне теперь делать? А ответ такой же, как всегда: ничего. Поздно теперь возвращаться назад. И всегда было поздно. С одной стороны — это мерзко, жалко и тошнотворно. Но в будничной жизни мне на ум вскакивают живые картины, воспоминания о том, что я сделал. Я их отпихиваю, но картинки и воспоминания такие теплые, утешительные и веселящие, как мантия короля в изгнании. Потом они начинают приходить чаще, и чувство радости крепнет, и тут-то я понимаю, что это скоро случится снова. Начинается танец, и я танцую сам с собой, но не могу понять, кто ведет в этом танце. Чудесный танец — пока он длится.

* * *

Хрупкая, изящная, маленькая. Эти маленькие — как цифровой корень грудей. Не надо носить два здоровенных куска мяса, чтобы доказать, что ты женщина. Это в лице, в твоей природе. Обнажение до сути.

* * *

Воображение — это хорошо.

* * *

Мне придется быть очень осторожным. Из-за этого человека. Интересно, на что он похож. Интересно, что случится. То ли он исполнен праведного гнева, то ли просто делает свою работу. И еще я думаю, с чего я так уверен, что он здесь, и есть ли на самом деле какая-то структура, которую я чувствую, но не вижу. Наверное, нужны новые суммы.

* * *

Настолько запертые во мне, что даже когда напьешься, не подберешься к ним близко.

* * *

17 — число простое. Прайм. Если подумать, то семнадцать лет — это еще не взрослый, но уже и не ребенок. Не в последнюю очередь из-за того, что у него нет делителей. 16 — две восьмерки или четыре четверки, если на то пошло. Не хочу углубляться во множители детей. Простые числа от 10 до 20 это 13, 17 и 19. 19 — слишком старый. 13 — ребенок. 17 не делится ни на что, кроме 1 и 17, и это правильно, потому что здесь только одна семнадцатилетняя. Одна реальная личность. Это отвратно. Я знаю. Но это единственная вещь, имеющая реальность. Или смысл. Если бы мне только избавиться от вины и остаться той же личностью, я был бы счастлив. Но не могу, потому что хочу быть хорошим.

* * *

Однажды мне приснилось, что у меня есть число, и я возвел его в квадрат, а результатом оказалось 2. Когда я проснулся, я хотел это число записать, но забыл, какое оно.

* * *

Вечно разрываться между тягой к тому, чего хочешь, и необходимостью быть хорошим. Столько людей живут такой жизнью. В реальной жизни я не знаю совершенных чисел. Макс женат, но хочет спать с другими женщинами. Не потому, что он не любит Джули. Любит. Только посмотреть на них — и сразу ясно, что они друг на друга не надышатся. Но он просто хочет спать с другими женщинами. Он мне это однажды сказал, когда сильно нагрузился, но я и так знал. Достаточно понаблюдать за его глазами. Голод — и вина. Его аргументы — что моногамия искусственна. Он говорит, в животном царстве очень мало видов образуют союзы на всю жизнь, для самца имеет биологический и эволюционный смысл распространять свои гены как можно шире: увеличивается шанс на оплодотворение, и в генофонд вносится как можно больше изменений. Что вполне может быть правдой. Но я подозреваю, что он просто хочет покусать новые сиськи для разнообразия. При этом он, как я тоже подозреваю, понятия не имеет, что Джули сблевывает примерно одну еду из трех. Думаю, он не слишком наблюдателен.

* * *

Сегодня я снова говорил со Сьюзен, показал ей еще несколько фокусов с числами. Ей нравится, как они прыгают. Она живет вместе с двумя девушками, но ее подруги уехали на каникулы домой. Забавно, как это она говорит со мной. Осторожно, вежливо — потому что я старше. Но и дружелюбно тоже. Она просто ищет свой путь.

* * *

Я хочу быть целым, но целым можно стать только, если расскажешь, а рассказать я не могу. Так, и кто та личность, которую знают люди, а если они тебя любят, и что это значит? Почти во всем ты можешь покаяться. Ты можешь отпустить себе грех, просто сказав о нем, хоть мельком: «О Боже, ты даже представить себе не можешь, что я натворил, дурак я этакий». Но не это. Этот грех не отпустишь. У меня есть близкие друзья — но не настолько близкие. Никакие друзья так близки не бывают. Моя тайна держит меня в стороне от всех. Если ты алкоголик, ты можешь попытаться признать это перед собой, Богом и еще кем-нибудь. Каждый скажет: «Да, это плохая штука», но при этом захочет тебе помочь. Я могу признаться только перед двумя первыми — и можете мне поверить, это третий определяет разницу. Не может быть иначе, потому что тогда у меня нет выхода, только смерть. Вот почему некоторые хотят, чтобы их поймали: не чтоб их остановили, не для известности — просто выплеснуть. Признаться перед Богом — ничего не дает. Насколько я могу судить, ему все равно.

* * *

Сегодня было воскресенье, и шел снег. Я просидел весь день дома, возился с барахлом. Какой-то мужик возился с изгородью напротив. Вроде бы незнакомый. Паранойя — вещь опасная, потому как может заставить тебя вести себя необычно. А надо вести себя как надо. Надо быть рациональным в сердце иррациональности.

* * *

Это не то, что важно для половины этих идиоток. Год они просты.¹ Потом машины заталкивают в них машины машиненками. Уже не простые, даже не совершенные. Просто надутые пузыри.

* * *

Иррациональные числа — это те, которые не могут быть точно выражены дробью, у которых десятичные знаки громоздятся беспорядочно до бесконечности. Как корень квадратный из двух, который начинается с 1, 41 421 356 237... и тянется дальше, дальше и дальше. Пи — тоже иррациональное число: охренительно иррациональное, на самом деле пи — это число, которое заторчало до потери лица. Люди жизнь тратили на вычисление миллионов и миллионов его десятичных знаков, и все равно не было ни системы, ни точного значения. Пи — это отношение длины окружности к радиусу.² Длина окружности находится по формуле³ $C = \pi r$, где r — радиус, то есть расстояние от точного центра круга до его границы. Конечно, если вы знаете длину окружности, то найдете и радиус, обратив процесс и поделив на пи. Но хоть туда, хоть обратно, а пи будет участвовать. А оно иррационально. Длина радиуса может быть измерена вами как угодно точно — 5,00 см, 12 дюймов, 100 метров ровно — но длина окружности будет все равно бесконечной последовательностью цифр справа от запятой, а все из-за пи. Можете взять приближение 3,14 или 3,141 592 653 589 793, но точного значения не получите никак, потому что его нет. Неопределенность и темнота в самом сердце такой простой вещи, как круг.

* * *

Я — радиус. Я рационален, когда круг мира — не рационален. Конечно, в другую сторону тоже верно: когда длина окружности рациональна, радиус нет. Может быть, я именно тот радиус.

* * *

Я неделю не ходил в книжную лавку.

* * *

Можно бы сделать все проще. Можно бы переехать в Неваду или еще куда. Семьдесят городов на площади с какую-нибудь европейскую страну. Но я так не сделаю. Это бы значило сдаться. Я не хочу жить в этой Неваде, мать ее раком! Этого уже хватит, но там ничего другого не случается. И туда поехать — значит обречь свою жизнь на то же. Там нечего делать, кроме как ездить в Лас-Вегас, а там числа никогда не бывают на твоей стороне. Случайная трансгрессия, которую я могу уговорить себя обойти. Но живи я в Неваде, я бы каждое утро просыпался, зная, что у меня только одна причина здесь быть. Это стало бы всей моей жизнью вместо того, чтобы быть ее частью. А зачем еще жить в Неваде? К тому же догадываюсь, что там люди сами себе отлично ремонтируют дома.

* * *

Может быть, я смогу тянуть и дальше.

* * *

¹ См, предыдущее примечание

² На самом деле к диаметру, но то ли автор, то ли герои не очень сильны в школьной геометрии

³ $C = 2\pi r$. См предыдущее примечание.

Он и я, а посередине бедная детка пи — ждем, пока кто-то из нас не станет иррациональным. Может, они перестали смотреть, а может, вообще никогда не смотрели. Иногда мне бывает трудно сказать, какие страхи рациональны, а какие — нет. Это обрыв, с которого надо шагнуть, — «Я сделал — что?» Как сердце в лифте, когда кто-нибудь перережет держащий его трос. И тогда ты выглядываешь и стабилизируешь себя и тянешь себя обратно. Уходишь от шахты лифта. Но ты знаешь, что он там. Ходящий в полночь холодный страх. Ничего не происходит. И ты наконец засыпаешь снова.

* * *

Боже Христе, — случаи, когда этого не надо! Чудесно. Я тогда такой сильный. Когда я могу вспомнить, что случилось, что было сделано — и мне это ничего. Когда безынтересно и странно, и я могу про себя подумать: «никогда больше такого не сделаю». Не такое чувство, как сразу после, когда только тошнит от всего этого, и яйца побаливают, и меня захлестывает, и я сижу в отскобленной дочиста гостиной — нет, когда спокойно и бесстрастно. И я думаю: нет, думаю я, этого больше я делать не буду. Я знаю, что это сделал, но это же было тогда. А теперь — это теперь, и больше мне это не нужно. Это было плохо, но это в прошлом. Я это сделал, но больше не буду. Все. Кончено. Или... оказывается, нет? Это никогда еще не было кончено.

* * *

Сегодня у Макса и Джули вид счастливый.

* * *

У меня больше половины мыслей всегда где-то блуждает. Даже друзья кажутся кем-то другим, потому что только часть меня с ними. А остальная часть идет по следу, сама по себе (или по мне? Это же я). Я помню, как ехал по М11 летним днем, и вдруг до меня дошло, что у всех встречных машин включены фары и работают дворники. И подумал, как это странно, пока не заметил, что на той стороне дороги идет дождь. Действительно, дождь шел на полосе, ведущей на север, а та, что на юг вела, — была сухая.

* * *

Я не хотел заходить, но выпил кофе в магазине напротив и увидел в окно... как она обслуживает покупателя! И я допил кофе и вошел в книжную лавку.

* * *

17 — простой и совершенный возраст. 1 плюс 7 — это 8, а потому цифровой корень совершенного возраста — это 8.

Мне теперь тридцать пять, в 1999 году, в году цифры 1, в году начала. А цифровой корень 35 тоже 8 — и у меня возникло то чувство, что кто-то приближается. Вряд ли это совпадение. Наверное, я всегда буду в опасности, когда мой возраст будет совпадать с возрастом девушек, когда у них будет один и тот же цифровой корень. Здесь есть смысл — и это нас очень тесно связывает. Когда мне было двадцать шесть, я этого не делал — и был в безопасности. Сорок четыре будет опасно. Пятьдесят три. Шестьдесят два. Но я не верю, что все еще буду это делать. Я бегаю по утрам, но не могу себе Представить, что буду в шестьдесят два в нужной форме. Эти вещи — тебе не прогулка в парке. А будет ли иметь смысл это делать, когда у меня волосы поседеют и все мое тело сморщится, кроме бледного

брюшка? Наверняка к тому времени что-нибудь перегорит. Интересно, если вспомнить тест Уилсона для простых чисел, который говорит, что $(p - 1)!$ конгруэнтно $-1 \pmod p$, оказывается, что простота числа 17 дает нам 16 (при основании 10) как значение -1 по модулю 17. Половина от 16 — это 8. Опять-таки довольно удобно. А все восьмерки — это, конечно, 23. Я все еще не могу понять, значит ли это, что я должен делать восемь в год. Это кажется очень много. Мне хватило бы простых чисел поменьше, вроде 3, 5 или 7. Даже 7 кажется слабым и жадным. 5 лучше. Пока что мне этого хватало. 2 как простое мне не нравится, хотя оно и проходит тест Уилсона. Оно не ощущается как то, что нужно. Сердце двойки иррационально. Сердце семнадцатилетних — имеет смысл. Для них. И для меня.

* * *

Первого раза я не помню. Вообще-то считается, это запоминаешь. Я помню только отрывки, искорки тьмы, но все в целом на самом деле не помню. Помню, где она похоронена. Это я слишком хорошо помню. Иногда, когда я лежу в постели и чувствую себя хорошо, медленно начинаю ощущать, как из меня выступает. Я понимаю, это часть моего мозга, которая всегда стоит в рожице возле Эппинга, смотрит на могилу, стоит в почетном карауле над женщиной, по которой, быть может, никто другой особо тосковать не станет. У нее не было семьи. Ей, конечно, было не семнадцать, было двадцать девять. Все равно простое число, но более высокое. А вот как это было — не помню, на самом деле. Более поздних помню. Вы ведь тоже, правда? Потому что это было недавно. Но даже и они — только небольшие картинки, словно бы я был по-настоящему пьян. Не был, но вроде этого. Это не так, как делаешь что-то обыкновенное. Даже, наверно, смешно это по-своему. Это не то, как делаешь что-то нормальное.

* * *

Сьюзен сегодня мрачная. У нее вышел спор с хозяином, с человеком, который владеет тем домом, что они снимают, или кто он там есть. Крыша течет, и ничего тут смешного нет, потому что мокро и холодно и все мокрее и холоднее. Я ей сказал, что в таких вещах немного разбираюсь. Видели бы вы, как она заулыбалась!

* * *

Я пытался однажды понять, из самых начал, как извлекается корень квадратный из числа. Без калькулятора. Включил голову. Из школы я отдаленно помнил, что надо выбрать число поближе к корню, такое, квадрат которого ты знаешь, и подогнать его методом проб и ошибок, пока не подберешься достаточно близко. Но это не точно. И не больно красиво. Возвести что-нибудь в квадрат — это не штука. Очень уж простой шаг. Берешь число и умножаешь его на себя. Такое каждый может. Но найти квадратный корень, обратить процесс? Я решил, что должен быть обратный путь. Если уж ты прошел по дороге, то обратный путь найдешь. И я его нашел в конце концов. Используешь формулу Ньютона-Рафсона для последовательных приближений:

$$X_{i+1} = (x_i + t/x_i)/2$$

Эта штука сама себя кусает за хвост. Суешь в формулу число, потом суешь туда же, что получилось — и еще раз, и еще. Пока не остановишься. Только с многими числами, даже такими обыкновенными, как 2, этого никогда не будет. Никогда не остановишься. Результат иррационален, и потому процесс идет вечно. Я сколько угодно простых чисел могу пропустить через этот цикл, и десятичные знаки не кончатся никогда. Никогда мне не найти числа, которое, возведи я его в квадрат, даст мне 2. Его больше нет. Нет дороги обратно. Сгнила.

* * *

Мой возраст всегда сводится к восьми, если корень года — 1. Корень 17 — это 8. 8 плюс 1 будет 9, а девятка вычеркивается. Сумма для меня всегда с той стороны барьера, вычеркивается. И с этим ничего не сделать. Вечно ехать сквозь дождь, и вечно не видеть поворота.

* * *

Завтра в восемь вечера я поеду по одному адресу — сразу за городом. Починить крышу. В порядке любезности?..

* * *

Это все...

Питер Шнайдер Des saucisses, sans doute¹

Я взмахнул оттяпанной левой сиськой цыпочки-блондиночки. Края были неровными — когда я был ребенком, мамочка не удосужилась поставить мне на зубы пластинку.

Цыпочка всхлипывала, съезжившись в углу комнаты, ее сказочное тело было спереди все в крови и требухе.

— А теперь, детка, — прокукарекал я, подцепляя ее бюстгальтер за глубокую чашечку, — поиграем в Давида и Голиафа.

Я засунул сырой комок грудной железы в левую чашечку и начал крутить дамской принадлежностью над головой, пока она не извергла свой жуткий снаряд. Он пролетел через всю комнату, подобно ядру, для того лишь, чтобы шмякнуться о дальнюю стену с омерзительным «блям!» и сползти по штукатурке на пол, будто слизень, оставляя за собой влажный след, но только кровавый. От него отделился бледно-коричневый сосок и упал на паркет с легким «тук!».

Она рыдала все сильнее и прятала лицо в ладонях.

Мои мысли перенеслись на несколько часов назад в бар, где я познакомился с Доннали. Красавицей классического типа назвать ее было нельзя. Ее страховидная заячья губа, ее косящий под прямым углом глаз, ее изглоданный третичным сифилисом нос... взятые отдельно, их с полным правом можно было бы счесть изъянами, но в гармоничной совокупности они придавали ей грациозное благородство шотландской кобылицы, которая скачет по холмам над Лох-Ломондом, а ветер закручивает ее гриву в водопад непокорных кудрей.

Душевный разговор — и мы отправились на поиски тепла... и обещанного коньяка... в мою недорогую квартирку над лавкой экзотических сувениров. И вот теперь я находился в ситуации, далеко превосходившей самые смелые мечты самого отпетого маньяка. Началось поцелуем... а кончилось кухонным ножом.

Внезапно мой язык вырвался изо рта, стремительно удлиняясь и раздваиваясь в вилку из закаленной стали. Я решительным шагом приблизился к Доннали. Мой торчащий наружу язык был теперь длиной в шесть футов и твердым, как гранит.

— Полюбуйся! — прошепелявил я, а мой сверхнормально гибкий язык вонзился ей в ногу. Опять и опять опускался раздвоенный язык, пока наконец ее ноги не отвалились в коленных суставах. Я ликующе взвыл и ухватил отделившиеся конечности. Потянувшись, я сорвал со стены два удлинителя и лихорадочно примотал эти конечности к моим собственным так, чтобы их ступни оказались на шесть дюймов ниже моих. Я встал на свои

¹ О сосисках, без сомнения

новые «ноги» и заковылял по комнате, надрываясь от хохота.

— Погляди-ка, Доннали! Мне больше не нужны ботинки с наращенными каблуками, у меня наращены ступни. (Мой рост — всего пять футов три дюйма, когда я перестал расти — всегда давил на мою психику).

Впрочем судьба сжалилась над Доннали — она уже лишилась сознания.

* * *

Заверещал будильник, вонзая острые осколки звуков в мой потревоженный сон. Я крепче прижал подушку к голове, пытаюсь утихомирить пронзительный звон в моем вопящем мозгу. Наконец я сдался и спустил ноги на пол, прижимая ладони к моей многострадальной голове. И тут в нее ворвался слепящий фейерверк воспоминаний о вчерашнем вечере.

«Бог мой! — подумал я. — Неужели это правда было?!» Мой кот, Мистер Меник, спрыгнул на пол, и я понял, что выразил свою мысль вслух, а не просто ее подумал. Спрыгнув на пол, я помчался на кухню, где вроде бы разыгрались события прошлого вечера, и с облегчением вздыхая, привалился к холодильнику. Ни кровавые пятна, ни груди не марали чудную белизну моей современной *preparatoire de manger*.¹ Все было в идеальном порядке.

Я отошел к плите и налил в большую кружку кофейную Гушу, оставшуюся со вчерашнего утра. Я глядел в окно на красногрудую малиновку, прыг-прыг-прыгавшую в кормушке, а сам извлек из коробки пышную оладью. Потом пронзил оладью моим раздвоенным языком из нержавеющей стали и полюбовался колышущимся в кружке кофе, на поверхности которого кокетливо покачивался коричневый сосок.

Эдвард Брайант Стикс и кости

Ему снилось, что он проснулся мертвым.

Мертвым. Раздавленным. Каждый нерв вырвали из мышц, каждую кость расплющили. Проснувшийся и мертвый.

Одно не вязалось с другим. Но мысль об этом пришла к нему в голову позже. Гораздо позже. Потому что поначалу все застилала боль.

Господи, подумал он. Что это со мной! Все тело разламывалось от боли, в ухе словно жужжала оса. Он попытался поднять руку, чтобы вытащить осу, но боль просто размазала его по кровати. Руку, естественно, поднять не удалось.

Это не оса. Нет... звенел телефон, стоявший на столике у кровати. Механически он потянулся к нему, чтобы снять трубку... попытался потянуться, не смог. Что с моими руками? Он все старался сдвинуться с места, электроодеяло сползло с нижней половины тела, ноги соскользнули с матраса, пятки ударились о глянцевые журналы, разбросанные по ковру.

В нос ударил тяжелый, неприятный запах.

Простыня прилипла к телу, цеплялась за прикроватный столик. Левая рука мотнулась в сторону, ладонь ударила о телефонный аппарат, боль пронзила плечо, словно в него вонзили раскаленный прут. Он закричал.

Телефон свалился на пол, провод зацепился за закрепленную на столике лампу, и теперь трубка болталась на нем, словно маятник.

Если б он мог набрать в легкие воздух, то кричал бы и кричал. Из трубки доносилось сердитое осиное жужжание. Он знал, кто это «жужжит». Значения это не имело.

Ему требовалась помощь. Он упал на колени, чтобы приблизить лицо к трубке.

— Какого хрена ты молчишь? — негодовал пронзительный голос. — Слишком рано звоню? Так я же сказала вчера вечером, что утром приеду за вещами.

Из его горла вырвалось рыдание.

¹ Буквально: едоприготовильня. Французский неологизм автора..

— Помоги мне, — выдохнул он. — *Пожалуйста.* Пауза. Потом тон разом изменился. Ярость уступила место любопытству и тревоге.

— Дэнни? Что случилось?

— Не знаю. Я не могу шевельнуться.

— Тебя парализовало?

— Нет, нет. Мои руки. Они мне не подчиняются. И все болит. Чертовски болит.

— Это какая-то шутка? Или ты говоришь правду?

— Да. — Из груди вновь вырвалось рыдание. — Луиза, клянусь Богом, со мной что-то случилось. Что-то ужасное.

— Я еду, — последовал ответ.

— У тебя есть ключ? Я не смогу открыть дверь.

— Ключ у меня есть. Я собиралась заточить его, как бритву, и отрезать тебе яйца. — Голос ровный, сдержанный. — Выезжаю, малыш. Держись.

Дэнни услышал щелчок, механический голос (что бы телефонная компания делала без компьютеров) предупредил, что трубка не положена, потом послышался резкий сигнал, наконец в трубке воцарилась тишина. Но Дэнни даже зубами не смог бы поднять трубку и положить ее на рычаг.

Он попытался усесться на краешке кровати. Как же ему хотелось оказаться в другом месте, в другом теле...

Что же со мной произошло, думал он. Он скулил? Разумеется, скулил. При такой боли мужество — непозволительная роскошь.

* * *

За те двадцать минут, которые потребовались Луизе, чтобы доехать до его дома, он сумел спуститься на кухню. Это январское утро выдалось на удивление холодным, да и система отопления, похоже, забарахлила или вышла из строя. Обогреватель гнал едва теплый воздух. Но Дэнни все равно встал рядом, впитывая в себя крохи тепла.

Услышал, как повернулся ключ в замке, открылась дверь.

— Дэнни? — позвала Луиза.

— Я на кухне.

Он вслушивался в приближающиеся шаги. Ему хотелось закрыть глаза. Луиза всунулась в дверь, оглядела его с головы до ног, глаза ее широко раскрылись.

— Дэнни, сладенький, да ты весь в дерьме. Голос искренний, изумленный. Она сморщила носик. Он знал, как выглядит: голый, если не считать грязных трусов, стоящий спиной к обогревателю, безжизненно повисшие руки, жидкие экскременты, стекающие по ногам на пол. Луиза покачала головой. Шагнула к нему. Едва ее пальчики коснулись его предплечья, он вскрикнул. Она отдернула руку.

— Так больно? — Он кивнул, сжав челюсти. — Ты позвонил доктору? — Он покачал головой. — Не позвонил, — кивнула она. — Потому что не мог. — Луиза вскинула голову, росточка-то в ней было всего пять футов и пять дюймов, всмотрелась в его лицо очень серьезными темно-карими глазами. — Сначала помоемся, так?

Он кивнул.

— Хуже не будет. Потом позвоним доктору Кинг.

— Доктору Кинг позвоним сейчас, — решила Луиза. — Ванна подождет.

— Телефон наверху, — ответил он. — Я не смог положить трубку.

— Я обо всем позабочусь, — заверила его Луиза. — Не волнуйся.

Она последовала за ним по ступенькам. Коты куда-то попрятались. Он их не винил.

В спальне Луиза поставила телефонный аппарат на столик, распутала шнур, положила трубку на рычаг, потом оглядела кровать.

— Тут надо прибраться. Доктор подождет. Никто не сможет жить в такой вонь.

— Труссы и простыни надо засунуть в пластиковый мешок для мусора и выкинуть, —

предложил он. — Электроодеяло — штука дорогая. Может, расстелить его во дворе на столике для пикника и дать высохнуть? А потом положим его в другой мешок и отдадим в химчистку.

Она кивнула, скатала электроодеяло в рулон.

— Мешки на кухне?

— В чулане для щеток.

Через несколько минут Луиза вернулась с черными пластиковыми мешками. В один засунула загаженные простыни.

— Теперь это. — Она указала на трусы.

— Тут, между прочим, холодно, — запротестовал он.

— Они грязные, — напомнила она. — А помывшись, ты сможешь надеть теплый халат.

Он постарался засунуть большие пальцы под резинку. Не получилось.

— Как насчет доктора Кинг?

Она ухватила за резинку и стянула трусы на лодыжки.

— Я передумала. Доктор подождет. Сначала займемся тобой.

В доме было две ванны. Обе на втором этаже. Но только одна с ванной и душем. Дэнни встал под душ. Внутренне сжался, когда Луиза повернула вентиль. Ничего не произошло.

— Нет напора, — прокомментировала Луиза. — Нет воды.

— Наверное, замерзли трубы, — предположил Дэнни.

— Внизу тоже?

Он уж хотел пожать плечами. Но вовремя остановился.

— Может, внизу все нормально.

— Я проверю. Ты подожди здесь. — Через минуту снизу послышался ее голос:

— Вода течет. Сейчас вернусь. И начала таскать кастрюли, полные горячей воды. Он вскрикнул, когда первые полгаллона, как ему показалось, кипятка вылились ему на спину.

— Ничего страшного, — одернула она его. — Ты просто замерз. Температуру воды я проверила. Нормальная.

Луиза вылила на него еще кастрюлю, потом взялась за губку. Тут уже и Дэнни признал, что вода хорошая. Руки по-прежнему висели, он смотрел на коричневую жижу, убегающую в сливное отверстие. Вновь на него лилась вода, вновь его терли. Наконец убегающая вода стала прозрачной.

— Готово, выходи из ванны. — Она накинула на него мягкое полотенце, очень осторожно, чтобы не сделать больно. А когда полотенце впитало влагу, заменила его синим махровым халатом. Набросила на плечи, завязала на талии поясом. — Теперь полежи. А я позвоню доктору.

Грязных простыней давно не было, но на матрасе остались мокрые пятна. Похоже, Луиза долго оттирала его. Она постелила на кровать полотенце, сверху — дешевый плед.

— Ложись. — До пояса накрыла Дэнни старым шерстяным одеялом. — Удобно?

— Пожалуй, — ответил он. — Насколько возможно. Он понимал, что об удобстве мечтать не приходится. Но кто знал, когда он пойдет на поправку? Так что, подумал он, лежи. Пока лежится. И лег, привалившись спиной к груде подушек, сложенной Луизой.

Но не успев привалиться, застонал.

— В чем дело? — спросила Луиза.

— Хочу пи-пи.

— Я помогу тебе встать.

— Не уверен, что у меня получится. Спина и плечи так болят, что я боюсь развалиться при малейшем движении.

— Гм-м-м. Горшка или утки у тебя, конечно же, нет?

— Нет.

— Терпи. — И она выскочила из спальни.

— А ты куда?

— На кухню, — донеслось с лестницы.

Дэнни сосредоточился на том, чтобы до предела зажать выход из мочевого пузыря. Но желание облегчиться усиливалось с каждой секундой.

Луиза вернулась с двухлитровой пластиковой бутылкой из-под «диет-колы» и большими ножницами.

У Дэнни округлились глаза.

— А ножницы зачем?

Она угрожающе клацнула лезвиями.

— На случай, что придется тебя обстричь, чтобы твой крантик залез в горлышко.

— Ха-ха. А может, отрезать горлышко?

— Думаешь, оно слишком узкое?

— Даже в моем нынешнем состоянии, — ответил он. Одним ударом она пробила дыру у основания горлышка, потом аккуратно вырезала его.

— Этого хватит?

— Если только я не чихну. Края-то острые.

Он расставил ноги пошире, и Луиза примостила бутылку между его бедер и ловко вставила его поникший пенис в дырку. Ему подумалось, что она не была такой бесстрастной, когда в последний раз касалась его игрунчика. Но сегодня и он не чувствовал никакого возбуждения.

Только облегчение.

Когда вытекло все что могло, Луиза унесла бутылку в ванную, принесла назад пустую и вымытую.

— Пока все идет нормально.

— Ты позвонишь доктору Кинг?

Номер он знал на память. Трубку она приложила к его уху, после пары звонков в ней раздался голос регистратора. Она начала было говорить, что доктор занята, но Дэнни быстро сломил ее сопротивление. Не прошло и минуты, как он уже говорил с доктором Кинг.

Объяснил, что произошло после того, как он проснулся этим утром. Доктор Кинг полюбопытствовала, есть ли кто рядом.

— Моя подруга Луиза. — Он посмотрел на нее. — Думаю, она меня отвезет. — Энергичный кивок. — Хорошо. Ровно в час.

Луиза положила трубку на рычаг.

— Есть хочешь? — спросила Луиза. Он покачал головой.

— Кофе бы выпил, Уиззи. — Зазвонил телефон. — Сваришь?

Она взяла трубку.

— Резиденция Дэнни Ройала. — Тут же лицо ее потемнело. — Не думаю, что сейчас тебе нужно с ним говорить. — Кто это, одними губами спросил Дэнни. Она покачала головой. — Сейчас он очень плохо себя чувствует. — Пауза. Нет, позвони в другой раз. А лучше совсем не звони. — И трубка вернулась на рычаг.

— Кто звонил? — уже вслух спросил Дэнни.

— Твоя добрая подруга Иффи. — Ледяной тон. — Ей приснилось, что с тобой приключилась беда. Дэнни встретился с ней взглядом.

— Слушай, Ифетао действительно моя подруга. Ты это знаешь. И она йоруба, ее родственники живут в Порт-о-Пренсе. Если ей что-то снится, это неспроста.

— Давай с этим окончательно разберемся, — злобно выплюнула Луиза. — Не далее как в пятницу я пришла и обнаружила твою *подругу* в этой самой постели. С тобой, говнюк.

— Тебе следовало позвонить.

— Вот уж дудки. Я думаю, ты чередовал нас Бог знает сколько времени.

— Ифетао тоже не пришла в восторг от этой встречи. Думаю, даже разозлилась.

— Совсем как я? — фыркнула Луиза. — Я не шутила, когда сказала, что приехала за своими вещами. Хотела забрать все, что имело ко мне хоть малейшее отношение.

Его голос оставался спокойным.

— Так чего не забрала?

— Не идиотничай. Когда я позвонила тебе, когда вошла в дом и увидела тебя... Видел бы ты себя, Дэнни. У тебя беда. Я думаю, ты серьезно болен. Я хочу заботиться о тебе. — Она положила холодную ладонь ему на лоб. — Я тебя люблю. Одному Богу известно, почему, но люблю. — Голос у нее дрогнул.

— Она сказала что-нибудь еще? — спросил он. — Ифетао?

— Ну ты и гад. — Он почувствовал, как напряглись ее пальцы, ногти едва не впились в кожу. Она глубоко вдохнула. — Она сказала, что ты пожалеешь о том, что произошло.

— С угрозой?

Луиза пожала плечами.

— Откуда мне знать. Я с такими не общаюсь.

Они смотрели друг на друга, пока Дэнни не отвел глаза.

— Я не знаю, сколько мне еще повторять, Уиззи. Мне жаль, что так вышло. Очень жаль.

— А ты повторяй, повторяй, — ответила она. — Может, в конце концов я тебе и поверю. — А после паузы добавила:

— Дэнни, вообще-то ты мерзавец.

Он попытался разрядить обстановку.

— Палки и камни смогут переломать мне кости. Слова не причинят вреда.

— Ты когда-нибудь слышал о той реке? — спросила она. — Думаю, что слышал.

На его лице отразилось недоумение.

— Какой реке?

— Реке Стикс, дурашка. И группа такая есть. Ты же знаешь, это река ненависти. Жгучей ненависти. Она девять раз обтекает ад. В ней очень много ненависти, Дэнни.

Он покачал головой.

— Где это ты все вычитала?

— Я читаю гораздо больше, чем ты можешь предположить, милый. Я не просто глупая костюмерша. — Вновь в голосе послышались злые нотки. Она наклонилась и легонько поцеловала его в губы. — А теперь я сварю кофе. — У двери Луиза обернулась. — Я о тебе позабочусь. Ты это знаешь, не так ли?

Дождаться ответа она не стала.

Оставшись один, он лежал на кровати, пытаясь разобраться, что же с ним произошло. Нет, думал он, Луиза, конечно же, не глупая костюмерша. Да, ее интеллектуальные способности не производили на него особого впечатления, но он давно уже понял, что с головой у нее все в порядке. Они познакомились на съемках клипа «Папы Легбы». Он сам написал сценарий, сам и ставил клип этой отвратительной металлической группы. Их менеджер заплатил Луизе какие-то гроши за то, чтобы она привела костюмы в божеский вид. Она также отвечала за прически и грим квинтета.

Дэнни решил, что она мила. Луиза ответила взаимностью. В тот момент он не считал необходимым рассказать ей о романе с Ифетао. Они то сходились, то расходились. Съемки пришлось аккуратно на тот период, когда они в очередной раз разошлись, но он знал, что в скорости все переменится. И не ошибся.

Следующие два месяца ему удавалось, пусть и с все большим трудом, лавировать между двумя женщинами, пока в прошлую пятницу не случилось ужасное: Луиза, неожиданно заявившись к нему домой, застала его в постели с Ифетао. Нефть словно смешалась с бензином, а присутствие спички. Дэнни инициировало взрыв.

Дом огласили крики, плач, угрозы, сменившиеся еще более зловещим молчанием. Обе женщины покинули дом в разное время, каждая пошла своим путем, и он предположил, что больше не увидит ни одну.

И не увидел до воскресного утра. Когда Луиза прибежала по его первому зову.

Она вошла в спальню с подносом. Улыбаясь.

— Сливки и сахар, сладенький, как ты любишь. Неужели она это знала, подумал он. Выходит, что да.

— Спасибо, — поблагодарил он ее. Она протянула ему чашку с раскаленным кофе. Он

уже затаил дыхание, но она не пролила ни капли.

* * *

Доктор Кинг, энергичная блондинка лет пятидесяти с небольшим, коротко поздоровалась с Луизой и принялась ощупывать тело Дэнни, который морщился от прикосновения ее пальцев.

— Мы сделаем анализ крови, но я подозреваю, что у тебя миозит.

— А что это такое? — спросил Дэнни.

— Острое воспаление мышечной ткани. Иногда имеет вирусное происхождение. Штука болезненная. Но со временем ты поправишься.

— Со временем? — Он понял, что возвысил голос. — У меня только неделя.

Доктор в удивлении воззрилась на него.

— От этого не умирают, Дэнни.

— Я не об этом. Моя страховка истекает через неделю.

— Ты можешь ее возобновить?

— Без контракта — нет. Я рассчитывал получить заказ, но как можно работать с такими руками?

Луиза откашлялась. Дэнни и доктор Кинг повернулись к ней.

— Я могу печатать с голоса. Чем-нибудь да помогу.

— Со своей стороны, я могу тебя госпитализировать. — Доктор Кинг скорчила гримаску. — На неделю. Но не думаю, что за это время можно вылечить миозит.

— Я смогу позаботиться о тебе дома, — предложила Луиза. — Утром ты увидел, на что я способна. Кормежку и чистоту гарантирую, и даже лечение, если потребуется.

В кабинете повисла тишина. Потом доктор Кинг пожала плечами:

— Домашний режим не противопоказан. Дэнни уже открыл рот, чтобы ответить.

— Отлично! — Тон Луизы не допускал возражений. — Значит, все решено.

* * *

Вторую половину дня Дэнни и Луиза осваивались в новой ситуации. Луиза почистила ему зубы, с предельной осторожностью, чтобы не повредить десны. Потом по-новому положила подушки и теперь, когда ему требовалось сесть прямо или встать, могла помогать ему, подталкивая в поясницу. По предложению Дэнни она принесла из кабинета радиотелефон. Клейкой лентой примотала его к деревянной рейке длиной в восемнадцать дюймов. Он научился набирать номер негнущейся рукой, а потом держать трубку у уха, ухватившись за противоположный конец рейки. А вот найти замену двухлитровой бутылке без горлышка не удалось.

Когда Дэнни притомился, Луиза оставила его и пошла в магазин за продуктами. Он заснул. И увидел сон.

Ифетао, освещенная луной, заглядывающей в восточное окно, стояла у изножия его кровати. Его глаза открылись, он с восхищением оглядел ее тело. В свое время он сравнивал Ифетао с большой дикой кошкой, бродящей по джунглям. Отучилось это уже после того, как нанял ее на работу. Согласно контракту, она подбирала для него информацию в Интернете. Она еще рассмеялась и спросила, не думает ли он, что это сравнение указывает на его расистские взгляды. Полной уверенности в этом у него не было, но образ этот так и остался при нем.

— Привет, великолепная. — Во рту у него пересохло. — Я бы встал...

— ...но не можешь, — закончила она фразу. — Я это знаю. — Она отбросила длинные черные волосы, упавшие на один глаз. — Я хотела увидеться с тобой, прежде чем... — Она замялась.

— Прежде чем? — Не понравилась Дэнни эта пауза.

— Прежде чем могло случиться то, что случилось.
— Слушай, хватит философствовать. Лучше скажи, что случилось со мной?
Ее полные губы изогнулись в улыбке.
— Я от тебя не в восторге, красавчик. Дэнни вдруг почувствовал, что губы не хотят его слушаться.
— То есть ты меня ненавидишь?
Она словно пропустила вопрос мимо ушей.
— Ты получишь подарок. — Ифетао вздохнула, во вздохе слышалась скорее грусть, чем злорадия. — Ты заслуживаешь всего того, что имеешь.
— Иффи... — Он вдруг запаниковал.
Истолковать ее взгляд ему не удалось.
— Если ты ложишься в постель с сучками... — начала она. И исчезла. Вместе с лунным светом. Спальню заливали лучи заходящего солнца. Дэнни мигнул, глубоко вдохнул. На пороге стояла Луиза.
— Соскучился? — спросила она.

* * *

Дэнни так и не вспомнил, что он ел на ужин в тот вечер. Но точно помнил, что Луиза кормила его, как ребенка, то с ложки, то с вилки. А потом он то ли заснул, то ли отключился.
Утром раздался звонок. Трубку взяла Луиза. Звонила доктор Кинг. Луиза поднесла прикрепленную к рейке трубку к уху Дэнни.
— Я получила результаты анализов. Как я и предполагала, креатинфосфокиназы больше нормы, что подтверждает диагноз миозита. Но я вот думаю, а не вторично ли воспаление мышц?
— Это как?
— Утром я переговорила с моим любимым остеологом. Он напомнил мне, что вторичный миозит может быть естественной реакцией иммунной системы на наличие костных фрагментов, попавших в ткани в результате переломов или трещин.
— Что-то я вас не понял.
— Могла бы твоя подруга... э... Луиза?.. привезти тебя во второй половине дня. Я назначила тебя на томографию.
— А что вы ищете? — спросил Дэнни.
— Переломы, — коротко ответила доктор Кинг.
— Он будет у вас, — ответила Луиза по другой трубке.

* * *

Костевед, он же остеолог, засомневался, а нужно ли проводить Дэнни томографическое сканирование. Он спросил, уверен ли Дэнни, что проснулся от боли. Не было ли травмы?
— Я не падал с кровати, — ответил Дэнни.
Может, с улыбкой предположил остеолог, одна из прежних пассий Дэнни ночью проникла в спальню с молотком и несколько раз стукнула его, прежде чем ретироваться.
Дэнни не нашел в его словах ничего смешного.
Посмотрел на Луизу, которая беззвучно, губами, произнесла одно слово.
Ифетао?
Дэнни покачал головой. Иффи, конечно, разозлилась на него, решила, что он ее предал. Но она же не злопамятная. А может, есть у нее такая черта? Он так не думал. Хотя...
Сканирование, совершенно безболезненное, тем не менее вымотало его донельзя. Санитары уложили его на наклонный стол, который уполз в цилиндр, вызвавший у Дэнни приступ клаустрофобии. Ему дали наушники и предложили на выбор несколько аудиоканалов. Он остановился на поп-музыке восьмидесятых.

Музыка зазвучала, как только он оказался в цилиндре. Так что сканировали его под Джимми Роджерса и Эрнста Табба.

И лишь через час, когда Дэнни уже совсем извелся, санитары выкатили стол из цилиндра.

— Как только результаты будут готовы, мы вам позвоним, — заверил Дэнни остеолог.

Вернувшись домой, они нашли на крыльце маленькую посылку, завернутую в коричневую оберточную бумагу и перевязанную красной ниткой. Без наклейки с адресом.

Уже в доме Луиза разрезала нитку и развернула бумагу. Вдвоем они уставились на миниатюрную статуэтку из черного камня. Статуэтка блестела, намазанная каким-то маслом. От резкого запаха у Дэнни сразу прочистился нос.

— Черт, — пробормотал он. — Буду?

— Ифетао, — безошибочно определила отправителя Луиза. — Хочешь, чтобы я ее выбросила?

Он покачал головой.

— Не уверен, что это правильный выход. Пока положи ее в безопасное место.

— Я не позволю ей причинить тебе вреда, — твердо заявила Луиза. — Я тебя люблю. — Она поцеловала его, провела пальцами по щеке, коснулась губ. — Ты устал. Тебе пора лечь.

— Я готов, — ответил Дэнни.

* * *

Ифетао вновь явилась ему во сне, правда, на этот раз он видел ее нечетко, словно сигнал, пробивающийся на экран телевизора сквозь вспышки молний и статические помехи. У изножия кровати она стояла в, многоцветном длинном платье, какие носили в ее родном Порт-о-Пренсе. Только тут Дэнни подумал, что раньше она предпочитала принятый на Западе деловой костюм.

— ..мое имя... — донеслось до него, — ..значение... — На ее лице отразилось раздражение. — ...Йоруба. «Любовь приносит счастье». — Некое космическое вмешательство отсекло звук. Ифетао становилась все печальнее, есть и много других значений... — Ее рука поднялась, зависла между ними. Дэнни разглядел между пальцев какой-то кокон, поблескивающий на свету.

А потом Иффи исчезла, будто другая рука отключила «телевизор».

Других снов в ту ночь Дэнни не увидел. Во всяком случае, не запомнил ни одного.

* * *

Наутро позвонил томографист. Сообщил, что у Дэнни нелады с костями. В его правом плече у самого сустава обнаружены две длинные трещины; в левом по меньшей мере одна. Трубку взял остеолог. В голосе слышалось удивление.

— Возможно... — Он запнулся. — Вы уверены, что травмы не было? — Не было. — Возможная причина — судороги во сне. С мышцами такое бывает, знаете ли. Редкий, конечно, случай, но они могут привести к трещинам.

Дэнни задумался, а с чего бы его телу подкладывать ему такую свинью.

— Но почему? — спросил он.

— Пока трудно дать однозначный ответ. Может, резко упало содержание сахара в крови. Может, это реакция на внезапный приступ удушья. Или дала сбой нервная система. — Он помолчал. — Я поговорю с доктором Кинг. Мы можем провести обследование.

Теперь уже Дэнни ответил после паузы.

— Только быстрее. Проведите обследование как можно быстрее. — На объяснения сил у него не осталось. Костевед согласился и положил трубку. Луиза заметила его грусть и присела рядом.

— Не волнуйся, сладенький. О докторях не думай, я все равно буду заботиться о тебе. И все у тебя будет хорошо.

— Застрелишь Ифетао, если выяснится, что она напустила на меня порчу?

— Да, — со всей серьезностью ответила Луиза. — Она не сможет обидеть тебя.

— Расслабься. — В голосе Дэнни прибавилось бодрости. — Я не нанимал тебя в телохранители.

— Но я тебя люблю. Очень люблю. — Луиза замялась. — Разве ты меня не любишь?

Дэнни чуть помедлил с ответом.

— Ты мне очень нравишься. И я благодарен тебе за то, что ты для меня делаешь.

— Но ты меня не любишь?

В голосе послышались резкие нотки.

— Может, и полюблю. Дай мне время. Его ответ Луизу не устроил.

— Не тяни слишком долго, Дэнни. — Она встала и прошла в маленькую ванную. Закрыла за собой дверь. Дэнни показалось, что оттуда донеслись всхлипывания. Но вернулась она с сухими глазами, улыбаясь.

— Есть будем в ресторане. Надо отпраздновать.

— Отпраздновать что? Я, знаешь ли, не в форме.

— Отпраздновать нашу любовь. Ни о чем не беспокойся, я все сделаю сама. — Она надела на него чистые носки и кроссовки. К ним добавились боксерские трусы и длинное пальто. С немалым трудом ей удалось всунуть его руки в рукава.

— Если кто-нибудь заглянет под пальто, то решит, что я — извращенец, направляющийся на школьный двор.

— Положись на меня. — Луиза усадила его в машину и привезла в полутемный ресторан, где они выбрали столик в дальнем углу. С ее помощью он заказал суп, пудинг и кофе. Блюда выстроились перед ним, словно солдаты, каждое с толстой соломинкой.

Он не ожидал, что эта вылазка в город ему понравится. Однако настроение его значительно улучшилось.

Правда, по возвращении домой вновь навалилась тоска. На определителе высветился телефон Ифетао.

— Не отзванивай ей, — сказала Луиза.

— Это мой дом, — ответил Дэнни. И едва не добавил, что живут здесь по его правилам. Когда же он набрал ее номер, механический голос ответил, что «этот номер временно не работает». — Надо бы к ней съездить. — Дэнни повернулся к Луизе. — Возможно, она звонила по делу.

— Нет, — покачала головой Луиза. — Не надо тебе к ней ехать — Ты меня отвезешь?

— Нет.

В голосе слышалась злость, и он дал задний ход.

— Может, завтра.

— Нет. Никогда.

Они еще немного поговорили, а потом он решил, что пора спать.

На этот раз Ифетао к нему не пришла.

* * *

Дэнни проснулся, слыша, чувствуя, как ломаются пальцы на ногах. Сначала мизинцы изогнулись, дернулись и переломились, как сухие ветки под тяжелым сапогом. Потом вторые пальцы, третьи, боль все нарастала, очередь дошла и до больших.

Хрясть!

Он закричал во сне.

Только это был не сон.

Начали вибрировать кости стопы правой ноги, затем согнулись, словно на них что-то давило. Боль все усиливалась. И в животе у него что-то начало рваться. Он попытался

дотянуться до ног, помассировать их. Ничего не вышло: руки по-прежнему его не слушались.

Он все кричал, а под его крики ломались и ломались тоненькие косточки стоп.

Появилась Луиза с теплыми полотенцами, вытерла его потное лицо, завязала стопы, чтобы смягчить боль.

— Ничего, ничего, — шептала она. — Все будет хорошо. Мы справимся и с этим.

— За что? — стонал он. — За что, за что, за что... — Он замолчал: перехватило дыхание.

— Больше она тебя не тронет.

В конце концов до него дошел смысл ее слов.

— Ифетао?

— Конечно. — Луиза вновь вытерла с его лба пот. — Отдыхай. Старайся ровнее дышать. Какое-то время ты не сможешь ходить. Но не волнуйся. Я обо всем позабочусь. Я тебя люблю.

Его словно пронзило молнией.

— Уиззи, та штуковина, которую Иффи оставила на крыльце. Которую ты положила в укромное место. Я думаю, ее лучше уничтожить.

— Я это уже сделала, любимый.

— Хорошо. — Он покачал головой. Мысли путались, он никак не мог найти нужных слов. — Я никогда не верил в черную магию.

— И не надо в нее верить. Но иногда она срабатывает. Он начал проваливаться в темноту, надеясь там обрести спасение от боли. Луиза что-то сказала.

— Что? — переспросил он.

— Река Стикс широка и глубока, — повторила она. — В ней очень много ненависти. — И тут же словно переключила телевизионные каналы. — Коты вылезли. Я их покормила. Кажется, я им понравилась.

— Что ты имела в... — Он не договорил. Его окутала благословенная темнота.

* * *

Проснувшись вновь, Дэнни не смог шевельнуться. Луиза сидела рядом с чашкой кофе наготове. Помогла выпить ее маленькими глоточками.

— Боюсь, ноги у тебя не очень.

— Они болят, как и плечи, — прошептал он.

— Какое-то время тебе придется побыть дома. — В голосе слышалось сочувствие. — Но я уверена, что все образуется.

— Зато нам не придется ехать к Ифетао. — Дэнни попытался улыбнуться.

— Это точно. Да и смысла в этом нет.

— Ты о чем?

— Эта женщина ненавидела тебя. Помнишь фигурку, которую я уничтожила? Ту, которую она оставила на крыльце. Ее назначение — превратить тебя в импотента. Наверное, она решила, что ты этого заслуживал. — Луиза вздохнула. — Но не имела права так поступать.

Дэнни попытался поднять голову, чтобы посмотреть на Луизу. Его пальцы поползли по одеялу, как пауки-калеки.

Ее взгляд упал на его руки.

— Осторожнее. Как бы то же самое не произошло и с пальцами рук. Всеми десятью, включая большие. — Но тут же она ослепительно улыбнулась. — Но я говорила тебе, что могу печатать с голоса. Все у тебя будет в порядке.

— Что ты такое говоришь? — пробормотал он.

Внезапно взгляд его упал на комод за ее спиной. Там стояла его фотография в металлической рамке. Но теперь к рамке привалилась какая-то фигурка, напоминающая куклу Кена, с перевязанным телом, руками, ногами. Повязки эти неестественно выгибали

конечности. Особенно сильно они перетягивали плечи, стопы, кисти.

И вот тут, несмотря на боль, он таки начал осознавать, что с ним происходит. Уиззи любила его.

Она заговорила, словно прочитав его мысли.

— Дэнни, я буду любить тебя всегда. Я не позволю ей причинить тебе вред. Ничего у нее не выйдет. Я позабочусь о тебе. Можешь на это рассчитывать.

Подступало забытье, и он понимал, что обратного пути уже не будет.

Сознание уходило, и Дэнни не знал, как удержать его. Но успел понять, о чем говорит ее холодная улыбка.

Любовь всегда побеждает ненависть.

Всегда.

Джин Вулф Моя шляпа — дерево

30.01. Утром видел на пляже непонятного неизвестного. Я купался в бухточке между домом и деревней. Перекупался, что ли? Впрочем, по-моему, я не очень-то и устал. Как только нырнул, мне почудилось, будто из-за огромного ветвистого коралла выплыла акула. Поспешил на берег. Все купание не продлилось и десяти минут. Выбежав из воды, перешел на шаг.

Свершилось. Я наконец-то начал вести дневник (уж думал, никогда не раскатаюсь). Так что давайте вернемся ко всем тем событиям, которые я должен был описать в нем, но так и не описал. Я купил его на следующий день после возвращения из Африки.

Нет, неверно — в день, когда меня выписали. Теперь я вспомнил точно. Я шлялся по городу, с минуты на минуту ожидая следующего приступа, пока не забрел в одну лавчонку на Сорок второй улице. За прилавком стояла симпатичная женщина, бывают такие по-настоящему красивые негритянки, и мне подумалось: хорошо было бы с ней поговорить, а значит, придется для проформы купить что-нибудь. Я сказал:

— Я только что из Африки.

Она:

— Серьезно? Ну и как там?

Я:

— Жарко.

Короче, я вышел на улицу с ежедневником в руках, уговаривая себя, что деньги потрачены не зря: я буду вести дневник, описывать на бумаге мои приступы, что я ел и делал — так мне предписали врачи; но у меня из головы не выходила она. Как она отошла в глубь лавки, чтобы достать ежедневник. Ее ноги. Как она держала голову. Ее бедра.

После этого я собирался записать все что помню об Африке и наши разговоры, в том случае если Мэри мне перезвонит. А затем рассказать о моем новом задании.

* * *

31.01. Устанавливаю свой новый «Мак». Кто бы мог подумать, что в таком месте есть телефоны? Но с Кололаи нас связывают провода, а еще есть тарелка. Я могу трепаться с людьми со всего мира — причем за счет Конторы. (Вот это, я понимаю, гуманизм!) В Африке было не так. Одна рация — да и та держалась на честном слове.

Меня бросило в жар от энтузиазма. «Отдаленный архипелаг в Тихом океане». Нет, все по порядку...

Пэ-Дэ:

— Баден, мы отправляем вас на Такангу.

Не сомневаюсь, я изобразил из себя барана перед новыми воротами.

— Это отдаленный архипелаг в Тихом океане. — Она откашлялась и состроила такую

гримасу, точно проглотила кость. — Там будет не так, как в Африке, Баден. Вы будете сам себе хозяин.

Я:

— Я думал, вы меня выгоните.

Пэ-Дэ:

— Нет, что вы! Как можно!

— Неограниченный отпуск по болезни.

— Нет, нет, нет! Но, Бад. — Она перегнулась через стол, и на минуту я испугался, будто она сейчас добросердечно потреплет меня по руке. — Там будет нелегко. Я не хотела бы зря вас обнадеживать.

Ха!

Ближе к телу. Я — в дыре. Я — в бунгало с полом, прогнившим еще в те времена, когда территория принадлежала англичанам. До деревни — миля. До пляжа — и полмили не будет, так что все комнаты пропахли Тихим океаном. Местные жирны и счастливы; по моим расчетам, меньше половины из них идиоты (по сравнению с Чикаго — огромное достижение). Раз или два в год кто-нибудь подхватывает что-нибудь типа триппера и получает от преп. Роббинса дозу мышьяка. И ИЗЛЕЧИВАЕТСЯ! Во дают!

В океане есть рыба — до фиغيща рыбы. В джунглях — дикорастущие фрукты. Местные знают, какие из них можно есть. Здесь сажают яме и хлебные деревья, а если кому-то нужны деньги или просто хочется что-нибудь купить, они ныряют на дно за жемчугом и меняют его на что надо, когда приходит шхуна Джека. Или устраивают себе праздник — плывут на пирогах в Кололаи.

Совсем забыл — кокосы тут тоже есть. Местные умеют их вскрывать. А может, у меня просто сил пока маловато. (Гляжу в зеркало — б-р-р!) Раньше я весил двести фунтов.

— Твоя тощий, — говорит король. — Ха-ха-ха! Хороший, в сущности, мужик. Чувство юмора у него дикарское, но бывают недостатки и похуже. Он берет нож (мы их называли «упанга», но они говорят «хелетей») и вскрывает кокосы, как пачки с жвачкой. У меня есть и хелетей, и кокосы, но с тем же успехом я мог бы пытаться вскрывать их ложкой.

* * *

1.02. Писать не о чем — вот разве что пару раз замечательно искупался. Первые две недели я вообще не заходил в воду. Из-за акул. Я знаю, что они здесь есть — сам видел двух. Если верить тому, что мне говорили, здесь есть и морские крокодилы, некоторые — длиной в четырнадцать футов. Их я пока не лицезрел, поэтому настроен скептически, хоть и знаю, что в Квинсленде они водятся. Время от времени разносится весть, что кого-то съела акула, но местным плевать — они практически не вылезают из воды. Не вижу причин не следовать их примеру. Пока везет.

* * *

2.02. Суббота. Вообще-то я давно собирался описать карлика, которого в тот раз видел на пляже, но никак не могу собраться с духом. В больнице мне иногда чудились всякие разности, и, боюсь, оно опять начинается. Я решил прогуляться по пляжу. И что, мне, значит, солнцем голову напекло?

Фигли.

Это был самый обыкновенный человек небольшого роста, даже ниже, чем отец Мэри. Это не мог быть никто из взрослых жителей деревни — комплекция не соответствует. Но и на ребенка он никак не тянул и вообще для островитянина был слишком бледен.

Очевидно, прожил здесь совсем недолго — он еще блее меня.

Преп. Роббинс должен знать — завтра его спрошу.

3.02. Жарко. Жара нарастает. По словам Роба Роббинса, самый жаркий месяц здесь — январь. Ну-ну: именно в начале января я сюда приехал, но с наступлением февраля вообще пошел ад.

Встал рано, пока еще было прохладно. Прошелся по пляжу до деревни. (Остановился посмотреть на скалы, где исчез карлик.) Подождал начала службы, но с Робом поговорить не смог — спевка (он разучивал с хором гимн «Ближе к Тебе, Господи»).

Пришло полдеревни. Служба тянулась почти два часа. Когда она закончилась, мне удалось отвести Роба в сторону. Я сказал, что, если он отвезет меня в Кололаи, я угощу его воскресным обедом (у него есть джип). Он был любезен, но отказал — слишком далеко и дороги плохие. Я сказал, что у меня личные проблемы, насчет которых я хотел бы с ним посоветоваться, а он: «Может, Баден, мы пойдем к вам домой и поговорим там? Я пригласил бы вас к себе на лимонад, но люди ко мне как мухи липнут».

И мы отправились пешком ко мне. Пекло, как в преисподней. На этот раз я старался глядеть только себе под ноги. Я достал из своего ржавого маленького холодильника ледяную кока-колу, и, обмахивая себя веерами, мы устроились на крыльце (Роб называет его «верандой»). Он понимает, что меня очень тяготит невозможность как-то помочь этим людям, и призывает меня к терпению. Мой шанс придет.

Я сказал:

— Я в этом разуверился, святой отец.

(Тогда-то он и предложил мне называть его «Роб». Это от фамилии, а зовут его Мервин.)

— Никогда не надо разуверяться, Бад. Никогда.

У него был такой серьезный вид, что я едва сдержала смех.

— Ну хорошо, я буду глядеть в оба, и может быть, в один прекрасный день Управление pošлет меня туда, где я нужен.

— Опять в Уганду?

Я пояснил, что АУПЗ практически никогда никого не направляет в один и тот же регион по второму разу.

— Собственно, я с вами не об этом хотел поговорить. Речь идет о моей личной жизни. Точнее, у меня к вам два вопроса, и это — один из них. Мне бы хотелось воссоединиться со своей бывшей женой. Вы посоветуете мне расстаться с этой мыслью: ведь я здесь, а она — в Чикаго; но я могу посылать ей мейлы через Сеть, и мне хотелось бы уладить отношения.

— А дети у вас есть? Простите, Баден, я не знал, что это большая тема.

Я пояснил, что Мэри их хотела, а я — нет, и он дал мне несколько советов. Я еще не послал ей мейл, но pošлю, как только допишу вот это.

— Вы боитесь, что у вас были галлюцинации. Вас тогда не лихорадило? Он достал термометр и измерил мне температуру. Оказалась почти нормальная. — Давайте, Баден, рассмотрим все это с точки зрения логики. Протяженность нашего острова — сто миль. Расстояние от побережья до побережья в самом широком месте — около тридцати. Мне известны восемь деревень. В одном только Кололаи — тысяча двести с гаком жителей.

Я сказал, что вполне сознаю все это.

— Дважды в неделю самолет привозит из Кернса все новых и новых туристов.

— Которые безвылазно сидят в Кололаи, никогда не удаляясь от города дальше пяти миль.

— Не «никогда», Баден, а «почти никогда». Вы говорите, что он был не из деревни. Хорошо, допустим, что так. Это был я?

— Нет, конечно.

— Значит, он живет не в этой деревне, а в другой или в самом Кололаи. Либо он вообще турист. Почему вы качаете головой?

Я объяснил.

— По-моему, ближайший лепрозорий — на Маршалловых островах. По крайней мере других я в ближайших окрестностях не знаю. Я не могу с уверенностью назвать прокаженным коротышку, которого вы видели, — если только вы не заметили у него каких-то иных симптомов болезни. Гораздо вероятнее, что это был турист с нездорово-бледной кожей, намазанной кремом от загара. Что же касается его исчезновения, то ответ напрашивается сам собой. Он просто прыгнул со скалы в бухту.

— Там никого не было. Я проверил.

— Вы хотите сказать, что никого не заметили. По-видимому, из воды торчала только его голова, а солнце в тот день рассыпало блики по воде, верно?

— Должно быть.

— Наверняка. Погода стояла ясная. — Допив кока-колу, Роб переставил бутылку подальше. — А тот факт, что он не оставил следов... Хватит играть в Шерлока Холмса. Я понимаю, что выразился жестко, но я вам добра желаю. Отпечатки ног на мягком песке — это в лучшем случае аморфные впадины.

— Свои я нашел.

— Вы знали, где смотреть. А вернуться по собственным следам пытались? Так я и думал. Вы разрешите задать вам несколько вопросов? Когда вы его увидели, он показался вам реальным человеком?

— Да, совершенно реальным. Хотите еще? Или что-нибудь поесть?

— Нет, спасибо. Когда у вас был последний приступ?

— Сильный? Недель шесть назад.

— А несильный?

— Вчера вечером, но ничего особенного не стряслось. Два часа знобило, потом прошло.

— Должно быть, вас это успокоило. Нет, вижу, что нет. Баден, когда у вас опять будет приступ, не важно, серьезный или нет, придите ко мне. Поняли?

Я пообещал.

* * *

«Это Бад. Я тебя по-прежнему люблю. Вот все, что я хочу сказать, но я хочу это сказать. Я был не прав, и я это знаю. Надеюсь, ты меня простила». И подпись.

* * *

4.02. Вчера вечером опять его видел — у него заостренные зубы. Я лежал под москитной сеткой — меня трясло, а он заглянул в окно и улыбнулся. Рассказал Робу. Добавил, что, как я где-то читал, каннибалы имели обыкновение затачивать свои зубы. Я знаю, что три-четыре поколения назад местные были каннибалами, и спросил, делали ли они такое с зубами. Он думает, что не делали, но обещал уточнить у короля.

* * *

«Я был очень болен, Мэри, но теперь мне лучше. Здесь вечер, и я ложусь спать. Я тебя люблю. Доброй ночи. Я тебя люблю». Подпись.

* * *

5.02. Пришли двое мужчин с копьями, чтобы отвести меня к королю. Я спросил, не арестован ли я, а они захохотали. Зато Его Величество на сей раз обошлось без «ха-ха-ха!». Он был в большом доме, но вышел наружу, и мы куда-то пошли мимо деревьев размером с офисные здания, задыхающихся под грузом цветущих лиан. Шли долго-долго. Наконец вошли в круг камней и остановились. Не считая меня, четверо: король, мужчины с копьями и

старик с барабаном. Копьеносцы развели костер, и барабан тихонько рокотал, как прибор, пока король произносил речь или декламировал стихотворение, причем его все время передразнивали невидимые птицы со странными голосами.

Договорив, король повесил мне на шею этакую хреновину из резной кости. Когда мы пошли назад в деревню, он положил мне на плечо руку, чему я немало удивился. Он здоровяк почище любого регбиста-нападающего и весит никак не меньше четырехсот фунтов. Мне казалось, будто я волоку на себе теленка.

* * *

Ужасные, УЖАСНЫЕ сны! Купание в кипящей крови. Теперь глаз не могу сомкнуть — страшно! Залез в Сеть, попробовал найти что-нибудь про сны и их толкования. Набрел на ведьму из Лос-Анджелеса — сперва на ее домашнюю страничку, потом на нее самое. (И тебя, и Тотошку твоего — всех погублю!!!) Но, кажется, неплохая тетка.

Достал штуковину из резной кости, которую мне подарил король. Старинная вещь, наверное, ей в музее место, но, думаю, пока я здесь, придется ее таскать на шее — по крайней мере когда выхожу на улицу. А то вдруг он обидится? Возьмет да и сядет на меня! Кажется, это рыба с нацарапанными на обоих боках картинками. Другие рыбы, человек в шляпе и т. п. Через глаз протянута веревка. Жаль, нет лупы.

* * *

6.02. Еще не ложился, но часы показывают, что среда. Написал длинный мейл — настучал за один заход, не думая. Сообщаю ей, где я и что я, заклинаю ответить. Потом вышел из дома и искупался нагишом в море под лунным светом. Завтра хочу поискать место, где король повесил мне на шею рыбу-талисман. Пора ложиться.

* * *

Утро. И прекрасное, доложу вам. Почему я так долго не замечал, какая здесь красота? (Может, мое сердце застряло в Африке и нагнало меня только сегодня?) Пальмы беспрерывно качаются на ветру, а люди — точно ожившие бронзовые статуи героев. Какими мелкими, чахлыми и бледными должны казаться им мы!

Искупался по-настоящему, чтобы отмыть уши от собственных воплей. Когда пройдет год, будет ли мне смешно читать на этих страницах, что полночный заплыв помог мне лучше понять местных? Может, и будет. Но я вправду это ощутил. Ведь они уже сотни лет плещутся в море в обществе луны.

* * *

Почта! Благослови, Боже, электронную почту и изобретателя ее! Только что обнаружил в своем ящике мейл. Попробовал угадать, от кого. Надеялся, что от Мэри, но был вполне уверен, что его прислала Эннис, которая ведьма. Читаю имя: «Джулиус Р. Кристмас». Папаша! Отец Мэри! Вскочил и стал скакать по комнате — такой восторг, что буквы прямо расплывались перед глазами. Сейчас я уже вывел мейл на печать. Переписываю сюда.

* * *

«Бад, она улетела в Уганду искать тебя. Вернется завтра. Кеннеди, АА 47 из Хитроу. Я ей скажу, где ты. Смотри там поосторожнее с этими папуасками».

* * *

ОНА УЛЕТЕЛА В УГАНДУ ИСКАТЬ МЕНЯ.

* * *

7.02. Опять сны — маленький человечек с острыми зубами улыбается, заглядывая в окно. Сомневаюсь, что стоит все это записывать, но я знал (во сне), что он причиняет людям зло, а он твердил, что мне зла не причинит. Возможно, и в первый раз я видел его не наяву, а во сне. Опять вопли.

Ну ладно. Вчера днем еще раз поговорил с Робом, хотя заранее этого не планировал. Вернувшись домой, почувствовал себя так скверно, что свалился на постель и ничего не мог делать. По-моему, так худо мне не было со времен больницы.

Ходил искать место, куда меня водил король. Неохота было идти от деревни — еще дети увяжутся, — решил сделать круг и выйти на то место с другой стороны. Обнаружил две старые постройки — маленькие, без крыш, — и кость, похожую на человеческую. Детали запишу попозже. Следов зубов я на ней не увидел — впрочем, и не высматривал их специально. Правда, с одного конца она почернела, точно от огня.

Шатался часа три, весь вымотался. Запнулся ногой о булыжник, остановился утереть пот, и — бэмс! — оказалось, что я там где надо! Обнаружил пепел и где стояли мы с королем. Огляделся по сторонам, жалея, что не взял фотоаппарат, — и увидел Роба. Он сидел на четырех камнях, поставленных друг на друга, — остатках стены — и глядел на меня сверху вниз. Я сказал:

— Эй, что же вы молчали? А он:

— Хотел посмотреть, что будете делать вы.

Значит, он за мной шпионил; вслух я этого не сказал, но иначе его действия назвать нельзя.

Я рассказал, как был здесь с королем и как получил от него талисман. Добавил, что, к сожалению, не надел его, но в любое время, когда Роб захочет кока-колы, я ему его покажу.

— Это все не столь важно. Он знает, что вы больны, и, полагаю, он дал вам вещь, которая должна вас исцелить. Возможно, она даже поможет — Бог слышит все молитвы. Это не то, чему учат в семинарии. Это отрицает даже Библия. Но я немало попутешествовал как миссионер и могу вас уверить: когда человек обращается к своему создателю по поводу хорошего дела — его слышат. И очень часто отвечают: «Да». Почему вы сюда вернулись?

— Просто хотел вновь взглянуть на это место. Вначале мне показалось, будто это просто круг из камней. Теперь я начал подозревать, будто это было что-то более грандиозное.

Роб молчал; я пояснил, что вспомнил о Стоунхедже. Стоунхедж — всего лишь большие камни, поставленные по кругу. Однако они предназначены для того, чтобы узнавать положение некоторых звезд и где встает солнце. Но тут идея явно была другая, ведь вокруг дерева. Стоунхедж стоит на открытом месте, на Солсберийской равнине. Я спросил, не храм ли это.

— Когда-то, Баден, это был дворец. — Роб откашлялся. — Если я расскажу вам о нем нечто конфиденциальное, можно надеяться, что вы не будете этого разглашать?

Я пообещал.

— Теперь это весьма добродушное племя. Прежде всего я должен подчеркнуть, что нам с вами они кажутся несколько инфантильными, как и все дикари. Но будь мы сами дикарями — а мы ими были, Бад, и не столь давно, мы бы воспринимали их совсем иначе. Вы можете себе вообразить, какими бы они нам казались, если бы не казались инфантильными?

Я сказал:

— Я думал об этом сегодня утром, перед тем как выйти из дома.

Роб кивнул.

— Теперь я понимаю, что заставило вас вернуться сюда. Поселения полинезийцев разбросаны по всему южному региону Тихого океана. Вы это знали? Первым, кто более или

менее тщательно исследовал Тихий океан, был капитан Кук, офицер британского флота. Его страшно изумляло, что его переводчик мог объясняться с жителями островов, отделенных друг от друга многими неделями плавания. Нам известно, например, что полинезийцы прибыли с Гавайев, и было их так много, что они завоевали Новую Зеландию. Правда, историки, насколько мне известно, все еще не признали это фактом, но зато сами маори зафиксировали данное событие в своих собственных анналах. Они проплыли около четырех тысяч миль.

— Впечатляет.

— Но вам неясно, куда я клоню. Понимаю-понимаю: история достаточно запутанная. Считается, будто их изначальной родиной была Малайзия. Я не буду перечислять все аргументы, убеждающие меня в неверности этой гипотезы, скажу лишь, что в таком случае они бы поселились на Новой Гвинее и в Австралии, а этого не произошло.

Я спросил, откуда же тогда пришли полинезийцы. Минуты две Роб сидел, почесывая подбородок; затем сказал:

— Этого я вам не стану говорить. Вы мне все равно не поверите, так зачем же время зря терять? Вообразите себе далекую страну, горную местность со зданиями и памятниками, ни в чем не уступающими древнеегипетским, и такими ужасными богами, каких не мог бы выдумать весь Голливуд вместе взятый. Время?.. — Он пожал плечами. — После Моисея, но прежде Христа.

— Вавилон?

Он помотал головой.

— У них появился правящий класс, и со временем эти правители — их жрецы и воины — стали как бы другой расой, крепче и выше ростом, чем крестьяне, к которым они относились как к рабам. Алтари своих богов они орошали кровью — кровью врагов, когда удавалось взять достаточное количество пленников. На худой конец, годилась и кровь крестьян. И вот крестьяне восстали и выперли их с гор на берег моря, а затем загнали в море.

Думаю, он ждал от меня каких-то комментариев, но я молчал, обдумывая услышанное и гадая, может ли все это быть правдой.

— Они уплыли прочь, ужасаясь тому, что разбудили в сердцах народа народа, к которому в былые времена принадлежали сами. Полагаю, их было две-три тысячи — никак не больше. Скорее всего счет шел даже не на тысячи, а на сотни. Они обучились мореплаванию и преуспели в нем — а иначе бы просто погибли. В эпоху античности они были единственным народом, который мог соперничать с финикийцами — и даже превзойти их.

Я спросил, верит ли он во все это. Он ответил:

— Не важно, верю я или нет, — все равно это правда. Он указал на один из камней.

— Я называл их дикарями. Это констатация факта. Но они не всегда были такими отсталыми, как сейчас. Здесь стоял дворец. Подобные руины разбросаны по всей Полинезии — огромные, постепенно рассыпающиеся в прах здания из кораллового известняка. Дворец и одновременно культовое сооружение, поскольку король считался святым, представителем богов. Вот почему он привел вас сюда.

Робу пора было уходить, но я рассказал ему о постройках, которые обнаружил раньше, и он выразил желание их увидеть.

— Знаете, Баден, здесь и храм есть, но мне так и не удалось его разыскать. Видимо, его построили в те времена, когда могущество темных сил было просто невообразимо... — Тут он ухмыльнулся, немало меня озадачив. Наверно, Баден, вас много дразнят из-за вашего имени.

— С первого класса. Меня это не задевает.

На самом деле иногда задевает.

Подробности позже.

Итак, я познакомился с человечком, которого видел на пляже, и, честно говоря (что толку употреблять это выражение, если ты не желаешь говорить честно?), он мне понравился. Через минутку я все это опишу.

Мы с Робом стали искать постройки, на которые я набрел в поисках дворца, но так и не смогли их обнаружить. По моему описанию Роб предположил, что храмом, который он ищет с самого своего приезда на остров, эти постройки быть не могут.

— Они знают, где он. Старики точно знают. Иногда я слышу эвфемистические упоминания о нем. Просто упоминания — не шутки. По поводу места, которое вы нашли, они острят. О храме — ни в коей мере.

Я спросил, что же за место я нашел.

— Японский военный лагерь. Во время Второй мировой здесь базировались японцы.

— Впервые слышу.

— Боев тут не было. Они построили здания, которые вы нашли, — если что те самые, — и выкопали в горах пещеры-дзоты. Я сам обнаружил несколько. Но американцы и австралийцы просто проскочили мимо острова, как и мимо многих других. Японцы здесь так и застряли. По-видимому, это была всего одна рота.

— И что с ними случилось?

— Одни сдались в плен. Другие вышли из джунглей, чтобы сдаться, но были убиты. Горстка японцев — человек двадцать, двадцать пять, если верить рассказам — держалась до последнего. Они ушли из пещер и вернулись в лагерь, который был построен в надежде на то, что Япония победит и будет контролировать весь Тихий океан. Полагаю, именно этот лагерь вы и нашли, так что мне хотелось бы его посмотреть.

Я сказал, что не понимаю, как он мог от нас ускользнуть, а Роб заметил:

— Гляньте на эти джунгли, Баден. В десяти футах от нас может прятаться любое здание.

Затем, пройдя пешком милю или две, мы вышли к морю. Я не знал, где мы оказались, но Роб знал.

— Здесь мы расходимся. Деревня вон там, а ваше бунгало — в противоположной стороне, за бухтой.

У меня из головы не выходили японцы, и я спросил, все ли они уже умерли, а он сказал, что да.

— Год от году они старели, и их ряды редели, и пришли времена, когда винтовки и пулеметы, с помощью которых они терроризировали деревни, пришли в негодность. Местные не сразу это поняли, но когда до них дошло, они напали на японский лагерь ночью, вооруженные дубинками и копьями. Они убили и съели всех японцев — иногда они в шутку сравнивают меня с ними, когда пытаются выцганить у меня мою козу.

Меня трясло, и я понимал: скоро мне совсем поплохее, так что вернулся сюда. До самого утра провалялся совсем больной по полной программе: озноб, лихорадка, мигрень.

Помню, как прямо у меня на глазах вазочка на бюро встала, прошла на тот конец и снова уселась, а в комнату плавно влетел американец в бейсболке. Он стащил бейсболку с головы, причесался перед зеркалом и вновь улетел. Судя по бейсболке, фанат «Кардиналов».

А теперь о Хэнге, коротышке, с которым я вижусь на пляже.

Записав все насчет дворца, я решил задать Робу пару вопросов и сказать ему, что Мэри прилетает. Да-да-да, никто мне прямо не сказал, что она прилетит, и даже она сама со мной пока не связалась — я получил лишь письмо от Папаши. Но ведь в Африку она отправилась — так что ей мешает прилететь сюда? Я поблагодарил Папашу и еще раз сообщил ему мой адрес. Он знает, как сильно мне хочется с ней увидеться. Если она прилетит, я попрошу Роба обвенчать нас по второму разу, если она согласится.

Итак, пойдя по берегу, я увидел его, но спустя полминуты он словно бы растворился в дымке. Я сказал себе, что у меня все еще глюки — ведь я болен; и напомнил себе, что обещал зайти к Робу в миссию, когда в следующий раз почувствую себя плохо. Но когда я обошел

бухту, он оказался прямо передо мной, вполне материальный. Он сидел в тени под молодой пальмой. Мне захотелось с ним поговорить, и я сказал:

— Ничего, если я здесь тоже присяду? От жары мозги плавятся.

Он улыбнулся (у него и вправду заостренные зубы) и сказал:

— Моя шляпа — дерево.

Я думал, что он имеет в виду просто тень, но после того как я уселся, он мне кое-что показал: откусил пальмовый лист и отодрал от него полоску, потом продемонстрировал, как расщеплять полоски еще и еще, чтобы плести неуклюжие шляпы типа соломенных с высокой тульей и широкими полями.

Мы немного поговорили, хотя он владеет английским намного хуже, чем некоторые местные. Он живет не в деревне, а деревенские его не любят, хотя он их любит. Говорит, они его боятся и из страха дают ему всякие вещи. Они предпочитают, чтобы он держался подальше. «Нет деревня, нет пирога».

Я сказал, что ему, наверное, одиноко, но он просто устал на море. Должно быть, он просто не знает этого слова.

Он заинтересовался талисманом, который мне подарил король. Я описал его и спросил, приносит ли он удачу. Он покачал головой: «Не есть малхой». Взмахнул пальмовым волокном. «Это есть малхой». Не зная, что значат «малхой», я решил с ним не спорить.

Вот, в принципе, и все. Еще я сказал ему, чтобы он заходил в гости, когда захочет пообщаться с людьми; а он посоветовал мне есть рыбу, чтобы поправить здоровье (понятия не имею, кто ему сказал, что иногда я болею, но я ведь никогда не держал свое состояние в секрете). И еще он сказал, что когда он со мной, приступы мне не угрожают (по крайней мере так я расшифровал его слова).

Кожа у него загрубелая, гораздо светлее, чем мое предплечье, но я не могу сказать, патология это или просто что-то врожденное. Когда я встал, чтобы уйти, он тоже поднялся. Оказалось, его макушка мне едва-едва по грудь. Вот бедняга.

* * *

И вот еще что. Я не собирался это записывать, но после слов Роба передумал. Немного отойдя, я обернулся, чтобы помахать Хэнге — но его уже не было. Я вернулся, думая, будто у меня обман зрения из-за тени пальмы; но он и вправду исчез. Я спустился к бухте, предполагая, что он в воде, как думал Роб. Место очень красивое, но Хэнги и там не обнаружилось. Начинаю сочувствовать морякам старых времен — насчет островов, которые исчезали, когда те подплывали поближе.

Ну да ладно. Роб говорит, что «малхой» значит «крепкий». Поскольку пальмовое волокно уступает в крепости простой хлопчатобумажной нитке, тут какая-то неувязка. (Или, что еще вероятнее, я просто что-то не так понял.) Наверно, это слово многозначно.

«Хэнга» означает «акула», по словам Роба, но он ведь не знаком с моим другом Хэнгой. Почти все мужчины носят имена рыб.

* * *

Еще мейл, на сей раз от ведьмы. «Над вами нависла опасность. Я это чувствую и знаю, что высшая сила привела вас ко мне. Будьте осторожны. Избегайте культовых сооружений, карты таро предвещают, что вам небезопасно там бывать. Опишите мне фетиш, о котором упоминали».

* * *

Вряд ли я исполню ее просьбу. И вообще больше не буду ей писать.

9.02. Похоже, в четверг я устал от писанины — вижу, что вчера так ничего и не записал. Сказать по чести, описывать было нечего — разве что мое купание в бухте Хэнги. А это я описать не могу — все какая-то бессмыслица выходит. Красота выше слов. Вот и все, что могу сказать. Сказать по чести, боюсь туда возвращаться. Боюсь разочароваться. Ни одно место на земле и даже под водой не может быть так прекрасно, как то, что запечатлелось в моей памяти. Пестрые кораллы, крохотные морские животные, похожие на цветы, стайки голубых, красных и оранжевых рыбок — таких живых самоцветов.

Сегодня, когда я пошел к Робу (да-да, Эннис меня предупреждала, но, по-моему, она — просто сивая кобыла), я сказал, что он наверняка придерживается мысли, будто Бог создал этот прекрасный мир нам на любованье; но, по-моему, тогда Он должен был снабдить нас жабрами.

— Баден, по-вашему, я должен считать, что Он и звезды специально для нас создал? Все эти пылающие солнца, отделенные от нас сотнями и тысячами световых лет? Неужели Бог создал целые галактики только для того, чтобы мы их замечали пару раз за всю жизнь, случайно задремывая?

Услышав эти слова, я невольно задумался о людях вроде меня, тех, кто работает на федеральное правительство. Может, нас тоже когда-нибудь выгонят, как тех правителей, о которых говорил Роб? Очень многие из нас перестали беспокоиться о простом народе. Пэ-Дэ, например, на народ плевать — я точно знаю.

Тут пришла женщина, поранившая руку. Обработывая рану, Роб беседовал с ней на ее родном языке, а она многословно отвечала ему — просто-таки трещала как сорока. После ее ухода я спросил, все ли ее фразы он понимал.

— И да, и нет, — ответил он. — Если вам так уж интересно — я знаю все слова, которые она произносила. Сколько вы здесь уже прожили, Баден?

Я ему сказал.

— Около пяти недель? — переспросил он. — Идеальный срок. Я живу здесь уже шестой год, но владею языком еще не как родным. Иногда я запинаюсь, подбирая слово. Бывает, что нужное так и не приходит мне в голову. Но на слух я их речь понимаю. Не самый замысловатый язык. Вас беспокоят призраки?

Полагаю, у меня отвисла челюсть.

— Это мне она сказала, помимо всего прочего. Король послал в другую деревню за женщиной, которая должна вас от них избавить. Этакая специалистка по белой магии, полагаю. Ее зовут Лангитокоуа.

Я сказал, что меня беспокоит только один призрак — призрак моего неудачного брака, но я, впрочем, надеюсь поправить дело с помощью Роба.

Он попытался заглянуть мне в душу — кажется, успешно. Такие уж у него глаза.

— Вы еще не выяснили, когда прилетит Мэри?

Я покачал головой.

— После поездки в Африку она захочет несколько дней передохнуть. Надеюсь, вы это учитываете.

— И ей придется лететь из Чикаго в Лос-Анджелес, из Лос-Анджелеса — в Мельбурн, оттуда — в Керне, а там дожидаться рейса на Кололаи. Поверьте, Роб, я все учел.

— Хорошо. А вам не приходило в голову, что ваш друг, этот коротышка Хэнга, может оказаться призраком? Я хочу сказать, вам это не приходило в голову после того, как вы с ним поговорили?

И тут меня обуяло то самое чувство — «что, дескать, я здесь делаю», которое донимало меня в буше. Я сидел в солнечной, пропахшей лекарствами комнатке с картонными стенами, у моего локтя стояла банка с ватными тампонами, через окно доносился шум прибоя, и тысячи миль отделяли меня от мест, где кипит жизнь; и хоть убей, я не мог вспомнить, какие решения и удачные или неудачные планы привели меня сюда.

— Позвольте, Баден, рассказать вам одну историю. Хотите верить, хотите — нет. Это было в первый год моего пребывания здесь. Я поехал в город насчет покупки кое-каких стройматериалов. Так получилось, что в городе у меня выдался день полного безделья, и я решил прокатиться на мыс Северный. Мне говорили, что это самая живописная часть острова, и я убедил себя, что должен ее посмотреть. Вы там были?

Я даже не слышал о таком мысе.

— Шоссе доходит до ближайшей к мысу деревни и там кончается. Оттуда еще часа два пешего хода по тропке. Там и впрямь красиво: скалы нависают над волнами, величественные утесы поднимаются прямо из океана. Я пробыл там не очень долго. Просто проникся атмосферой этого места — ощутил сладостное такое одиночество — и сделал несколько зарисовок. Потом пешком вернулся в деревню, где оставил свой джип, и поехал назад в Кололаи. Уже почти стемнело.

Отъехав совсем недалеко, я увидел, что по дороге идет один мужчина из нашей деревни. Тогда я знал еще не всех, но с ним был знаком. Я затормозил, и мы с минутку поболтали. Он сказал, что идет повидаться с родителями, и я предположил, что они живут в деревне, из которой я только что выехал. Я пригласил его сесть в джип и, развернувшись, отвез его туда. Он долго меня благодарил, а когда я вылез из машины проверить покрышку, которая меня смущала, обнял меня и поцеловал в глаза. Никогда этого не забуду.

Я ляпнул какую-то глупость насчет того, что люди здесь очень сердечные.

— Да, конечно, вы правы. Но знаете что, Баден, — вернувшись, я узнал, что мыс Северный — зачатое место. Туда отправляются души умерших, чтобы попрощаться со страной живых. Человека, которого я подвез, сожрала акула в день моего отъезда из деревни, за четыре дня до нашей встречи на дороге.

Я не знал, что сказать. Наконец я выпалил:

— Они вам наврали. Наврали, другого объяснения нет.

— Несомненно — или я вам сейчас наврал. В любом случае я бы очень хотел, чтобы вы привели ко мне своего друга Хэнгу, если вам это удастся.

Я пообещал сводить Роба к Хэнге, поскольку Хэнга отказывается ходить в деревню.

* * *

Опять купался в бухточке. Я никогда не считал себя хорошим пловцом, да у меня никогда и не было возможности им стать, но теперь плаваю, как дельфин, ныряю и плаваю с открытыми глазами, остаюсь под водой минуты по две — две с половиной, если не дольше. Невероятно! О Боже, жду не дождусь, когда смогу похвастаться перед Мэри!

В Кололаи продаются акваланги и прочее снаряжение. Надо будет занять у Роба джип или нанять кого-нибудь из мужчин, чтобы меня отвезли в пирог.

* * *

11.02. Опять запустил дневник — надо наверстывать. Вчера день прошел очень странно. И суббота тоже.

Не успел я лечь на кровать (в голове у меня крутилась Рובה история о призраке и картинки нового подводного мира) — и БУХ! Вскочил в чертовской панике. Оказалось, бюро опрокинулось. Очевидно, ножки подгнили. Несколько ящиков вдребезги, вещи разлетелись по всей комнате.

Прислонил бюро к стене, начал наводить порядок — и нашел книгу, которой раньше не видел. «Лучезарный сад короля ангелов» о путешествиях по Афганистану. На первой странице — чье-то имя, дата и штамп «Американское управление помощи зарубежным странам». Тупо поглядел на это дело, ничего не понял.

Но теперь мне все кристально ясно. Считайте, это послание для меня открытым текстом. Итак, он был здесь. Он — Ларри Скриббл. Сотрудник Конторы. Купил книгу три

года назад (вероятно, когда его направили в Афганистан), затем был послан сюда и книгу привез с собой. Я пользуюсь лишь тремя верхними ящиками, а она лежала в каком-нибудь другом и осталась незамеченной, когда кто-то (но кто?) собирал его вещи.

Почему, приехав, я не застал Скриббла здесь? Ему следовало остаться еще этак на неделю, чтобы ввести меня в курс дела. Никто мне о нем ничего не сказал — даже имя не упоминалось. Все это неспроста.

Хотел сходить в миссию на службу и взять с собой книгу, но опять захворал. Сорок два и восемь. Принял таблетку, лег — от слабости пальцем пошевелить не мог — и увидел Престранный сон. По каким-то признакам я знал, что в доме кто-то есть (по логике вещей, слышал шаги, но не помню). Привстал — у кровати, улыбаясь, стоял Хэнга. «Моя стукал. Твоя не выходил».

Я сказал:

— Извини. Я болел.

Чувствовал я себя чудесно. Встал и спросил, не хочет ли он кока-колы или поесть что-нибудь, но он пожелал увидеть талисман.

— Без проблем, — сказал я и достал его с бюро. Хэнга осмотрел его, хмыкая и водя указательным пальцем по рисункам на боках.

— Твоя не развязывай? Так носит? — указал он на шнурок. Я пояснил, что это не требуется — я могу надеть талисман на шею, не распуская узла.

— Хочешь друг? — Он ткнул себе в грудь. Вид у него был очень жалостный. — Хэнга друг? Бад друг?

— Да, — согласился я. — Очень хочу.

— Развязывай.

Я сказал, что перережу шнурок, если ему так хочется.

— Развязывай, пожалуйста. Друг по крови (и взял меня за руку, повторяя: «Друг по крови!»).

— Ладно, — сказал я и начал ковырять узел, который оказался довольно сложным; и в этот миг, клянусь, я услышал, что в бунгало еще кто-то есть, кто-то третий — он колотил по стенам. Думаю, я пошел бы посмотреть, кто там, но Хэнга все еще стискивал мою руку. Ручонки у него коротенькие, но кисти здоровенные и очень сильные.

Минуты через две я развязал шнурок и спросил, нужен ли он ему, а он с жаром ответил, что да. Я отдал ему шнурок, и тут произошла метаморфоза, какие часто случаются в снах. Распрямившись, он оказался как минимум одного роста со мной. Удерживая мою руку, он быстро и аккуратно куснул ее зубами и слизнул кровь, после чего, казалось, подрос еще немного. Его точно расколдовали. Лицо у него стало умное и почти красивое.

Затем он укусил себе руку точно так же, как и мою. Протянул руку мне, и я слизнул его кровь так, как он лизал мою. Я почему-то ожидал, что на вкус она будет ужасна, но нет: все равно, что хлебнуть морской воды, когда купаешься.

— Теперь моя и твоя друзья по крови, Бад, — сказал Хэнга. — Моя твоя не обижай, и твоя моя не должен обижай.

На этом сон кончился. Следующее, что я помню, — как, лежа в кровати, ощутил какой-то сладкий запах. Что-то щекотало мне ухо. Я подумал, что москитная сетка оборвалась, и поднял голову поглядеть — оказалось, рядом со мной лежит женщина с цветком в волосах. Я обернулся к ней; она, видя, что я проснулся, обняла и поцеловала меня.

Это Лангитокоуа, женщина, за которой, по словам Роба, посылал король, но я зову ее Ланги. Говорит, будто не знает, сколько ей лет. Врет. Я уверен, что из-за своего сложения (шесть футов роста, а весит никак не меньше двухсот пятидесяти фунтов) она выглядит старше своих лет. Ей где-то двадцать пять. Или семнадцать. Спросил ее о призраках — она спокойно сказала, что один в доме есть, но не опасный.

Во дела.

Затем, что вполне естественно, я ее спросил, почему король попросил ее пожить у меня; а она пресерьезно объяснила, что мужчине нехорошо жить одному, что мужчине нужен кто-

то, кто бы готовил, подметал и заботился о нем, когда он болеет. То был мой шанс, и я воспользовался им. Я растолковал ей, что вскоре жду из Америки женщину, что американские женщины ревнивы и что мне придется сказать американской женщине, что Ланги — моя сиделка. Ланги ничуть не упиралась.

* * *

Что еще?

Приход Хэнги мне лишь приснился — я это знаю; но похоже, что я ходил во сне. (Может быть, в бреду вскочил и стал бродить по бунгало?) Талисман лежит там, где я его оставил — на бюро; но шнурок исчез. Я нашел его под кроватью и попытался опять продеть в рыбий глаз, но ничего не вышло.

* * *

Мейл от Эннис:

«Адские псы сорвались с цепи. Ради всего святого, будьте осторожны. Благие влияния интенсифицируются, так что не теряйте надежды». По мне, полная шиза.

* * *

Мейл от Папаши:

«Как ты там? Что-то от тебя ничего не слышно. Ты нашел жилье для Мэри и детей? Они выехали».

* * *

Какие дети? На что намекает этот старый пуританин? Послал Папаше длинный мейл, сообщив, что сильно болел, но теперь поправляюсь, и что Мэри может выбрать себе жилье из нескольких вариантов, включая это бунгало, пусть решает сама, я ни на чем настаивать не буду. На Папашу я не обижаюсь — он понятия не имеет, где и как я живу. Возможно, он вообразил, будто я снимаю комнату с узкой девичьей кроватью в Кололаи. Надо послать еще одно письмо — спросить, когда она вылетает из Кернса; вряд ли он знает, но попытка не пытка.

* * *

Скоро полночь, Ланги спит. Мы сидели на пляже, любуясь закатом, пили ром с кока-колой, а когда кола кончилась — ром с кокосовым молоком, смотрели на звезды, разговаривали и занимались любовью. Потом еще немного поговорили, еще немного выпили и опять позанимались любовью.

Ага. Это я записал. Теперь надо придумать, где бы это дело спрятать, чтобы Мэри не попало на глаза. Уничтожать дневник я не буду и врать тоже. (Врать самому себе — последнее дело. Уж я-то знаю.) Еще кое-что из категории «Ах, неужели то был только сон?» — по-моему, не сон. Я лежал на песке, глядя в звездное небо. Ланги посапывала рядом. Я увидел НЛО. Он прошел между мной и звездами — обтекаемый, темный, в форме торпеды, но с огромным плавником сзади, точно ракета из старого комикса. Сделал над нами два-три круга и исчез. По спине пробежали мурашки.

Это навело меня на кое-какие мысли. Звезды — все равно что эти острова, только в миллион миллиардов раз крупнее. Никто на свете точно не знает, сколько здесь островов, и даже в наши дни найдется несколько, куда никогда не ступала нога человека. По ночам острова смотрят на звезды, а звезды — на них, и звезды с островами говорят друг другу:

«Они приближаются!»

Имя Ланги значит «небесная сестра», значит, не мне одному такие идеи приходили в голову.

* * *

Нашел храм! До сих пор самому не верится. Роб разыскивал его пять лет, а мне хватило шести недель. Господи, как мне хочется поделиться с ним новостью!

Но этого я сделать не могу. Я дал Ланги слово, так что вопрос исчерпан.

Мы пошли купаться в бухточку. Я нырнул, стал показывать ей кораллы и прочие штуки, которые она наверняка видела с того возраста, как научилась ходить, а она показала мне храм. Крыша обвалилась — если вообще была, стены обросли кораллами и морскими животными, похожими на цветы; если знающий человек не ткнет пальцем, сам ни за что не догадаешься, что перед тобой здание. Но стоит приглядеться — и вот оно: длинные отвесные стены, главный вход, какие-то каморки с боков — все как надо. Словно руины собора, украшенные цветочными гирляндами и праздничными флажками (я знаю, что сравнение неточно, но другой, более близкой ассоциации не сумел придумать). Храм выстроили на суше, затем вода поднялась; но он уцелел. Он выглядит не заброшенным — а скрытым. Слишком древний он и слишком большой, чтобы попадаться на глаза кому попало.

* * *

Никогда этого не забуду. Обычные камни и кораллы буквально у меня на глазах сложились в стены и алтарь, из которого, точно огромное дерево, растет коралловый куст пятидесятифутовой вышины. Затем из тени кораллового дерева выплыла гигантская беловато-серая акула с человеческими глазами. Она хотела посмотреть на нас. Это страшнее всех львов и леопардов. Господи, как же я срейфил!

Когда мы вынырнули и вылезли на скалы, Ланги пояснила, что акула не хотела нам зла — иначе мы оба были бы уже мертвы (железный аргумент). Мы стали собирать цветы, затем она сплела несколько венков, покидала их в воду и спела какую-то песню. Она сказала: «Твоя может знать об этом, ведь мы есть мы; но никогда не говори другим „мули“». Я вполне искренне поклялся хранить тайну.

* * *

Она ушла в деревню за продуктами. Я спросил у нее, кому они поклонялись в подводном храме — богу Роба (специально подобрал выражение, которое было бы ей понятно)? Она со смехом ответила: „Нет, мы поклонялись богу-акуле, чтобы акулы нас не ели“. Теперь сижу и размышляю над ее словами.

Полагаю, с гор, где они жили две тысячи лет назад, они должны были привезти других богов. Обосновавшись здесь, они построили этот храм — в честь своих старых богов. Позднее, спустя несколько сотен лет или типа того, уровень воды в море поднялся, и храм затопило. Старые боги ушли, но прежде приставили к своему дому стражей — акул. Когда-нибудь море снова отхлынет. Антарктика снова покроется толстым и прочным ледяным покровом, Тихий океан обмелеет, и старые кровожадные боги гор вернутся. Вот так мне кажется, и если я прав, то мне радостно, что все это случится уже не при мне.

В Рובה бога я не верю, следовательно, логика требует, чтобы я не верил и в этих богов. Но я в них верю. Наступила новая эра, вот только мы все еще играем по старым правилам. Они придут и научат нас новым — чего я, собственно, и боюсь.

* * *

Валентинов день. Мэри ушла в мир иной. Так выразила бы эту мысль моя мама. Так должен выразиться и я. Эти слова я и пишу печатными буквами. Не могу заставить свои пальцы написать что-то еще. Пока не в силах.

Сможет ли хоть кто-нибудь разобрать мой почерк? Ланги и я преподнесли ей венок из орхидей. И тогда венок был на ней. Как быстро это случилось. Какое безумие. Столько крови. Мэри и дети истошно кричали. Так, надо либо начать с самого начала, либо вообще бросить это дело.

Была устроена охота на кабанов. Я не пошел, помня, как худо мне было после шатаний по джунглям с Робом, но после охоты мы с Ланги посетили пир и угостились жареным мясом. Охота на кабанов — любимое времяпровождение мужчин; Ланги говорит, что больше охоты они любят лишь танцы. Собак они не держат, луками и стрелами тоже не пользуются. Охота состоит в том, чтобы выследить зверя. Обнаружив кабана, они убивают его копьями — опасное, должно быть, дело. Я разговорился с королем об охоте, и он объяснил, что они загоняют нужного им кабана в место, откуда он не может убежать. Тогда зверь разворачивается, бросает им вызов и может даже атаковать их; но если он не атакует, четверо или пятеро мужчин одновременно кидают в него копья. Король заявил, что именно его копье пронзило сердце этого кабана.

В общем, пир был роскошный. Ананасы, местное самопальное пиво, мой ром и целые горы свинины. Уже почти рассветало, когда мы вернулись сюда оказалось, что Мэри с Марком и Адамом уже спят.

И слава Богу, поскольку это дало нам шанс искупаться и вообще привести себя в порядок. К их пробуждению Ланги приготовила поднос с фруктами для завтрака и сплела венки из орхидей, которые нарвал я. Также я сварил кофе. По моему опыту, утром маленькие мальчики жутко ноют (может быть, из-за того, что мы не разрешаем им пить кофе?), но Адам и Марк были страшно поражены присутствием смуглой великанши и живого скелета, поэтому разговор получился. Они двойняшки и, кажется, вправду мои дети; по крайней мере оба — вылитый я в их возрасте. Ветер начал крепчать, но мы не обратили на это внимания.

— Ты очень удивился, когда меня увидел? Мэри выглядела несколько старше, чем женщина, чей образ запечатлелся в моей памяти. У нее начал оформляться двойной подбородок.

— Я ужасно рад. Но Папаша меня уже предупредил, что ты ездила в Уганду, а потом отправилась сюда.

— На край света. — Тут она улыбнулась, и у меня сердце так и запрыгало в груди. — Никогда не думала, что на краю света так красиво.

Я заметил, что когда наши дети вырастут, все побережье застроят многоэтажными домами.

— Тогда давай порадуемся, что нам выпало жить именно сейчас. — Мэри обернулась к мальчикам. — Пока мы здесь, давайте постараемся все увидеть и все перепробовать. Другого такого шанса у вас не будет.

Я произнес:

— Надеюсь, вы проживете здесь очень долго.

— Ты хочешь сказать, что ты и?..

— Лангитокоуа. — Я помотал головой (вот он, решающий момент, а все мое отретпетированное вранье как корова языком слизала). — Мэри, был ли я хоть раз с тобой честен?

— Безусловно. Частенько.

— Я не был честен, и ты это знаешь. И я знаю. Я не имею права надеяться, что ты мне поверишь. Но я скажу тебе и себе правду, как на духу. Сейчас у меня ремиссия. Мы с Ланги вчера смогли сходить на праздник, поесть, пообщаться с людьми, развлечься. Но когда мне худо, это кошмар. Я ничего не могу — только дрожу, вою и потею, — а еще я вижу то, чего нет. Я...

Мэри прервала меня, пытаясь утешить.

— Ты не так уж плохо выглядишь. Я ожидала худшего.

— Я знаю, как я выгляжу. Каждое утро вижу в зеркале, когда бреюсь. Вылитая смерть, которую разогрели в микроволновке, — и это не красивое сравнение, а почти что научная истина. В этом году болезнь должна меня доконать. Если я и выживу, приступы все равно будут донимать меня до конца жизни — которая вряд ли продлится долго.

Воцарилась тишина. Чтобы нарушить молчание, Ланги поспешила спросить, не хотят ли мальчики кокосового молока. Они сказали, что хотят, и, достав мой хелетей, она показала им, как вскрывать зеленые орехи одним ударом. Мы с Мэри тоже решили посмотреть и отвлеклись от нашего разговора — тут-то я и услышал прибой. Шум разбивающихся о берег волн еще ни разу не достигал моего бунгало — все-таки до моря далековато.

— Я взяла напрокат „рейнджровер“. В аэропорту, — сказала Мэри тоном, который в ее случае обычно означал „я вынуждена говорить о том, о чем предпочла бы умолчать“.

— Знаю. Видел.

— Пятьдесят долларов в день, Бад, плюс пробег. Я не смогу долго за него платить.

— Понимаю, — сказал я.

— Мы пытались позвонить. Я надеялась, что ты достаточно здоров и можешь нас встретить или кого-нибудь послать.

Я сказал, что одолжил бы у Роба его джип, если бы она мне дозвонилась.

— Я и не знала, где тебя искать, но мы встретили туземца, очень красивого мужчину, и он сказал, что знаком с тобой. Он проводил нас, чтобы показать дорогу. — В этот миг по лицам мальчиков я понял, что с туземцем все не слава Богу. — От денег он отказался. Может быть, я зря предложила ему плату? Но он вроде бы не обиделся.

— Нет, все нормально, — сказал я.

Я был готов отдать весь свет, лишь бы отвести мальчиков в сторонку и поговорить с ними начистоту. Но изменило бы это хоть что-нибудь? Читая это, вновь переживая то, что случилось, я понимаю, что на письме теряется одна деталь — тот факт, что все произошло очень быстро. Между пробуждением Мэри и тем мигом, когда Ланги побежала в деревню за Робом, не прошло и часа.

Мэри лежала вся белая, белее песка. Исхудалая и белая-белая, очень похожая на меня.

— Он думал, что ты на берегу, и хотел поискать тебя там, но мы слишком устали, — продолжала Мэри.

Пока все. Честно сказать, я выбился из сил. Слова, которые я пишу сейчас левой рукой, расплываются у меня перед глазами, а культя, которой я придерживаю ежедневник, ноет. Сейчас я лягу и буду плакать — это я знаю точно, и Ланги будет укачивать меня, как ребенка.

Завтра продолжу.

* * *

17.02. Из больницы прислали самолет за Марком, но для нас мест в салоне не нашлось. Моей болезнью доктор заинтересовался куда больше, чем моей культей. „Доктор Роббинс отлично ее обработал“, — сказал он. В понедельник мы сядем на самолет, который летит в Керне.

Надо дописать историю. Но во-первых и в главных завтра я украду Робов джип. Так он мне его не даст, считает, что я не могу водить машину. Я-то знаю, что могу, хотя и медленно.

* * *

19.02. Стоим на взлетной полосе. Один двигатель барахлит. Хватит ли у меня теперь духу написать обо всем? Посмотрим.

Мэри рассказывала нам о своем проводнике, какой он красивый и сколько рассказал об островах, вещи, которых я сам не знал. И словно удивившись, что не заметила его раньше, указала и произнесла:

— Да вот же он.

Вокруг никого не было. Точнее, никого, кто был бы виден Ланги, мне или мальчикам. Когда все кончилось, когда Роб осматривал Марка и Мэри, я поговорил с Адамом (с моим сыном Адамом, надо привыкать звать его так). Мне было ведено стягивать бинт — крепко-крепко, изо всех сил. А рука у меня ослабла.

Адам сказал, что Мэри остановила машину, дверца раскрылась, и Мэри попросила его пересесть назад к Марку. ДВЕРЦА РАСКРЫЛАСЬ САМА СОБОЙ. Этот момент он помнит яснее всего, и я тоже до конца дней своих буду помнить. И потом всю дорогу Мэри разговаривала с кем-то, кого они с братом не видели и не слышали.

Мэри закричала, и всего на секунду возникла акула. Она была большая, как пирога, а ветер, сильный, как океанское течение, сдул нас в воду. Признаюсь честно: ума не приложу, как все это можно было бы объяснить.

* * *

Самолет пока не взлетел. Все-таки попытаюсь. Легко сказать, чего не произошло в тот миг. И безумно трудно — описать, что именно произошло. Слов нет. Акула не плавала в воздухе. Я знаю, как это звучит, но она (он!) не плавала. Мы не находились под водой. Отнюдь. Мы могли дышать, ходить и бегать точно так же, как он мог плыть, хотя и не так быстро, как он. Могли даже бороться с течением.

Хуже всего было то, что он то появлялся, то исчезал, исчезал и появлялся, и уже казалось, будто мы бежим от него или сражаемся с ним при вспышках молний, иногда он был Хэнгой — высоким, выше короля — и улыбался мне, а сам гнал нас, как стадо.

Нет. Самое гадкое — в стадо, которое он гнал, входили все, кроме меня. Он заставлял их — Мэри, Ланги, Адама и Марка — двигаться в сторону берега, как собака гонит овец, а мне он позволил бы убежать (Иногда я гадаю, почему не убежал. То был новый я, таким я себя вряд ли еще увижу.) Его челюсти были вполне реальными — иногда я слышал их шелканье, не видя его самого. Я закричал, звал его по имени. Наверное, я кричал, что он нарушил наш договор, что причинять зло моим женам и сыновьям — все равно что мне. Следует воздать этому дьяволу должное — по-моему, он просто не понял. Король сказал мне сегодня, что старые боги очень мудры, но и их разуму не все подвластно.

Я схватил нож, хелетей, которым Ланги вскрывала кокосы. Думая о кабанах, я — Господь тому свидетель — пошел на них в атаку. Вероятно, мне было ужасно страшно. Точно не помню — припоминаю лишь, как полосовал ножом что-то или кого-то огромного, который то появлялся, то исчезал, а через миг возвращался вновь. Поднятый ветром песок впивался в кожу. Я оказался по горло в пенистой воде. Резал и рубил. Акула-молот с моим ножом и моя рука в ее пасти.

Мы всех их вытащили — мы с Ланги. Но Марк остался без ноги, а Мэри перекусили челюсти трехфутовой ширины. То был сам Хэнга, я уверен.

* * *

Вот моя версия. Думаю, он мог показываться лишь одному из нас кряду, потому-то и мерцал, то возникая, то исчезая. Он реальное существо (чертовски реальное!!!). Не совсем материальное в том смысле, в каком материален камень, но все равно материальное в непостижимом для меня плане. Материальное, как свет и радиация — и все же не совсем, как они. Он показывал себя каждому из нас, и всякий раз менее чем на секунду.

* * *

Мэри хотела иметь детей и поэтому, ничего мне не говоря, перестала принимать таблетки. Она сказала мне об этом по дороге к Северному мысу, в Робовом джипе (я был за

рулем). Я боялся. В основном не Хэнги (хотя и его тоже) — но того, что Мэри на дороге не окажется. И тут кто-то произнес: „Банзай!“ Это слово прозвучало словно бы из уст человека, сидящего рядом со мной в джипе, — вот только в машине никого, кроме меня, не было. В ответ я тоже сказал: „Банзай“. Он больше не отозвался, но после этого я понял, что найду ее, и стал дожидаться на краю обрыва.

Она вернулась ко мне, когда солнце спустилось к волнам Тихого, и чем больше темнело и ярче разгорались звезды, тем реальнее она становилась. Большую часть времени я по-настоящему ощущал ее в своих объятиях. Когда звезды поблекли, а на востоке забрезжил рассвет, она прошептала: „Мне пора“, — и шагнула с обрыва, и пошла на север, медленно тускнея. Солнце освещало ее справа.

Я оделся и вернулся назад в деревню, на том дело и кончилось. Итак, я записал последние слова, которые сказала мне Мэри через два дня после своей смерти.

Она вовсе не собиралась возвращаться ко мне; но потом услышала, как тяжело я заболел в Уганде, и предположила, что болезнь меня изменила. (Да, изменила. Что толку заботиться о людях „на краю света“, если ты не можешь быть добр к своим собственным соотечественникам, и прежде всего к собственной семье?).

* * *

Взлетаем.

Наконец-то мы в воздухе. О, Мэри! Мэри, звезда моя.

* * *

Мы с Ланги отвезем Адама к его деду, потом вернемся, чтобы быть с Марком (в Брисбейне или Мельбурне), а когда он оправится, возьмем его домой.

Стюардесса разносит ленч, и впервые с того момента, когда все это стряслось, я чувствую легкое желание подкрепиться. Одна стюардесса, двадцать — тридцать пассажиров: самолет заполнен до отказа. Когда разнеслась весть о нападении акул, туристы валом повалили с острова.

Как видите, я могу выводить печатные буквы левой рукой. Когда-нибудь научусь писать по-человечески. Правая ладонь чешется, хотя ее больше нет. Жаль, что нельзя ее поскрести.

А вот и еда.

* * *

Один из двигателей перестал работать. Пилот уверяет, что это не опасно.

* * *

Он там, снаружи, плывет бок о бок с самолетом. Минуту или больше я наблюдал за ним, пока он не исчез в грозовой туче. „Моя шляпа — дерево“. О Господи.

Господи ты, Боже мой!

Мой брат по крови.

Что делать?

Френсис Пол Уилсон **Страстная пятница**

— А Святой Отец говорит, что вампиров не существует, — сказала сестра Бернадетта Джайлин.

Сестра Кэрол Хэнарти подняла глаза от стопки контрольных по химии у себя на

коленях — контрольных, которые, быть может, уже никогда не вернутся к ее второкурсникам, — и посмотрела, как Бернадетта ведет по городу старый "Датцун", работая рычагом передач как заправский дальнбойщик. Ее милая подруга и коллега — сестра милосердия — была худа, даже до болезненности, у нее были большие синие глаза и короткие рыжие волосы, выбивающиеся по краям из-под платя. Она всматривалась в ветровое стекло, и свет заходящего солнца румянил чистую гладкую кожу круглого лица.

— Если Его Святейшество так говорит, мы обязаны верить, — ответила сестра Кэрол. — Но мы очень давно ничего от него не слышали. Я надеюсь...

Бернадетта повернулась к ней с расширенными в тревоге глазами.

— О, ты же не думаешь, что что-нибудь могло случиться с Его Святейшеством, правда, Кэрол? — сказала она, и в ее голосе чуть пробивался неистребимый ирландский акцент. — Они бы не посмели!

Кэрол сразу не нашлась, что сказать, и потому отвернулась к боковому стеклу, глядя на пролетающие группы деревьев. Тротуары маленького городка Джерси-Шор были пустынные, и на дороге тоже почти не было машин. Им с Бернадеттой пришлось объехать три бакалейные лавки, пока они нашли такую, в которой еще было чем торговать. Кто припрятывал продовольствие, кому прекратились поставки, и найти еду было все труднее.

Это ощущали все. Как говорит поговорка? Что-то насчет чутья беды... неважно.

Она потеряла замерзшие руки и подумала о Бернадетте. Моложе ее самой на пять лет — ей всего двадцать шесть — и с таким ясным разумом, умеющая так четко о многом думать. Но вера у нее почти детская.

Она появилась в монастыре св. Антония всего два года назад, и между ними сразу установилась душевная связь. Очень много у них было общего. Не только ирландские корни, но и определенное одиночество. Родители Кэрол умерли много лет назад, а родители Бернадетты остались на старой родине. И они стали сестрами не только в том смысле, что принадлежали сестричеству одного ордена. Кэрол была старшей сестрой, Бернадетта младшей. Они вместе молились, вместе смеялись, вместе гуляли. Кэрол надеялась, что обогатила жизнь Бернадетты хотя бы вполовину так, как та обогатила ее жизнь.

Бернадетта была так невинна! Она, кажется, считала, что раз Папа непогрешим в вопросах веры или морали, он должен быть вообще безошибочен.

Она Бернадетте об этом не говорила, но решила не верить Папе в вопросе о нежити. В конце концов, ее существование — не вопрос веры или морали. Либо она существует, либо нет. А все новости из Восточной Европы в эту осень оставляли мало сомнения, что вампиры вполне реальны.

И что они наступают.

Каким-то образом они сумели организовать. Они не только существовали, но их в Восточной Европе оказалось больше, чем мог подозревать самый суеверный крестьянин. Когда же рухнул коммунистический блок, когда все бывшие сателлиты и сама Россия лежали в хаосе, хапая территории и творя убийства во имя нации, расы и религии, вампиры воспользовались вакуумом власти и нанесли удар.

Нанесли удар по всем направлениям, и не успел остальной мир отреагировать, как вся Восточная Европа оказалась в их власти.

Если бы они просто убивали, с этим еще можно было бы справиться. Но поскольку каждое убийство было обращением, их численность росла в геометрической прогрессии. Что такое геометрическая прогрессия, сестра Кэрол понимала лучше других. Разве она не демонстрировала это многие годы подряд на занятиях по химии, бросая кристалл в пересыщенный раствор? Один кристалл превращался в два, два в четыре, в восемь, в шестнадцать и так далее. Видно было, как формируется кристаллическая решетка, сначала медленно, потом она растягивается нитями через весь раствор все быстрее и быстрее, и жидкость в пробирке превращается в твердую массу кристаллов.

Вот так это и было в Восточной Европе, а потом пошло на Россию и на Западную Европу.

Вампиры стали неудержимы.

Вся Европа много месяцев молчала. По крайней мере официально. Но пара старшекласников из школы при монастыре св. Антония, у которых были коротковолновые приемники, сообщили Кэрл о странных передачах, где говорилось о невероятных ужасах по всей Европе под правлением вампиров.

Но Папа объявил, что вампиров не бывает. Так он сказал, но вскоре после этого и он, и Ватикан замолчали вместе со всей Европой. Вашингтон отверг существование непосредственной угрозы, заявив, что Атлантический океан представляет собой естественный барьер для нежити. Европа под карантином, Америка в безопасности.

Потом пошли сообщения, вначале спорные и по-прежнему опровергаемые официально, о вампирах в Нью-Йорке. На прошлой неделе все радиостанции и телепередатчики Нью-Йорка прекратили вещание. И вот теперь...

— Ты же не веришь, что вампиры идут в Нью-Джерси, правда? — спросила Бернадетта. — То есть если бы они существовали...

— Ну, ведь в это трудно поверить? — ответила Кэрл, пряча улыбку. Потому что в Нью-Джерси вообще никто по доброй воле не сунется.

— О, Кэрл, не надо шутить! Это серьезно.

Бернадетта была права. Это и в самом деле серьезно.

— Ну, если серьезно, то это совпадает с тем, что мои школьники слышали из Европы.

— Но Боже милостивый, сейчас же Страстная неделя! Страстная пятница! Как они смеют?

— Если подумать, это лучшее время. Не будет ни одной мессы до Первой Пасхальной в воскресенье утром. Разве есть другой день в году, когда не служится ежедневная месса?

— Нет, — покачала головой Бернадетта.

— Вот именно.

Кэрл посмотрела на свои похолодевшие пальцы и почувствовала, как холодок ползет вверх по рукам.

Машина вдруг дернулась и остановилась, и послышался крик Бернадетты.

— Боже милосердный, они уже здесь!

С полдюжины фигур в черных мантиях столпились впереди на перекрестке, глядя в их сторону.

— Надо отсюда убираться! — сказала взволнованно Бернадетта и дала газ.

Старый мотор кашлянул и заглох — О нет! — взвыла Бернадетта, лихорадочно вертя ключом и давя на газ, а темные фигуры скользили к машине. — Нет!

— Тише, милая, — сказала Кэрл, кладя ей руку на плечо. — Ничего страшного. Это всего лишь дети "Дети" — это было не совсем точно. Два существа мужского пола и четыре женского, возраста около двадцати лет, но за густо накрашенными глазами угадывался тяжелый опыт взрослой жизни всех видов. Ухмыляясь и вопя, они собрались вокруг машины, четверо со стороны Бернадетты и двое со стороны Кэрл. Землистые лица были бледны от слоя белой пудры, насурьмленных век и черной губной помады. Черные ногти, кольца в ушах, бровях и ноздрях, хромированные штыри, пронзающие губы и щеки. Волосы всех цветов спектра, от мертвенно белого до угольно-черного. У мальчиков безволосая голая грудь под кожаными куртками, у девушек грудь почти голая в черных открытых бюстгальтерах. Ботинки из блестящей кожи или винила, сетчатые чулки, слой на слое кружева, и все черное, черное, черное.

— Эй, глянь! — сказал один из ребят. На шее у него был кожаный ошейник с металлическими остриями, угри под белым гримом лица. — Монашки!

— Пингвины! — добавил кто-то еще.

Это показалось им очень остроумным, и все шестеро зашлись в хохоте.

"Мы не пингвины", — подумала Кэрл. Она уже много лет не носила полного облачения — только наголовный плат.

— Блин, и удивятся же они завтра утром! — сказала грудастая девица в шелковой

остроконечной шляпе.

Еще взрыв смеха у всех — кроме одной. Высокая худощавая девушка с тремя вытатуированными на щеке большими черными слезами и белыми корнями крашенных в черное волос отодвинулась, будто ей было не по себе. Кэрол всмотрелась. Что-то знакомое...

Она опустила стекло.

— Мэри Маргарет? Мэри Маргарет Фланаган, это ты? Еще хохот.

— Мэри Маргарет? — крикнул кто-то. — Это же Викки! Девушка шагнула вперед и глянула Кэрол в глаза.

— Да, сестра. Так меня звали когда-то. Но я больше не Мэри Маргарет.

— Вижу.

Она помнила Мэри Маргарет. Милая девушка, исключительно способная, но очень тихая. Прожорливая читательница, ей всегда было не по себе с другими детьми. В первый год ее оценки резко упали, а на следующий она не вернулась. Когда Кэрол позвонила ее родителям, ей сказали, что Мэри Маргарет осталась дома. Она не была в состоянии ничего больше выучить.

— Ты сильно изменилась за то время, что я тебя не видела. Сколько три года?

— Это ты говоришь о переменах? — сунулась в окно девушка в остроконечной шляпе. — Подожди до ночи. Вот тогда ты увидишь, как она переменится!

Она расхохоталась, показав хромированный шип в языке.

— Отвали, Кармилла! — сказала Мэри Маргарет. Кармилла не реагировала.

— Они сегодня придут, сама знаешь. Владыки Ночи будут здесь после заката, и это будет смерть твоего мира и рождение нашего. Мы отдадим им себя, мы подставим им горло, чтобы они выпили нас, и мы станем ими. И будем вместе с ними править ночью!

Это было похоже на отрепетированную речь, которую она наверняка не раз повторяла своей облаченной в черное труппе.

Кэрол глядела на Мэри Маргарет поверх головы Кармиллы.

— И это то, во что ты веришь? Чего ты действительно хочешь?

Девушка пожала высокими худыми плечами.

— Получше всего, что мне светило бы.

Старый "Датцун" наконец ожил, трясаясь. Кэрол услышала, как Бернадетта включает передачу. Коснувшись ее руки, Кэрол попросила:

— Погоди. Пожалуйста, одну минутку.

Она хотела еще что-то сказать Мэри Маргарет, но тут Кармилла ткнула пальцем почти ей в лицо и заорала:

— И тогда вы, суки, и тот занюханный бог, под которого вы, бляди, стелетесь, исчезнете на хрен!

С неожиданной силой Мэри Маргарет отдернула Кармиллу от окна.

— Езжайте лучше, сестра Кэрол, — сказала Мэри Маргарет.

Машина поехала.

— Какого ты хрена, Викки? — услышала Кэрол крик Кармиллы, когда машина отъезжала от темной группы. — В религию ударились? Тебя, может, надо называть "сестра Мэри Маргарет"?

— Она одна из немногих, кто был со мной честен, — ответила Мэри Маргарет. — Так что отвали, Кармилла, на хрен.

Они остались позади, и разговор стал не слышен.

* * *

— Что за ужасные создания! — сказала Бернадетта, выглядывая из окна комнаты Кэрол. Она все никак не могла забыть происшествие. — Почти моего возраста и такие ужасные выражения!

Комната Кэрол в монастыре была оштукатуренной коробкой десять на десять футов с

потрескавшимися стенами и отстающей на потолке краской. Здесь было одно окно, распятие, комод и зеркало, рабочий стол и табурет, кровать и ночной столик. Не много, но Кэрол рада была называть ее своим домом. Обет бедности она принимала всерьез.

— Наверное, мы должны за них помолиться.

— По-моему, им нужно больше, чем молитва. Поверь мне, они плохо кончат. — Бернадетта сняла висевшие у нее на шее слишком большие четки с распятием и собрала их в руку. — Быть может, мы могли предложить им кресты для защиты?

Кэрол не смогла подавить улыбку.

— Очень гуманная идея, Берн, но не думаю, что они ищут защиты.

— Да, конечно. — Бернадетта тоже улыбнулась, но скорбно. — Нет, не ищут.

— Но мы будем за них молиться, — сказала Кэрол.

Бернадетта села на стул, просидела не больше секунды, встала снова, заходила по тесной комнате. Казалось, она не может сидеть спокойно. Она вышла в холл и почти тут же вернулась, потирая руки, будто умывая их.

— Все так тихо, — сказала она. — Так пусто.

— Очень на это надеюсь, — ответила Кэрол. — Сейчас только нам двоим полагается быть здесь.

Маленький монастырь был наполовину пуст даже когда все его насельницы были на месте. А теперь на следующую неделю школа св. Антония закрылась на каникулы, почти все монахини отправились по домам провести пасхальную неделю с братьями, сестрами, родителями. Даже до тех, кто мог бы в прошлые годы остаться вблизи монастыря, дошли слухи, что сюда движется нежить, и они разбежались на юг и на запад. Единственным среди живых родственников Кэрол был брат в Калифорнии, и он ее не пригласил; и даже если бы пригласил, она не могла бы себе позволить слетать туда и обратно в Джерси просто на Пасху. Бернадетта несколько месяцев уже не имела известий от семьи из Ирландии.

Так что они вдвоем и были оставлены удерживать форт.

Кэрол не боялась. Она знала, что в монастыре св. Антония опасность им не грозит. Монастырь входил в комплекс, состоящий из самой церкви, дома священника, зданий младшей и старшей школы и приземистого старого двухэтажного жилого здания, где сейчас был монастырь. Им с Бернадеттой достались комнаты на втором этаже, а на первом жили монахини постарше.

Всерьез не боялась, хотя ей бы хотелось, чтобы в комплексе остался еще кто-нибудь, кроме нее, Бернадетты и отца Палмери.

— Не понимаю я отца Палмери, — сказала Бернадетта. — Запереться в церкви и не дать прихожанам приложиться к кресту в Страстную пятницу. Где это слыхано, спрашиваю я? Просто не понимаю.

Кэрол думала, что понимает. Она подозревала, что отец Альберто Палмери боится. Этим утром он запер свой дом, забаррикадировал дверь и спрятался в подвале церкви.

Прости ее Господь, но, по мнению сестры Кэрол, отец Палмери был просто трус.

— Как мне хотелось бы, чтобы он отпер церковь, хотя бы ненадолго. Мне необходимо там побыть, Кэрол. Просто нужно.

Кэрол знала, что чувствует Берн. Кто это сказал, что религия — опиум для народа? Маркс? Кто бы он ни был, он не был совсем уж не прав. Для Кэрол сидение в прохладе и покое под готическими сводами церкви св. Антония, молитва, сосредоточение и ощущение присутствия Господа было как ежедневная доза привычного наркотика. Доза, которой они с Берн сегодня были лишены. Муки абстиненции у Берн были сильнее, чем у Кэрол.

Младшая монахиня остановилась, проходя возле окна, и показала вниз на улицу.

— А это кто еще может быть, во имя Господа?

Кэрол встала и шагнула к окну. По улице ехала кавалькада блестящих новых автомобилей дорогих марок — "мерседес-бенц", "БМВ", "ягуары", "линкольны", "кадиллаки" — все с номерами штата Нью-Йорк, все выезжали со стороны парка.

Вид сверкающих в сумерках машин вызвал у Кэрол судорогу в животе. На волчьих

лицах, видневшихся в окнах, застыло выражение животной злобы, и выруливали они свои роскошные машины... будто вся дорога принадлежала им.

Проехал "кадиллак" с опущенным верхом, и в нем четверо угрюмых мужчин. Водитель в ковбойской шляпе, двое сзади сидят поверх спинки сиденья и пьют пиво. Когда Кэрол увидела, что один из них поднял глаза в их сторону, она отдернула Берн за рукав.

— Назад! Не давай им себя увидеть!

— Почему? Кто они?

— Не знаю точно, но я слыхала о шайках людей, которые делают для вампиров грязную работу в дневное время. Они продали души за обещание бессмертия и... и за другие вещи.

— Кэрол, ты шутишь!

Кэрол покачала головой:

— Хотела бы я, чтобы это было шуткой.

— О Боже мой, а сейчас уже солнце зашло. — Она обратила к Кэрол перепуганные голубые глаза. — Ты думаешь, нам надо...

— Запереться? Непременно. Я знаю, что Святой Отец говорил насчет того, что вампиров не бывает, но он, быть может, переменил мнение и просто не может довести его до нас.

— Да, наверное, ты права. Запри здесь, а я проверю внизу, в холле. Она спешно вышла, и Кэрол еще только услышала:

— Как мне жаль, что отец Палмери закрылся в церкви. Мне бы так хотелось там немножко помолиться...

Сестра Кэрол снова выглянула в окно. Шикарные машины уже уехали, но за ними рокотала колонна грузовиков — больших, восемнадцатиколесных грузовиков, грохочущих по центральной полосе. Зачем они здесь? Что везут? Что они доставили в город?

Вдруг залаяла собака, потом еще одна, и еще, и еще, будто все псы в городе решили подать голос.

Подавляя беспокойство, нараставшее внутри как морской прилив, сестра Кэрол сосредоточилась на простейшей работе — закрыть и запереть окно и опустить шторы.

Но остался ужас, тошнотворная холодная уверенность, что мир падает во тьму, что ползучий край тени достиг этой точки глобуса, и если не будет чуда, прямого вмешательства гневного Бога, грядущая ночь изменит ее жизнь необратимо.

И она стала молиться об этом чуде.

* * *

Оставшиеся вдвоем сестры решили сегодня не зажигать света в монастыре св. Антония.

И решили провести ночь вдвоем в комнате Кэрол. Они перетащили сюда матрас Бернадетты, заперли дверь и завесили окно двойным слоем покрывал с кровати. Осветили комнату единственной свечой и стали молиться вместе. Но музыка ночи просачивалась сквозь стены, двери и шторы; приглушенный стон сирен, поющих антифон их гимнам, тихие щелчки выстрелов, отбивавших ритм в псалмах, поднявшиеся крещендо сразу после полночи и оборвавшиеся... молчанием.

Кэрол видела, что Бернадетте особенно тяжело. Она сжималась при каждом завывании сирены, вздрагивала при каждом выстреле. Разделяя ужас Бернадетты, Кэрол все же подавляла его, прятала поглубже ради подруги. В конце концов, Кэрол старше, и она знает, что сделана из материала покрепче. Бернадетта так невинна, так чувствительна даже по меркам вчерашнего мира, когда еще не было вампиров. Как же ей выжить в мире, который будет после этой ночи? Ей нужна будет помощь. И Кэрол поможет, насколько это в ее силах.

Но при всех ужасах, притаившихся за шумом ночи, безмолвие было еще хуже. Ни один людской вопль боли и ужаса не проникал в их святилище, но воображаемые крики страдающих людей отдавались в голове в невыносимом молчании.

— Боже милосердный, что же там происходит? — спросила Бернадетта, когда они

прочли вслух двадцать третий псалом.

Она скорчилась на матрасе, набросив одеяло на плечи. Пламя свечи плясало в ее перепуганных глазах и заставляло плясать высокую сгорбленную тень на стене за ее спиной.

Кэрол сидела на кровати, скрестив ноги. Она прислонилась спиной к стене и старалась не дать глазам закрыться. Изнеможение лежало свинцовым грузом на ее плечах, облаком окутывало мозг, но она знала, что вопрос о сне даже не рассматривается. Не сегодня, не ночью, не до восхода солнца. А может быть, и тогда тоже нет.

— Спокойней, Берн... — начала Кэрол и остановилась. Снизу, от входной двери монастыря, донесся еле слышный стук.

— Что это? — шепнула Бернадетта севшим голосом; глаза ее расширились.

— Не знаю.

Кэрол схватила подрясник и вышла в коридор, чтобы лучше слышать.

— Не оставляй меня одну! — крикнула Бернадетта, выбегая за ней, накинув на плечи одеяло.

— Тише, — успокоила ее Кэрол. — Слушай. Это у входной двери. Кто-то стучит. Я пойду посмотрю.

Она сбежала в вестибюль по широкой лестнице с дубовыми перилами. Здесь стук слышался громче, но все равно слабо. Кэрол глянула в глазок, прищурилась, но никого не увидела.

Но стук продолжался, хотя и слабее.

— К-кто там? — спросила сестра Кэрол, заикаясь от страха.

— Сестра Кэрол! — донесся слабый голос из-за двери. — Это я... Мэри Маргарет. Я ранена.

Кэрол инстинктивно потянулась к ручке двери, но Бернадетта схватила ее за руку.

— Подожди! Это может быть обман!

А ведь она права. Но потом Кэрол опустила глаза вниз и увидела перетекающую через порог кровь. Она ахнула и показала на алую лужу.

— Это не обман.

Она отперла дверь и потянула на себя. В луже крови на придверном коврике лежала Мэри Маргарет.

— Господи Иисусе милосердный! — вскрикнула Кэрол. — Берн, помоги мне!

— А если она вампир? — спросила застывшая от страха Бернадетта. — Они не могут переступить порог, если их не пригласить.

— Прекрати эти глупости! Она ранена!

Доброе сердце Бернадетты возобладало над страхом. Она сбросила одеяло, открыв вылинявшую синюю ночную рубашку до щиколоток. Вместе они втащили Мэри Маргарет внутрь. Бернадетта тут же закрыла и заперла дверь.

— Звони 911! — велела Кэрол.

Бернадетта побежала к телефону.

Мэри Маргарет стонала, лежа на кафеле вестибюля, сжимая кровотокающий живот. Кэрол увидела покрытый ржавчиной и кровью кусок металла, торчащий в районе пупка. По фекальному запаху она поняла, что у девушки пробит кишечник.

— О бедное дитя! — Кэрол опустилась на пол рядом с ней и взяла ее голову себе на колени, обернула одеялом Бернадетты дрожащее тело. — Кто это тебя так?

— Случайно, — выдохнула Мэри Маргарет. Настоящие слезы оставляли потеки туши на слезах татуированных. — Я бежала... упала...

— От чего ты бежала?

— От *них*. Господи... ужас... Мы их искали, этих Владык Ночи Кармиллы. И после заката мы одного нашли. Выглядел так, как мы всегда знали... понимаете, такой величественный, высокий, грациозный, соблазнительный и холодный. Он стоял возле грузовика — одного из тех, что сегодня приехали. Мои друзья подошли, но я вроде как осталась сзади. Не была уверена, что я хочу, чтобы из меня высосали кровь. А Кармилла

прямо пошла к нему, стягивая топ и обнажая горло. Она себя предлагала.

Мэри Маргарет закашлялась и застонала от приступа боли.

— Не надо говорить, — сказала Кэрол. — Береги силы.

— Нет, — ответила девушка слабым голосом, когда ее отпустило. — Вы должны знать. Этот Владыка так улыбнулся Кармилле, а потом махнул своим помощникам, и они открыли задние двери у того грузовика. — Мэри Маргарет всхлипнула. — Ужас! Там было полно этих... *тварей!* С виду люди, но грязные, голые и они как звери. Они оттуда *хлынули* и сразу их целая банда налетела на Кармиллу. Я видела, как она упала и закричала, и я тогда попятилась. Другие мои друзья попытались бежать, но их тоже свалили. А потом я увидела, как один поднял голову Кармиллы, а Владыка этот говорит: "Вот так, детки. Отрывайте головы. Всегда отрывайте головы. Нас уже достаточно". И вот тут я повернулась и побежала. И пробегала через пустырь, а там упала... вот на это.

Бернадетта вбежала в вестибюль. Лицо ее было искажено от страха.

— Девять-один-один не отвечает! Там никого нет!

— Они во всем городе, — сказала Мэри Маргарет после еще одного приступа кашля. Кэрол едва ее слышала. Она тронула горло девушки холодное. — Они поджигают дома и нападают на копов и пожарных, когда те приезжают. Их человеческие помощники врываются и вытаскивают людей на улицу, и там на них нападают. А когда эти твари выпьют кровь, они отрывают головы.

— Боже милостивый, зачем? — спросила Бернадетта, присев рядом с Кэрол.

— Я думаю... не нужно им больше вампиров. Много крови нужно, и они...

Она застонала в очередном спазме, потом вытянулась и затихла. Кэрол хлопала ее по щекам, звала по имени, но тусклые неподвижные глаза Мэри Маргарет Фланаган сказали ей все.

— Она... — прошептала Бернадетта.

Кэрол кивнула сквозь подступившие слезы. Бедное заблудшее дитя, подумала она, закрывая глаза Мэри Маргарет.

— Она умерла в грехе, — сказала Бернадетта. — Ей нужно немедленное помазание! Я приведу отца...

— Нет, Берн, — ответила Кэрол. — Отец Палмери не придет.

— Конечно же, придет! Он священник и он нужен этой бедной заблудшей душе!

— Поверь мне, он ни за что не выйдет из церковного подвала.

— Но он должен! — почти по-детски возвысила голос Бернадетта. — Он священник!

— Успокойся, Бернадетта, и мы сами за нее помолимся.

— Мы не можем того, что может священник, — возразила она, вскочив на ноги. — Это не одно и то же.

— Куда ты? — спросила Кэрол.

— Я... взять рясу. Здесь холодно.

"Бедная, милая перепуганная Бернадетта, — подумала Кэрол, глядя ей вслед. — Как я понимаю твои чувства".

— Ихвати молитвенник! — крикнула она вдогонку. Кэрол натянула одеяло на лицо Мэри Маргарет и осторожно опустила ее голову на пол. Она ждала возвращения Бернадетты... ждала... ждала... Почему так долго? Кэрол позвала ее, и ответа не получила.

Обеспокоенная, Кэрол поднялась на второй этаж. Коридор был пуст и темен, только бледный столб лунного света пробивался через дальнее окно. Кэрол подбежала к двери Бернадетты. Закрыта. Она постучала.

— Берн? Берн, ты здесь?

Тишина.

Кэрол распахнула дверь и заглянула. Пустота и лунный свет.

Куда она...

Внизу, почти под ногами Бернадетты, хлопнула задняя дверь монастыря. Что такое? Кэрол же ее сама закрыла — на закате задвинула засов.

Если только Бернадетта не спустилась по черной лестнице и не...

Она бросилась к окну и всмотрелась в лужайку между монастырем и церковью. Высокая и яркая луна превратила наружный мир в черно-белую фотографию, выбелив тусклым сиянием лужайку, очертив эбеновые колодцы возле кустов и деревьев. Она зажгла шиферную крышу церкви св. Антония, вырезав длинную извилистую полосу ночи позади ее готического шпиля.

А через лужайку к церкви бежала худощавая фигурка, обернутая в длинный плащ, и луна выхватывала белую ленту ее платя, и черная вуаль билась тенью вокруг шеи — Бернадетта была слишком консервативна, чтобы позволить себе подойти к церкви с непокрытой головой.

— Берн! — прошептала Кэрол, прижавшись лицом к стеклу. — Берн, не надо!

Она смотрела, как Бернадетта подбежала к боковому входу церкви и застучала тяжелым медным молотком в толстую дубовую дверь. Чистый высокий голос еле слышно донесся через стекло.

— Отец! Отец Палмери! Пожалуйста, откройте! Там мертвая девушка в монастыре! Ее надо похоронить! Вы не пойдете, отец Палмери?

Она все стучала, все звала, но дверь так и не открылась. Кэрол показалось, что она увидела бледное лицо отца Палмери в окне справа от Берн — в новом, не цветном окне церкви Оно мелькнуло на секунду и исчезло.

Но дверь не открылась.

Это не охладило настойчивости Берн. Она только сильнее застучала молотком и еще больше возвысила голос, и голос, отраженный эхом от каменных стен, отдался в ночи.

Сердце Кэрол устремилось к ней. Она понимала нужду Берн, если не ее отчаяние.

Почему отец Палмери хотя бы не впустит ее внутрь? Бедняжка такой шум устроила, что мертвого поднимет.

Внезапный ужас сковал морозом ее затылок.

...мертвого поднимет.

Берн слишком шумит. Она хочет только привлечь внимание отца Палмери, но что, если она привлечет внимание... других?

Не успела мелькнуть в голове эта мысль, как Кэрол увидела темную высокую фигуру на лужайке со стороны улицы. Фигура эта, перебираясь от тени к тени, подбиралась к ничего не подозревающей подруге.

— О Боже! — вскрикнула Кэрол и задержала задвижку окна. Вывернула, рванула раму.

— Бернадетта! Сзади! — крикнула она. — Кто-то подбирается! Быстрее назад, Бернадетта! Быстрее!

Бернадетта обернулась и глянула на Кэрол, потом огляделась. При выкриках Кэрол черная фигура растворилась в тени. Но Бернадетта учуяла что-то в голосе Кэрол, потому что побежала обратно к монастырю.

И не успела сделать и десяти шагов, как темная фигура ее перехватила.

— *Нет!* — заорала Кэрол, когда черный силуэт прыгнул наперерез подруге.

Она застыла в окне, вцепившись пальцами в рамы, и тут вопль ужаса и боли разорвал ночь.

Бесконечный, беспомощный парализованный миг Кэрол смотрела, как эта фигура выволокла Бернадетту на лунную лужайку, разорвала плащ и упала сверху, смотрела, как забились в воздухе руки и ноги, а крики ее, о Боже милосердный на небесах, крики ее о помощи раскаленными тонкими гвоздями втыкались в уши Кэрол.

И тут уголком глаза Кэрол увидела все то же бледное лицо в окне церкви св. Антония. Оно поглядело секунду и снова растворилось в темноте.

Застонав от ужаса, боли, отчаяния Кэрол оттолкнулась от окна и побежала, спотыкаясь, по коридору. По дороге она схватила футовой величины деревянное распятие со стены кельи Бернадетты и прижала его к груди двумя руками. Набирая скорость, переходя в бег, она стала кричать — не вопль страха, но длинный, непрерывный вой гнева.

Кто-то убивает ее подругу!

Гнев был на благо. Он прогнал страх и оцепенение и отвращение, парализовавшие ее. Он дал ей двигаться, бежать. Она открылась навстречу ярости.

Кэрол слетела по лестнице, вырвалась на лунную лужайку...

И остановилась.

Она не могла сориентироваться Бернадетты не было видно. Где она? Где напавший?

И тут она увидела вертящееся пятно тени на траве, впереди, возле кустов.

Бернадетта?

Стиснув распятие, Кэрол бросилась туда, и на бегу поняла, что это и в самом деле Бернадетта, распростертая ниц, но не одна. На ней сидела верхом другая тень, шипя, как змея, щелкая зубами, и пальцы ее скрючились когтями, вцепившись в голову Бернадетты, будто пытаясь оторвать.

Кэрол среагировала не думая. С воплем она бросилась вперед на эту тварь, вдвинув распятие в подставленную спину. Вспыхнул и зашипел свет, и густой черный дым пошел маслянистыми клубами от места, где крест ударил в плоть. Тварь выгнула спину и взвыла, вертясь под крестообразным ожогом, задергалась, пытаясь выбраться из-под пылающего гнета. Но Кэрол не отступила, упала на колени, преследуя ползущую тварь, вжимая пылающий крест все глубже и глубже в дымящуюся вскипевшую плоть, в спину, в позвоночник. Крики слабеющей твари стали почти жалобными, и Кэрол давилась густым черным дымом, но гнев не давал ей отступить. Она давила и давила, толкала деревянное распятие все глубже и глубже в спину твари, пока крест не провалился в грудную полость и не прожег сердце. Вдруг тварь поперхнулась, вздрогнула и затихла.

Вспышки погасли. Улетели с последним вздохом последние клубы дыма.

Кэрол вдруг выпустила древко распятия, будто от удара, и бросилась к Бернадетте. Упав на колени возле неподвижного тела, она перевернула его на спину.

— Нет! — вскрикнула она, увидев разорванное горло Бернадетты, расширенные, застывшие, невидящие глаза, и кровь, много крови, залившей грудь.

Нет. Господи, прошу тебя, нет! Не может быть! Не может быть!

Из нее вырвалось рыдание.

— Нет, Берн! Не-е-е-ет!

Где-то невдалеке в ответ завывала собака.

Собака ли?

Кэрол поняла, что осталась без защиты. Надо вернуться в монастырь. Она вскочила и огляделась. Все вокруг неподвижно. В двух ярдах от нее лежала мертвая тварь, и крест торчал из ее спины.

Она подбежала подобрать распятие, но дернулась, коснувшись твари. Теперь было видно, что это человек — голый, или что-то очень похожее на человека. Но не совсем. Чего-то неуловимого в нем не хватало.

Это один из них?

Из той нежити, о которой говорила Мэри Маргарет. Но может ли этот... эта тварь быть вампиром? Скорее она действовала, как бешеная собака в образе человека.

Что бы это ни было, оно изуродовало и убило Бернадетту. Ярость бушевала в теле Кэрол как злая инфекция, расходясь с током крови, поражая нервную систему, угрожая поглотить целиком. Она подавила желание избить труп.

К горлу поднялась желчь; Кэрол проглотила ее и уставилась на лежащее перед ней неподвижное тело. Когда-то это был человек, может быть, у него была семья. Наверняка он не просил превращать его в злобную ночную тварь.

— Кто бы ты ни был, — шепнула Кэрол, — теперь ты свободен. Свободен вернуться к Богу.

Она взялась за древко распятия, но оно застряло в сожженной плоти, как стальной штырь в бетоне.

Снова что-то завывало. Ближе.

Надо было вернуться обратно, но она не могла оставить здесь Бернадетту.

Быстро подойдя к ней, Кэрол подсунула руки ей под плечи и колени и подняла на руки. Такая легкая! Боже мой, она почти ничего не весит!

Кэрол отнесла Бернадетту в монастырь так быстро, как позволили подгибающиеся ноги. Оказавшись внутри, она задвинула засов двери и тяжело пошла на второй этаж, неся на руках Бернадетту.

Она принесла сестру Бернадетту Джайлин в ее комнату. У нее не было сил снова перетаскивать матрас через холл, и она положила ее навзничь на пружины кровати. Выпрямив тонкие ноги Бернадетты, Кэрол скрестила ей руки на окровавленной груди, поправила, как могла, разорванную одежду и накрыла покрывалом с головой.

Потом, глядя на это неподвижное тело под покрывалом, которое она помогала Бернадетте вышивать, Кэрол рухнула на колени и зарыдала. Она пыталась сказать успокоительную молитву, но потрясенный горем разум забыл слова. И она только рыдала в голос и спрашивала Бога, за что? Как мог Он допустить, чтобы такое случилось с милой, доброй и невинной душой, которая только и хотела, что всю жизнь провести в служении Ему? *За что?*

Но ответа не было.

Когда Кэрол смогла наконец справиться со слезами, она заставила себя встать, закрыть дверь Бернадетты и выйти в холл. Увидела свет в вестибюле и поняла, что так его оставлять нельзя. Она заторопилась вниз, переступила через неподвижное тело Мэри Маргарет под пропитанным кровью одеялом. Две насильственные смерти в доме, посвященном Богу. Сколько же их за этими дверями?

Она выключила свет, но не нашла в себе сил поднять Мэри Маргарет вверх. Оставив ее там, где она лежала, Кэрол в темноте поспешила к себе в комнату.

* * *

Когда отключилось электричество, Кэрол не знала.

Она понятия не имела, сколько простояла на коленях возле своей кровати, то рыдая, то молясь, а когда она глянула на электрические часы на ночном столике, циферблат был темен и пуст.

Хотя неважно, есть электричество или нет. Она все равно проводила ночь при свече. От нее остался только дюйм, но это тоже не подсказывало, сколько времени. Кто знает, как быстро сгорает свеча?

Был соблазн приподнять покрывало на окне и выглянуть, но Кэрол боялась того, что может увидеть.

"Сколько до рассвета?" — подумала она, протирая глаза. Ночь казалась бесконечной. Если только...

Где-то за запертой дверью раздался еле различимый скрип. Это могло быть что угодно — ветер на чердаке, проседание старого дома, но звук был долгий, протяжный, высокий. Почти как...

Открываемая дверь.

Кэрол застыла, все еще на коленях, все еще со сложенными в молитве руками, опираясь локтями на кровать, и прислушалась. Но звук не повторился. Вместо него другой — ритмичный шорох... в коридоре... приближается к двери...

Шаги.

Сердце заколотилось, будто желая выпрыгнуть из ребер; Кэрол вскочила на ноги и встала рядом с дверью, слушая, чуть не касаясь ухом дерева. Да, шаги. Медленные. И тихие, будто босыми ногами по полу. Сюда. Ближе. Уже за самой Дверью. Кэрол вдруг пробрало холодом, будто волна холодного воздуха пахнула сквозь дерево двери, но шаги не смолкли. Они прошли мимо двери, дальше...

И остановились.

Ухо Кэрол уже было прижато к двери. Она слышала грохот собственного пульса,

пытаясь различить другие звуки. И вот они появились, снова шорох в коридоре, сначала непонятно какой, и снова шаги.

Возвращаются.

На этот раз они остановились точно за дверью Кэрол. Снова тот же холод, сырой, пронизывающий до костей. Он заставил Кэрол попятиться.

И ручка повернулась. Медленно. Дверь скрипнула под тяжестью навалившегося с той стороны тела, но засов держал.

И голос. Хриплый. Шепотом. Единственное слово, еле слышное, но даже вопль не мог бы напугать Кэрол больше.

— *Кэрол?*

Кэрол не ответила — не могла.

— *Кэрол, это я! Берн! Впусти меня!*

Тихий стон вырвался из губ Кэрол помимо ее воли. Нет, нет, нет, это не может быть Бернадетта! Ее холодеющее тело Кэрол оставила на кровати в комнате на той стороне коридора. Это какая-то ужасная шутка...

Так ли? А не стала ли Бернадетта одной из них, из тех, кто убил ее?

Но голос — голос за дверью не был голосом бешеной твари. Это был...

— Пожалуйста,пусти меня, Кэрол. Я боюсь здесь одна. Может, Бернадетта все-таки жива? Мысли Кэрол замесались в поисках ответа.

Я же не врач. Я могла ошибиться. Она могла быть жива...

Она стояла, дрожа, разрываясь между отчаянным до боли желанием увидеть подругу живой и страшным опасением быть обманутым той тварью, в которую могла превратиться Бернадетта.

— *Кэрол?*

Если бы на двери был глазок или хотя бы цепочка, но ведь нет ни того ни другого, и что-то надо делать. Нельзя просто стоять, слушать этот жалобный голос и не сойти с ума. Она должна *узнать*... Не давая себе больше думать, Кэрол выдернула засов и распахнула дверь, готовая увидеть любое, что стоит там в коридоре.

— Бернадетта! — ахнула она.

Подруга стояла сразу за порогом, раскачиваясь и абсолютно голая.

Нет, не совсем. На ней еще был плат, хотя он и съехал набок, и полоска ткани обертывала шею, скрывая рану. В тусклом неверном свете свечи, падавшем из комнаты, Кэрол увидела, что кровь на груди смыта. Никогда еще она не видела Бернадетту раздетой, никогда не думала, что она так худа. Ребра ходили под кожей груди, исчезая лишь под подушечками маленьких грудей с приподнятыми сосками; по краям и внизу плоского живота выступали кости. Обычно светлая кожа была сейчас синевато-белой. Другими цветами были только темные озера глаз и оранжевые пятна волос на голове и на лобке.

— Кэрол, — прозвучал слабый голос, — зачем оставила ты меня?

От зрелища стоящей перед ней живой и говорящей Бернадетты силы покинули Кэрол, груз вины от слов подруги чуть не бросил ее на колени. Она прислонилась к дверной раме.

— Берн... — Голос отказал. Она с усилием проглотила слюну и попыталась начать снова. — Я... я думала, ты умерла. А где... где твоя одежда?

Бернадетта подняла руку к горлу.

— Разорвала рубашку на бинты. Можно мне войти?

* * *

Кэрол выпрямилась и распахнула дверь шире.

— Конечно, Боже мой! Зайди. Сядь. Я тебе дам одеяло. Бернадетта прошаркала в комнату, опустив глаза, глядя только на пол. Она была похожа на человека, опоенного наркотиком. Но после такой кровопотери вообще чудо, что она может ходить.

— Не надо одеяла, — сказала Берн. — Жарко. А тебе не жарко?

Она неуклюже опустилась на кровать Кэрол, потом подобрала ноги и села по-турецки, лицом к Кэрол. Про себя Кэрол объяснила тот факт, что Бернадетта так бесстыдно и небрежно себя выставляет, ее оглушенностью страшной травмой. Все равно это было неприятно.

Кэрол поглядела на распятие, висящее над кроватью над и позади Бернадетты. На миг, когда Бернадетта под ним уселась, ей показалось, что оно засветилось. Наверное, блик от свечи. Она повернулась и взяла из шкафа запасное одеяло, развернула его и обернула плечи и расставленные колени Бернадетты.

— Я хочу пить, Кэрол. Ты мне не дашь воды? Что-то странное было в ее голосе. Он звучал ниже, и хрипловато, но это естественно ожидать при травме горла. Нет, что-то было еще, но Кэрол не могла точно это уловить.

— Конечно, тебе же нужна жидкость. Много жидкости.

Туалет и ванная были всего за две двери от ее комнаты. Она подхватила кувшин, зажгла вторую свечу и оставила сидящую на кровати Бернадетту, похожую на индианку в шали.

Вернувшись с полным кувшином, она увидела пустую кровать. Но тут же заметила Бернадетту — у окна. Окно не было открыто, но драпировка из покрывала снята и штора поднята. Бернадетта стояла, глядя в ночь. Снова голая.

Кэрол поискала глазами одеяло и нашла. Оно висело на стене, над кроватью...

Закрывая распятие.

Половина сознания Кэрол вопила от страха, требуя бежать, бежать без оглядки, спрятаться. Но другая половина требовала остаться. Это ее подруга. С Бернадеттой случилось что-то ужасное, и теперь ей нужна помощь, нужна больше, чем когда-нибудь за всю ее жизнь. И если кто-то может помочь ей, то это Кэрол. И *только* Кэрол.

Она поставила кувшин на ночной столик.

— Бернадетта, — сказала она, и рот ее был сух, как бревна в этих старых стенах. — Одеяло...

— Мне было жарко, — ответила Бернадетта, не оборачиваясь.

— Я принесла тебе воды. Я налью...

— Потом выпью. Иди сюда и полюбуйся ночью.

— Я не хочу смотреть в ночь. Она меня пугает.

Бернадетта повернулась с неуловимой улыбкой на губах.

— Но темнота так прекрасна!

Она шагнула ближе, протянула руки к Кэрол, положила их ей на плечи и стала ласково разминать сведенные ужасом мышцы. Сладкое забытие потекло по телу Кэрол. Глаза стали закрываться... усталые... так давно она не спала...

Нет!

Она заставила себя поднять веки и сжала руки Бернадетты, отводя их от своих плеч. Зажала ее ладони между своими.

— Помолимся, Берн. Повторяй за мной: "Богородице, деве, радуйся..."

— Нет!

— "...благословенна ты..."

Лицо Бернадетты перекосилось злобой:

— Я сказала НЕТ, будь ты проклята! Кэрол старалась удержать руки Бернадетты в своих, но та была слишком сильна.

— "...в женах..."

Вдруг сопротивление Бернадетты стихло. Лицо ее успокоилось, глаза прояснились, даже голос изменился — остался хриплым, но стал выше, легче, и она подхватила слова молитвы.

— "И благословен плот чрева твоего..."

Бернадетта попыталась произнести следующее слово — и не могла. Она стиснула руки Кэрол почти до боли и разразилась потоком собственных слов.

— Кэрол, уходи! Ради любви Божией, уходи, беги! От меня уже мало осталось, и скоро

я буду как те, что меня убили, и я тогда убью тебя! Беги, Кэрол! Прячься! Запрись в часовне внизу, только беги от меня, скорее!

Кэрол теперь знала, чего недоставало в голосе Бернадетты — ирландского акцента. Но сейчас он вернулся. Она вернулась! Ее подруга, ее сестра вернулась! Кэрол подавила вскрип.

— Нет, Берн, я тебе помогу! Помогу! Бернадетта толкнула ее к двери.

— Никто мне уже не поможет, Кэрол! — Она рванула самодельный бинт на шее, обнажив глубокую рваную рану и висящие концы оборванных кровеносных сосудов. — Для меня уже поздно, для тебя еще нет. Они — создания зла, и я скоро буду одной из них, так что беги, пока...

Бернадетта вдруг застыла, и черты лица ее исказились. Кэрол сразу поняла, что короткая передышка, которую подруга тайком похитила у того ужаса, что овладел ее телом, окончена. Власть над Бернадеттой принадлежала уже не ей.

Кэрол повернулась и бросилась прочь.

Но чудовище-Бернадетта было поразительно быстрым. Кэрол не успела добраться до порога, когда стальные пальцы сомкнулись у нее на руке выше локтя и дернули обратно, чуть не вывихнув плечо. Она вскрикнула от страха и боли, перелетев через комнату. Она ударилась бедром о расшатанный табурет возле стола, опрокинула его и рухнула рядом.

Кэрол застонала от боли. Она затрясла головой, пытаясь прояснить сознание, и увидела, как приближается к ней Бернадетта; движения ее скованы, но более уверены, чем раньше, зубы оскалены — очень много зубов, и куда длиннее, чем у прежней Бернадетты, пальцы скрючены, тянутся к горлу Кэрол. С каждой секундой в ней оставалось все меньше и меньше от Бернадетты.

Кэрол попятилась, руки и ноги лихорадочно заскользили по полу, когда она уперлась в стену спиной. Бежать некуда. Она схватила табурет и выставила его перед собой как щит против чудовища-Бернадетты. Лицо, принадлежавшее когда-то ее любимой подруге, скривилось презрительно гримасой, когда она отбила табурет небрежным взмахом руки. От этого у табурета отлетели ножки, сломавшись, как спички, разлетевшись резными щепками. Второй удар разломил сиденье пополам. Третий и четвертый разбросали остатки в разные стороны комнаты.

Кэрол осталась беззащитной. Теперь она могла только молиться.

— "Отче Наш, иже еси на небеси..."

— Поздно, это уже не поможет, Кэрол! — зашипела Бернадетта, выплюнув ее имя.

— "...да святится имя Твое" — произнесла Кэрол, дрожа от страха, когда пальцы нежити сомкнулись на ее горле.

И тут чудовище-Бернадетта прислушалось и застыло. И Кэрол тоже слышала. Настойчивое постукивание. В окно. Чудовище обернулось посмотреть, и Кэрол за ней. В окно заглядывало чье-то лицо.

Кэрол заморгала, но оно не исчезло. Это же второй этаж! Как же?..

И тут же появилось второе лицо, только вниз головой, заглядывая сверху окна. И потом третье, четвертое, и каждое более зверское, чем предыдущее. И все они начинали стучать в стекло костяшками пальцев и ладонями.

— *Нет!* — крикнуло им чудовище-Бернадетта. — Нечего вам тут делать! Она моя! Никто ее не тронет, кроме меня!

Она обернулась к Кэрол и улыбнулась, показав зубы, которых никогда не было во рту у Бернадетты.

— Они не могут переступить порог, если их не пригласит кто-то, кто здесь живет. Я здесь живу — или жила когда-то. Но я не буду тобой делиться, Кэрол.

Кэрол глянула налево. До кровати всего несколько футов. А над ней завешенный одеялом крест. Если добраться...

Она не колебалась. Под бешеную барабанную дробь от окна она подобрала под себя ноги и прыгнула к кровати. Вскочила на ноги, вытягивая руку, хватаясь за одеяло...

Браслет ледяной плоти схватил ее за лодыжку и грубо дернул назад.

— Ну нет, сука, — произнес хриплый, без акцента, голос чудовища-Бернадетты. — Даже не думай!

Тварь захватила двумя горстями фланель рясы сзади и метнула Кэрол через комнату, будто монахиня была не тяжелее подушки. Кэрол ударилась спиной о стену, у нее отшибло дыхание. Послышался хруст ребер. Она свалилась среди обломков стула, весь правый бок пронзила боль. Комната плыла и кружилась. Но сквозь рев в ушах все еще звучала настойчивая барабанная дробь по стеклу.

Когда зрение прояснилось, Кэрол увидела обнаженное тело чудовища-Бернадетты, махавшей руками тварям в окне — скопище слюнявых пастей и стучащих пальцев.

— Смотрите! — прошипела она. — Смотрите на мой пир!

Тут она испустила длинный воющий вопль и бросилась на Кэрол, выставив вперед скрюченные руки, изогнув тело в полете. Вопль, стук в окно, лица за стеклом, любимая подруга, которая теперь хотела только ее растерзать — это вдруг стало для нее слишком. Она хотела откатиться, но не могла заставить шевелиться свое тело. Рука нащупала возле бедра обломок табурета. Инстинктивно она подтащила его ближе, закрыла глаза и отчаянно подняла обломок между собой и ужасом, летящим к ней по воздуху.

Удар прижал обломок сиденья к груди Кэрол; она застонала от электрического удара боли в ушибленных ребрах. Но победный жадный крик чудовища-Бернадетты резко оборвался булькающим кашлем.

Вдруг тяжесть свалилась с груди Кэрол, и обломок табурета вместе с ней.

И стук в окно стих.

Кэрол открыла глаза. Над ней стояло голое чудовище-Бернадетта, расставив ноги, держа перед собой сиденье табурета, кашляя и давясь, пытаясь оторвать его от себя.

Сначала Кэрол не поняла. Она подобрала ноги и отползла вдоль стены. И тут увидела, что произошло.

Три расколотых ножки, торчащих из сиденья, — и эти ножки глубоко вонзились в грудь чудовища-Бернадетты. Та бешено выкручивала сиденье, пытаясь вытащить дубовые, кинжалы, но только обломала их у самой кожи. Она отбросила обломок сиденья и закачалась, как дерево в бурю, рот ее судорожно кривился, а руки дергались возле бескровных ран между ребрами и тонких древесных кольев, за которые ей было уже не схватиться.

С глухим стуком она внезапно рухнула на колени. В нескольких дюймах от Кэрол она привстала на вывернутых ногах, мука ушла из ее лица, и глаза закрылись. Она упала головой вперед рядом с Кэрол.

Кэрол обхватила подругу руками, притянула к себе.

— Берн, Берн, Берн! — простонала она. — Прости меня, прости! Если бы я чуть раньше прибежала!

Веки Бернадетты задрожали и раскрылись, и темноты в глазах больше не было. Осталась только ее обычная небесная синева, ясная, чистая. Уголки губ дрогнули, но раскрылись только в половине улыбки, и Бернадетты не стало.

Кэрол прижала к себе обмякшее тело, застонала в необъятном горе и муке среди бесчувственных стен. Заглядывающие лица стали отползать от окна, и она крикнула им сквозь слезы:

— Бегите! Давайте! Бегите и прячьтесь! Скоро будет светло, и тогда я пойду искать вас! Всех вас! И горе тем, кого я найду!

Она долго плакала над телом Бернадетты. Потом завернула его в простыню и стала укачивать на руках мертвую подругу, пока не наступил рассвет.

На рассвете прежняя сестра Кэрол Хэнарти осталась в прошлом. Мирной души, счастливой днями и ночами служения Господу, молитвами и постом, преподаванием химии непослушным детям, соблюдением обетов бедности, целомудрия и послушания, больше не было.

Новая сестра Кэрол переплавилась в горне этой ночи и отлилась в женщину беспощадно мстительную и бесстрашную до отчаяния. И, быть может, призналась она себе

без стыда и сожаления, более чем малость безумную.

Она вышла из монастыря и начала охоту.

Томас Ф. Монтелеоне Репетиции

Доминик Кейзен брел в темноте, почти не сомневаясь: он здесь не один.

Догадка полоснула по сердцу, как бритва, когда он нашаривал выключатель. Где же эта хреновина? Панический страх захлестнул его, погнав к горлу горячую волну рвоты, но он овладел собой. Тут пальцы обнаружили выключатель.

И в одно мгновение возникло фойе, освещенное тусклыми светильниками.

Здесь не было ни души — как, впрочем, и во всем Барклаевском театре. Публика, актеры, технический персонал — все, кроме Доминика, — уже несколько часов как разошлись. И никому, кроме Доминика, не подобало здесь находиться. Дворник и ночной сторож "Барклайки", он привык к одиночеству честно сказать, оно было ему по душе. Но уже третью или четвертую ночь Доминик никак не мог избавиться от чувства, будто во тьме по огромному зданию рыщет кто-то. Кто-то чужой.

И даже не "кто-то", а "что-то". Тварь, стерегущая его, Доминика.

Работать в одиночку ему нравилось — он почти всю жизнь был один. Он ничего не имел против того, чтобы работать практически в полной темноте; в темноте — в духовной — прошла почти вся его жизнь.

Но это ощущение чужого присутствия начинало его беспокоить, более того, пугать. А Доминику очень не хотелось разочаровываться в "Барклайке". По сути, театр был его единственным домом, да и работа ему нравилась. Помогать рождаться театральному волшебству — это вам не хухры-мухры. Реквизит и костюмы, фантастический, но такой зримый мир декораций и задников... Иногда он специально приходил на работу пораньше, просто, чтобы понаблюдать за слаженно снующими, как пчелы, актерами и рабочими сцены, ощутить, как вновь начинает биться сердце волшебного мира.

Всю жизнь ему словно бы дышала в затылок какая-то тварь. Безмозглая тварь, олицетворение неудач и отчаяния. Как бы он ни старался, она всякий раз нагоняла его и сталкивала в хаос. "Неужели она опять идет по моему следу?" — спросил себя Доминик.

Сегодня. Сегодня она вновь попытается запугать его, заставить сбежать.

А он так устал, так устал убегать...

* * *

...Убегать от своих хрупких детских грез, от катастроф своего отрочества и незаладившейся зрелости. Отец твердил, что все люди на свете делятся на два сорта — Добытчиков и Лохов. По мнению отца, его сын принадлежал, безусловно, ко второй группе.

Сейчас, в тридцать два года, Доминик был вынужден признать: старик не ошибался. Его биография являла собой изодранное лоскутное одеяло, сотканное из мук и поражений. Отслужив в армии, он скитался по стране, хватаясь за любую работу, которая не требовала специальных навыков.

Отупляющая сезонная работа на нефтепромыслах в Лаббоке, в доках Билокси, на бирмингемских заводах. Десять лет прошлялся, как цыган. Как цыганский лох.

Когда-то, еще в юности, Доминик пытался доискаться, почему же все на свете всегда выходит ему боком. Внешностью его Бог не так чтоб обделил: густые черные волосы, ясные голубые глаза.

Да и голова у него работала. Раньше он читал массу комиксов и книг, а по субботам обязательно ходил в кино. Он даже спектакли иногда смотрел — в прежние времена, когда по телевизору шли прямые трансляции из театров.

Но после того, как он ушел из дома, ни разу ни оглянувшись, вся его жизнь покатилась

под откос. Промыкавшись десять лет, он задумался, не следует ли вернуться домой и начать все с нуля. Письму, извещавшему о смерти его отца, исполнилось к тому времени уже пять лет. На похороны Доминик не поехал. Даже не ответил матери на письмо — и теперь его мучила совесть.

Терзаемый смутными угрызениями, он уволился с буровой и поехал автостопом на Восточное побережье через Юг. Пересек Луизиану и Миссисипи, Алабаму и Джорджию.

Как-то вечером он сидел в придорожном баре где-то под Атлантой, пил кружками "Будвейзер" и смотрел, как сидящий рядом элегантный субчик пытается утопиться в сухом мартини. Как водится в барах, они разговорились. Немолодой и явно преуспевший в жизни, этот субчик выглядел белой вороной в придорожном шалмане.

Доминик упомянул, что едет домой, возвращается в город, где родился. Щеголь захохотал и заплетающимся языком обозвал Доминика "Томасом Вулфом". Доминик поинтересовался, кто это такой. "Неужели не помните? — удивился щеголь. — Это ведь он сказал "Домой возврата нет" и, чтобы это доказать, написал толстую, донельзя занудную книгу".

Что щеголь не просто так болтал языком, Доминик понял, лишь оказавшись на родине. То был крупный город на побережье Атлантики. За время отсутствия Доминика он страшно изменился. Памятные приметы местности точно сквозь землю провалились; улицы казались холодными, чужими.

Несколько дней он не решался вернуться в свой родной район, чтобы после долгой разлуки вновь встретиться с матерью. Набирался храбрости...

Но вот он созрел. Вышел к знакомому перекрестку. Нет, он не спутал адрес. Но дома своего не нашел.

Вся улица целиком — все беспорядочное, клаустрофобное скопление тесно прижавшихся друг к другу многоквартирных домов, коттеджей и одноэтажных магазинов — была стерта с лица земли. Программа реконструкции города обрушилась на квартал, смолола в порошок все кирпичи и известку, все до одного воспоминания.

На месте улицы высилось чудовищное здание — монолит из стекла, стали и железобетона с вывеской "Барклайский театр". Вначале Доминик возненавидел его, как оккупанта. Этот неуклюжий немой колосс не оставил камня на камне от его прошлого, занял место, где когда-то стоял крохотный домик Доминика. Похоже, этот самый Томас Вулф был не дурак.

Но поразмыслив, Доминик пришел к выводу, что это просто ирония судьбы. Это надо же, чтобы именно театр раздавил всю память Доминика о детстве и юности!

Обхохочешься.

После визита в родной квартал Доминик попытался разыскать мать, но так и не нашел. Она исчезла, и в каком-то смысле Доминик даже обрадовался. Уж очень ему не хотелось предстать перед ней человеком, у которого нет будущего — а теперь и прошлого. Невесть почему Доминик решил остаться в городе — поселился в христианской церкви, а на жизнь зарабатывал поденной работой.

Незаметно пришло лето. Доминик не обзавелся друзьями, не нашел постоянной работы, бросил разыскивать мать. Он читал библиотечные книги, ходил в кино на утренние сеансы и жил один, наедине со своими разбитыми мечтами. Иногда он прогуливался по своему прежнему району, словно надеясь хоть одним глазком увидеть свой дом. И всякий раз останавливался под одним и тем же фонарем, созерцая сверкающую тушу Барклайского театра.

Это здание чем-то влекло его — в запертой комнате его души просыпались давние мечты. Однажды, увидев в газете объявление: "Барклайский театр приглашает на работу ночного сторожа с выполнением обязанностей дворника", он бегом бросился на собеседование.

Его взяли с испытательным сроком, но Доминика это не смутило. Он старался вовремя приходить на работу и скрупулезно выполнять свои обязанности. День ото дня он

чувствовал, что в его сердце растет нежность к "Барклайке"; театр стал для него тихой гаванью, олицетворением покоя. В этом месте он мог ужиться со своими былыми грезами.

Когда его трудолюбие вознаградилось штатной должностью и прибавкой к зарплате, Доминик страшно обрадовался. Он стал приходить заранее и смотреть спектакли, выучил жаргон, на котором изъяснялись рабочие сцены, актеры и режиссеры. Театральные условности стали для него реальностью; он вслушивался сердцем в великие трагедии, смеялся над остроумными комедиями.

Но больше всего он любил поздний вечер, когда толпы рассеивались. Он шел в зрительный зал и, слушая, как потрескивают, остывая, лампы, размышлял о сегодняшнем спектакле — сравнивал его с другими, сопоставлял со своей версией смысла, вложенного в пьесу драматургом. Впервые в жизни он был счастлив.

Но вдруг что-то изменилось. Ощущение чужого присутствия таилось в каждом темном углу и все нарастало, нарастало...

...и сегодня он почувствовал, что больше не может терпеть. "Беги отсюда без оглядки", — звучал в его голове вкрадчивый голосок инстинкта самосохранения.

"Нет, — спокойно сказал он себе, — Больше никаких побегов. Завязываю".

Точно гигантский, занесенный кузнецом молот, над Домиником нависал балкон. Он прошел в партер и прислушался к темноте. Покатый проход между рядами вел вниз, к сцене. Занавес был поднят, драпировки — раздернуты, открывая взгляду декорации текущей постановки. Медленно толкая пылесос по толстой ковровой дорожке, Доминик отметил про себя, что в театре стоит всем сумракам сумрак. Светящаяся табличка "Выход" на дверь казалась тусклой и далекой.

Ряды кресел окружали его со всех сторон, точно притаившееся во мраке стадо округлых тварей.

Доминику почудилось, что он заперт в театре, как в склепе, в темной пустой гробнице. Он понял, что здесь есть кто-то еще. В его желудке точно кислота вскипела. Горло пересохло, как натертое мелом.

Он перевел взгляд с пустых кресел на сцену — и заметил: что-то не так. Что-то неладно.

Сейчас шел "Путь вашей жизни" Сарояна, и декорации изображали салун в Сан-Франциско под названием "У Ника". Но со вчерашнего дня эти декорации куда-то исчезли. Их вдруг взяли и заменили. Доминик знал, что такого просто не может быть — ведь "Путь" шел и сегодня, и пойдет завтра — однако, вглядываясь в сумрак, он отчетливо различал совсем иные декорации.

Подойдя поближе — и привыкнув к тусклому свету, источаемому указателями "Выход", — Доминик рассмотрел декорации в подробностях. То была убогая гостиная с серыми стенами. Сбоку — ниша, служащая кухней.

Уныло-зеленые кресла, укрытые кружевными накидками, коричневый диван в серебряную полоску, стеклянный журнальный столик, бар красного дерева, на котором стоял древний телевизор "Эмерсон" с крохотным экраном.

Неуютная, голая комната.

Знакомая комната.

Догадка вызвала у Доминика дрожь отвращения. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. НЕВЕРОЯТНО. Но он узнал комнату, узнал каждую вещь. Казалось, художник-постановщик ограбил его воспоминания — декорации в точности воспроизводили гостиную в доме его родителей. В доме, находившемся там, где теперь стоял театр. Разглядывая сцену с недоверчивым изумлением, Доминик обнаружил, что декорации ничуть не расплываются, чего следовало бы ждать от галлюцинации. Перед ним было нечто четко очерченное, плотное. Материальный объект, не искаженный линзой памяти.

Не раздумывая, он сделал еще несколько шагов вперед — и тут внезапно зажглись софиты. Декорации, выхваченные из пепельного сумрака, обрели цвет. В груди у Доминика странно заныло — казалось, проснулась старая рана. Многолетняя боль многочисленных

обид. Ему пришло в голову, что, возможно, кто-то решил сыграть с ним жестокую шутку, и он оглянулся на будку осветителя, расположенную над балконом. Но за стеклом было темно и пусто.

Скрипнула, открываясь, дверь. У Доминика сердце упало в пятки. Вновь обернувшись к сцене, он увидел, что из левой кулисы на подмостки вышла женщина в бирюзовом домашнем халате и бежевых шлепанцах.

У нее было круглое, одутловатое лицо и тусклые глазки-пуговицы. На плечах невидимым грузом лежала вечная усталость.

Доминик почувствовал, что на глазах у него выступают слезы, а горло перехватило. Остолбенев, он смотрел на свою мать.

— Мама! Ма, что ты здесь делаешь? Мама? Ау!

Но она его не слышала. Мать механически начала накрывать на стол. Бумажные салфетки, фаянсовые тарелки, дешевые вилки. Подбежав к самой сцене, Доминик закричал — но мать не обращала на него никакого внимания. Очевидно, она его не видела и не слышала — словно находилась в параллельном мире, словно сцена была отделена от зала зеркальным стеклом. Что за фигня?

Доминик пытался не сойти с ума в этой безумной ситуации, докопаться до смысла морока. А наваждение продолжалось. Дверь в дальней "стене" гостинной распахнулась, и на сцене появился отец Доминика.

При виде этого человека сердце Доминика словно бы сдавили в кулаке. Ведь отец умер! Однако же он стоял на пороге, ярко освещенный, весь в грязи и поту. Вызывающе набычившись, старикан злобно захлопнул за собой дверь. Он был одет в засаленные рабочие штаны и фланелевую ковбойку. В одной руке он держал помятый бидон с надписью "Кейзен", в котором брал с собой на работу обед, а в другой — вечернюю газету.

Оставив бидон на кухонном столе, отец Доминика быстро прошел к своему любимому креслу и развернул газету. Если он и обратил внимание на присутствие жены, Доминик проглядел этот момент. В сцене было что-то сюрреалистическое — она вселяла ощущение, будто у всего происходящего есть иной, потаенный, смысл. По предположению Доминика, это мог быть любой из вечеров за двадцать лет совместной жизни его родителей.

Доминик боролся с захлестнувшим его наплывом эмоций, пытаясь сосредоточиться на персонажах сцены. Его изумило, что мать оказалась дурнушкой — ничего общего с красавицей из его воспоминаний, а отец — куда меньше ростом. Где же его бывший грозный вид? Доминик вновь удостоверился, что выпуклая линза памяти извращает факты.

Дверь в левой кулисе внезапно распахнулась, и в комнату вошел хилый, болезненно худой мальчик лет девяти. У мальчика были оттопыренные уши, ясные голубые глаза и темные, прилизанные бриолином волосы. Доминик вновь остолбенел: в мальчике он узнал СЕБЯ. До этого ему и не приходило в голову, что в детстве он выглядел столь хрупким и странным; Доминик болезненно скривился, услышав высокий голос мальчугана:

Мальчик: Здравствуй, папа!

Держа под мышкой кипу альбомных листов, мальчик подошел к отцовскому креслу.

Мальчик: Гляди, что мы с Бизи хотим сделать!

Приветствие было встречено молчанием. Отец продолжал закрываться газетой.

Мать: Джозеф, мальчик с тобой разговаривает.

Отец: Что? Чего ему надо?

Мальчик: Смотри, папа! Мы с Бизи поставим спектакль! Со всех ребят будем брать по десять центов! (сует в руки отцу несколько листов бумаги) Вот я тут нарисовал... Гляди, вот это дом Белоснежки, а это...

Отец: Спектакль? Белоснежка?... Это которая в сказке?

Мальчик: Да, как в том мультике диснеевском, и...

Отец нехорошо рассмеялся.

Отец: Сказки? Сказки-пидоразки! (взмахивает рукой, разбросав рисунки по всей комнате) Это, сынок, дело не мужское! Пусть пидора спектакли ставят — или ты, малый,

пидором стать хочешь?

Мальчик: Пап, но это же хорошая сказка и...

Отец: Вот что, убери эту мутотень и чтоб я больше ничего такого не видел. И не слышал! Дуй лучше в футбол играть... а эти пидорские фокусы брось!

Доминик стоял у сцены. От происходящего у него гудела голова. Как ему запомнился этот вечер! Отец буквально втоптал его в грязь, и маленький Доминик отказался от игры в театр. В тот вечер он позволил умереть частице своей души.

Внезапная ярость охватила Доминика, когда он заставил себя вернуться в прошлое и припомнил, что случилось, когда он начал подбирать с пола рисунки.

На сцене его маленький двойник уже наклонился, потянувшись к разбросанным листочкам.

Подскочив к самой рампе, Доминик вскричал: "Берегись! Не подпускай его к ним... он их порвет!"

Тощий темноволосый мальчишка замер, окинул взглядом темный зал, словно прислушиваясь. Его родители, очевидно, ничего не слышали и вообще застыли так, точно время для них остановилось.

Мальчик (глядя в направлении Доминика) : Что вы сказали?

— Отец сейчас порвет твои рисунки... если ты ему не помешаешь, сказал Доминик. — Так что собери их сам, и поскорей. Потом скажи ему, что ты обо всем этом думаешь. Выскажи, что у тебя на душе.

Мальчик: Кто вы?

Глубоко сглотнув, Доминик заставил себя спокойно и внятно произнести:

— Ты сам знаешь, кто я...

Мальчик (улыбаясь) : Ага, вроде догадываюсь.

Вновь обернувшись к сцене, мальчик проворно собрал все свои рисунки, к которым уже тянулась огромная лапища его отца.

Мальчик: Нет! Не смей их трогать! Оставь меня в покое!

Отец (несколько шокированный словами мальчика) : И что же ты хочешь делать?. Прибабахнутым хочешь вырасти? Чем тебе бейсбол не потрафил? Небось слабо в бейсбол-то играть?

Прижав листочки к груди, мальчик замялся... отыскал глазами в темноте Доминика, после чего вновь уставился на отца. Мальчик тяжело дышал. Очевидно, ему было страшно, но в его позе чувствовалась какая-то новая сила. К его горлу подступали всхлипы, но он заставил себя четко выговаривать слова.

Мальчик: Да нет, бейсбол мне нравится. Но это вот мне нравится тоже. И... и плевать я хотел, если тебе это не нравится. Главное, чтобы мне самому нравилось! Только это и важно!

* * *

Мальчик выбежал из комнаты, унося рисунки. Отец некоторое время пялился на дверь, за которой скрылся сын, затем вернулся к своей газете, стараясь делать вид, будто эта краткая стычка его ничуть не смутила. Мать продолжала стоять у стола с поникшим, безрадостным лицом.

Софиты и огни рампы моментально погасли, и все погрузилось в сумрак. Доминик только глазами хлопал, наблюдая, как фигуры его родителей растворяются призраками в

темноте, тают, оплывают.

Еще одно мгновение — и родители исчезли. Декорации медленно стали превращаться в интерьер салуна "У Ника".

Сердце Доминика безмолвно вскрикнуло, но было уже слишком поздно. Видение — или как там его назвать — испарилось.

Бухнувшись в первое попавшееся кресло, он перевел дух. Потирая глаза, ощутил на лице тонкую пленку испарины. Сердце громко, нервно стучало. Что, за фигня с ним случилась?

Нет, он не спал — но чувствовал себя так, словно только что вышел из транса. Ясное дело: он сошел с ума — и все же четко сознавал, что произошедшее не было галлюцинацией. Иначе вся его прежняя жизнь тоже была кошмаром.

Как натурально все это смотрелось... Теперь потаенные механизмы, управлявшие жизнью его семьи, казались Доминику простыми, как дважды два. Он даже удивился, что в детстве не видел вещи такими, какими они были на самом деле. Или, может быть, все-таки видел...

Дети воспринимают жизнь на иной частоте, чем взрослые.

Дети еще не успели потратить массу времени на создание защитных механизмов и формулирование оправданий для всех мерзостей, происходящих в мире. Дети не подслащивают пилюли. Это позже мы начинаем сами себе вешать лапшу на уши.

Вскочив, Доминик обвел взглядом зал. Им завладело странное чувство: чудилось, будто он один остался в живых во всем мире. Он ощутил тотальное одиночество. И понял, что пора отсюда смываться. Хватит растравлять раны. Пора заглушить боль — разве не в этом смысл жизни?

Он вернулся в фойе и оттуда прошел по длинному коридору в свой кабинет. Погасил свет, запер дверь, направился к служебному входу. Поравнявшись с запасным выходом, он услышал за спиной шаги. Мгновенно обернулся — и увидел маленького, скрюченного негра с шваброй в руках.

— Вечер добрый, мистер Кейзен, — произнес негр.

— А, Сэм, здорово, — отозвался Доминик. — Ладно уж тебе надрываться. Спокойной ночи.

И вышел через запасной выход на автостоянку, а старый ночной сторож и дворник остался в здании один.

* * *

Наутро Доминик Кейзен почувствовал себя каким-то "другим", но объяснить себе это ощущение так и не смог. Свое вчерашнее приключение он забыл начисто, если не считать того, что в голове у него вертелось одно настырное сомнение. Должно быть, эту дикую мысль он вынес из увиденного во сне; тем не менее он решил кое-что уточнить.

По дороге в "Барклайку" он заглянул в мэрию и обратился в архив отдела городского планирования. Чиновники были радушны, как истинные бюрократы, но, потеряв часа два с лишним, Доминик выяснил кое-какие пикантные факты.

Вечером после спектакля Доминик, как обычно, вернулся к своим служебным обязанностям администратора сцены. Он должен был проверить, весь ли реквизит расставлен по своим местам для следующего спектакля, в порядке ли декорации; не исчезло ли из будки осветителя и звукорежиссера расписание шумов и световых эффектов. Все это Доминик делал неторопливо, выжидая, пока огромное здание опустеет. Затем прошел в зрительный зал и уселся в первом ряду партера. Театр был тих. Доминик закрыл глаза, глубоко задумавшись. Перед его мысленным взором стоял документ, найденный им в архиве: оказывается, на месте просцениума "Барклайки" когда-то находился дом его родителей, стоявший в самой середине квартала.

Доминик медленно поднял веки, держа в поле зрения сцену. И, точно по его

телепатическому приказу, софиты загорелись, ярко высвечивая один участок декорации за другим. На сей раз Доминик почувствовал не только страх, но и воодушевление, точно перед отъездом в долгожданное путешествие.

Подняв голову, Доминик увидел хорошо знакомую гостиную, согретую светом софитов...

Дверь открылась, и в комнату вошел отец. Он был в своей обычной рабочей одежде, с бидоном и вечерней газетой. Широкоплечий Джозеф Кейзен обычно был скор на шаг и буквально излучал энергию грубой силы, но сегодня он, как ни странно, понуро сутулился.

Отец: Луиза! Луиза, ты где?

Ему никто не откликнулся. Пожав плечами, отец уселся в свое любимое кресло. Начал было разворачивать газету, но тут же с раздражением швырнул ее на пол. В левой кулисе распахнулась дверь, и появилась мать-Доминика с кухонным полотенцем в руках.

Мать: Джозеф? Что это ты так рано?

Джозеф сердито зыркнул на нее, кривя рот. Но внезапно гнев оставил его. Стараясь не глядеть на жену, он с усилием заговорил.

Отец: Нас сегодня опять рассчитали... Прораб меня вконец достал. Он нам всем говорит: "Завтра утром пусть никто не приходит" Ну, я взял да ушел. Пусть им папа Карло дорабатывает!

Лицо матери исказилось в болезненной гримасе.

Мать: Как всегда! И опять перед самым Рождеством! Это не по-божески.

Отец; Надо поскорее куда-нибудь пристроиться. А то за свет будет нечем платить Вот только нигде сейчас не берут... ух, суки!

Мать подошла к отцу, положила руку ему на плечо

Мать: Ничего, раньше терпели, и сейчас как-нибудь перебьемся.

Джозеф, замотав головой, в сердцах хлопнул себя ладонью по бедру.

Отец: Эх, Луиза, какой я тебе муж?! Мужчина должен о своих заботиться! Мужчина должен семью содержать!

Раскрылась центральная дверь, и вошел подросток — юный Доминик. Под мышками — пачка книг и куртка.

Мальчик: Привет, ма... ой, папа, а что ты так рано пришел сегодня?

Отец (*пропуская вопрос мимо ушей*) : Где таскаешься?

Мальчик: У нас после уроков была репетиция. Только что кончилась. (*Матери*) : Ма, можно мне яблоко или чего-нибудь еще поест?

Отец: Ре-пе-ти-ция, говоришь? опять шпектакли?

Мальчик: Ну пап, ты же отлично знаешь, у нас в школе будет конкурс одноактных постановок, и я участвую как режиссер. Я эту пьесу сам написал, помнишь?

Отец, медленно покачав головой, раздраженно вытер губы, затем покосился на жену.

Отец: Я тут быюсь, как рыба об лед, чтобы семью прокормить, а он все пидорам пьески пишет!

Мать вновь прикоснулась к плечу Джозефа.

Мать: Джозеф, пожалуйста, не срывай на нем зло...

Мальчик: Вот именно, папа. Мы с тобой все это уже обсуждали, разве не помнишь?

Не говоря ни слова, отец Доминика вскочил с кресла и быстро, зло ударил подростка по лицу. Отлетев к стене, Доминик ударился головой и, шатаясь как пьяный, попятился в угол.

Отец: Что, еще хочешь? Еще получить хочешь? Умника из себя корчишь, щенок! С отцом так не разговаривают... смотри, не смей никогда больше!

Мать бросилась поддержать сына.

Мать: Зачем Ты его так сильно?

Отец: А ты не подходи к нему, поняла? Это я его еще пожалел, вполсилы бил! Ишь ты, отца не уважает. В его года пора работать идти, здоровый уже мужик вымахал. Пора семье помогать!

Подросток устремил на отца глаза, полные ужаса. На фоне Джозефа он выглядел совсем беспомощным, и однако же, овладев собой, заговорил.

Мальчик: Чего тебе от меня надо? Что я тебе плохого сделал?

Отец (издевательским тоном, жеманно бляя) : Мой милый, что тебе я сделала?

Ухмыльнувшись своей остроте, отец вновь занес руку над мальчиком просто так, чтобы заставить его поддаться.

Отец: Я тебе скажу, что ты сделал... ведешь себя не как мужик! Что, скажешь, не плохо? Но этому конец, С сегодняшнего дня ты у меня будешь мужчиной.

Мальчик: Что ты имеешь в виду?

Отец: Работать пойдешь.

Мальчик: Но я уже работаю...

Отец: Ха! Работа! Газетки разносить! Найдешь настоящую работу. Где деньги платят! Пора уже и помогать нам с матерью.

Мальчик: А как же школа?

Расхохотавшись, отец презрительно уставился на сына.

Отец: Школа? Ты уже здоровый мужик... хватит, выучился! Я сам прошел три класса, два коридора, и ничего! Или ты лучше меня?

Мальчик: Но, папа, я не хочу бросать школу. Мне нельзя сейчас бросать школу.

Отец: "Не могу"? "Не хочу"? Хочется-перехочется. Клал я на твои дела с прибором! Я тебе отец, и я за тебя решаю, что делать! Все равно в этой школе тебе только мозги всякой мурней задуривают...

Мальчик: Папа, я ушам своим не верю...

Отец: Закрой хлебало и слушай, а не-то опять получишь!

Доминик замер, как замороженный, с растущим гневом наблюдая это мерзкое зрелище. Теперь-то ему стала кристально ясна внутренняя механика его семейства. Доминик понял, что не позволит своему юному "я" подчиниться безумным идеям отца, этого забитого жизнью неудачника.

Не раздумывая, он вскочил и окликнул Доминика-младшего:

— Эй! Скажи ему, чтобы руки не распускал! И предупреди, что, если он еще раз попробует, ты ему не позволишь!

Как и в прошлый раз, ни отец, ни мать словно бы не услышали голоса Доминика. Но подросток среагировал молниеносно. Обернувшись к залу, он начал всматриваться в темноту.

Мальчик: Что вы сказали? Это опять вы?

— Да, — еле выговорил Доминик — у него перехватило горло. — Это я... а теперь повтори ему мои слова. Выскажи ему, что ты сейчас думаешь. Без обиняков.

Кивнув, мальчик вновь обернулся к отцу. В воздухе повисло огромное напряжение — так в сырую погоду чувствуется предвестие грозы.

Мальчик: Не смей меня больше бить.

Он стоял у стены, высоко держа голову, излучая новообретенную силу.

Отец: Чего-о?

Мальчик: Не смей меня бить. Ты не имеешь права. Я ничего плохого не сделал и мне надоело, что ты мне все какую-то вину навязываешь.

Отец: Захочу — выпорю, ясно!

Мальчик: Нет! Не выпорешь! Я тебе не дамся!

Ухмыльнувшись, отец переступил с ноги на ногу, опустив руки по бокам точно готовился к драке.

Отец: Футы-нуты! Или в тебе вдруг мужик проснулся? Долго же он спал!

Мальчик: Школу я не брошу. И ты меня не заставишь. У меня есть кое-какие планы на

дальнейшую жизнь, а если я брошу школу, они не осуществляются.

Отец, несколько опешив, молча воззрился на сына.

Мальчик: Я хочу кое-чего достигнуть в жизни... того, чего ты никогда не достигнешь.

Отец: Это еще что за паскудные намеки?

Мальчик: Папа, заруби себе на носу. Я не собираюсь отдуваться за чужую жизнь... я отвечаю только за свою. А за твою я и тем более не отвечаю. Я не могу прожить твою жизнь за тебя — но свою я проживу по-своему.

Отец (*растерянно*) : Слушай ты, засранец...

Мальчик: Нет, папа. По-моему, твоя очередь слушать. Попробуй меня выслушать хоть раз в жизни.

Повернувшись спиной, мальчик направился к центральной двери, взялся за ручку...

Мальчик: Пойду немного прогуляюсь.

И ушел со сцены. Отец так и остался стоять, онемевший, утративший власть над сыном.

Доминик опустился в кресло, а сцена меж тем моментально погрузилась в сумрак, персонажи и реквизит растворились в темноте.

В одно мгновение декорации исчезли. Все тело Доминика напряглось, в ушах у него стоял шум, похожий на рокот прибора. Он чувствовал себя так, словно только что пробудился от сна. Но Доминик знал: то был не сон.

Воспоминание?

Возможно. Но в этот момент, сидя во тьме, он обнаружил, что воспоминаний у него нет. А семейный скандал, только что разыгравшийся на его глазах, — лишь вырванный из контекста момент, нечто вечное, что испокон веков мотается по волнам времени. Событие, существующее вне времени.

"ДА ЧТО СО МНОЙ ТАКОЕ?" — этот мысленный вопрос разъедал Доминика, как концентрированная кислота, вселяя в него безотчетную панику. Встав с кресла, он понял, что надо срочно уходить. И направился к выходу из зала, приказав себе не оглядываться на темную сцену.

В освещенном фойе ему сразу полегчало. Страхи и безумные мысли отступали. Ничего. Надо просто вернуться домой. Зашагав к выходу, он услышал какой-то звук и замер. Щелчок дверной щеколды.

— Мистер Кейзен! — раздался знакомый голос. — Что это вы так припозднились?

Обернувшись, Доминик увидел, что у двери своего кабинета стоит Боб Игер, администратор "Барклайки".

— А, Боб, привет. Я тут... Так, кое-что повторял. Вот собираюсь уходить.

Игер с усмешкой погладил свою бороду.

— Нервы расшалились из-за премьеры, верно? Дело житейское.

Доминик неловко улыбнулся.

— Да, ничего нет хуже премьеры...

— А знаете, мистер Кейзен, вы сыграли отлично. Высший класс.

— Правда?

Игер с улыбкой кивнул.

— Хорошо, поверю вам на слово, — проговорил Доминик. — Ну что ж, двину-ка я домой. Доброй ночи.

Вернувшись в свой особняк, он обнаружил, что не может сомкнуть глаз. Его грызло ужасное ощущение, будто стряслась какая-то беда, будто что-то в его жизни поломалось, но что? С чашкой растворимого кофе он забрел в свой кабинет, где на огромном, заваленном всякой ерундой столе Ждали пишущая машинка и толстая рукопись.

Он сел за стол и решил вновь повозиться с пьесой, которую пытался писать. Каждый актер мнит себя драматургом, верно ведь? Мысли заметались в голове, и Доминик принялся печатать. Лег он в ту ночь совсем поздно.

На следующий вечер спектакль прошел лучше, чем вчерашняя премьера, но все равно казался еще сыроватым. Доминик играл Алана в "Лимонном небе" Уилсона. Режиссер был доволен созданным им образом, но Доминик знал — можно было бы и лучше. Давным-давно он понял на опыте, что недостаточно понравиться публике — важнее понравиться самом себе.

Он остался у себя в гримерке, предаваясь ничегонеделанию, выжидая, пока все разойдутся. Остальные актеры решили еще посидеть в их любимом бистро. Доминик вежливо отказался. Светская жизнь никуда не денется. Сегодня его, как магнитом, тянуло вернуться назад в театр, назад в эту темную пустоту, где добывается и пропадает прахом слава. Он и сам не понимал, что заставило его задержаться. Но его одолевали чувства, а точнее, воспоминания. Возможно, то были сны... или воспоминания о снах... Или...

Он и сам не понимал, что с ним такое, но отчетливо знал: ответ ждет его в сумраке зрительного зала.

Наконец народ рассосался, и Доминик, покинув гримерку, направился окольным путем в зал. Войдя со стороны фойе, он обнаружил, что никого не видно — даже Сэм куда-то запропал. И ни одного огня — только светящиеся зеленым надписи "ВЫХОД". Шагая по центральному проходу, он почувствовал себя как в заброшенном соборе. Темнота Сгущалась вокруг него, как густой туман, голова невесты от чего слегка кружилась. Окруженный со всех сторон бескрайним морем пустых кресел, он увидел за раздвинутым занавесом на сцене смутные очертания декораций — современного особняка в пригороде калифорнийского города Эль-Кахон.

И тут медленно, тихо потрескивая, софиты начали разогреваться... и сцена, озаренная внезапным светом, ожила. Темные силуэты вновь сменились объемным, полноцветным антуражем трудного детства.

Убогая гостиная, кухонька, истертые ковры, унылые шторы. Раскрылась центральная дверь, и появилась мать Доминика, одетая в простой костюм от хорошего портного. Ее посеребренные сединой волосы были завиты и уложены. Весь ее облик был исполнен строгой элегантности. Доминик, насколько ему помнилось, никогда не видел мать такой. Мать огляделась по сторонам, точно удивляясь, что дома никого нет.

Мать: Доминик, где ты? Доминик?

С озадаченным видом она закрыла за собой дверь. Вновь позвала сына по имени. Затем, обернувшись к рампе, нашла взглядом в зале Доминика, который, ошеломленно созерцал происходящее.

Мать: Ах, вот ты где. Иди сюда, Доминик! Иди ко мне...

Доминик удивился, но повиновался словам матери — безотчетно, точно во сне. В ситуации было что-то сюрреалистическое. Он интуитивно понял, что надо не сомневаться, а просто подыгрывать матери.

И он подыграл.

Забравшись на сцену, он ощутил на лице жаркие лучи софитов — и понял, что преодолел некий барьер.

Его охватило волшебное чувство, известное всякому актеру по моменту, когда занавес поднимается и ты выходишь на сцену... но к этому привычному ощущению примешивалось нечто совсем иное...

Доминик: А где папа? Его ведь там не было, правильно?

Мать (отводя глаза) : Нет, Доминик... Мне очень жаль. Не знаю даже, куда он подевался-. Вообще не приходил еще с работы.

Она замялась, поправляя кружевную накидку на диване. Затем вновь обернулась к сыну.

Мать: Но, Доминик, это было просто чудесно! Самый красивый спектакль в моей жизни! И ты замечательно играл! Как я тобой горжусь, мой мальчик!

Улыбнувшись, Доминик подошел к ней и обнял. И поймал себя на том, что не может припомнить, когда вот так обнимал мать. Открытые проявления чувств в его доме были

редкостью. Их чурались почти с ужасом.

Доминик: Спасибо, мама.

Мать: Я всегда знала: ты просто молодчина. Я всегда знала, что когда-нибудь буду тобой гордиться.

Доминик: Правда?

Отстранившись от матери, он заглянул, ей в глаза.

Доминик: Тогда почему ты мне никогда этого не говорила, когда я был маленьким? Когда я действительно в этом нуждался.

Мать, отвернувшись, уставилась на раковину.

Мать: Тебе не понять, Доминик. Ты не знаешь, сколько раз мне хотелось что-нибудь сказать, но...

Доминик: Но он не давал, верно? Господи, мама, неужели ты до такой степени его боялась? Как ты могла спокойно Стоять и смотреть, как он ломает жизнь твоему единственному сыну?

Мать: Не надо так говорить, Доминик. Я за тебя молилась, Доминик... Целыми ночами молилась, чтобы ты стал сильнее меня, чтобы ты дал ему отпор. Я делала все, что могла, Доминик...

Доминик: Мама, одних молитв мне было недостаточно... ну да ладно, Я понимаю. Извини, что я на тебя так ополчился.

Раздался скрежет ключа — должно быть, кто-то пытался попасть им в скважину. Громко, злое ще щелкнул замок. Дверь медленно распахнулась, и в проеме возникла привалившаяся к косяку фигура отца Доминика. Очевидно, он был пьян. Джозеф Кейзен ввалился в гостиную, не обращая внимания на жену и сына. Плюхнувшись в свое любимое кресло, он уставился куда-то в пространство.

Доминик: Где ты был?

Отец уставился на него со злостью, которую не смягчала даже ословелость взгляда.

Отец: А тебя это е...?

Доминик: Да. Ты мой отец. Сыновья за своих отцов обычно беспокоятся... или это тебе в новинку?

Отец (закашлявшись) : Ты мне это, не мудри! Ща токо встану, как врежу косточек не соберешь!

Доминик (с печальной улыбкой) : Ты знаешь какие-нибудь другие способы общения с людьми? Или все "врежу" да "врежу"?

Отец (хихикая) : Да что с тобой говорить! Ишь, учеными словами выражаешься... Хоть раз попробуй быть мужчиной!

Доминик: Папа, я так хотел, чтобы сегодня ты был в зале. И ты знал, что я хочу тебя там видеть — знал ведь?

Отец посмотрел на Доминика, и злоба в его глазах чуть-чуть рассеялась. Глядя себе под ноги, Джозеф Кейзен тихо проговорил.

Отец: Д-да... Я знал.

Доминик: Так почему же ты не пришел? Неужели это так уж приятно заползти в одну из тех помоек, что ты зовешь барами, и нажраться, как свинья? Ты, что, думал, что если напьешься, все это исчезнет? Что ты...

Отец: Заткнись! Заткнись, а то врежу!

Отец Доминика прикрыл уши руками, чтобы не слышать обидных слов.

Доминик: Нет уж. По-моему, ты больше никому не врежешь. Никогда.

Отец: Ишь как расхрабрился! Чудак на букву "М"!

Доминик: Ты со мной о храбрости не заговаривай. Почему ты сегодня не пришел на спектакль? На мой спектакль! Спектакль, в котором играет твой сын!

Отец: Ты это куда клонишь, а?

Доминик: Чего ты испугался, папа? Что тебя увидят твои дружки? Что они скажут: "Джо пошел на пидоров смотреть"?

Отец: Ха! Гля, сам признался!

Мать Доминика встала между мужчинами.

Мать: О Господи, поглядели бы вы на себя! Столько злобы... столько ненависти. Перестаньте, ради всего святого!..

Доминик: Ненависти? Нет, мама, ты не права. Любви особой я к нему не питаю, верно... но ненависть? Разница есть.

Отец (глядя на сына) : Да что ты понимаешь, сопляк?

Доминик: По-моему, в этом-то и состоит суть проблемы: любовь в нашем доме в дефиците. Ни капли любви. Ни капли тепла, ни капли любви.

Отец: Тьфу! Я тебе расскажу про любовь! Тридцать пять лет на твою мать работаю. Как папа Карло! Но зато она дома царствует и не ходит на работу, как у других мужей жены! Усек, паршивец?

Произнося каждое из этих слов, отец конвульсивно трясся. На опухшем багровом лице выступил пот.

Доминик: Папа, любовь проявляется не только в этом. Например, наши с тобой отношения... Когда я был маленьким, ты хоть раз подсаживался со мной поиграть? Рассказал мне хоть одну сказку? Пробовал меня рассмешить? А на рыбалку мы с тобой ходили? А змеи запускали? Хоть разочек?

Отец: Мужчина должен работать!

Доминик: Ты, значит, до такой степени любил свою работу?

Отец: Ты это куды клонишь?

Доминик: Ты работу любил больше, чем меня?

Отец (растерянно, со злостью) : Ты это... попусту не бзди!

Доминик: Слово "бздеть" здесь неуместно. Послушай, когда я был маленький, то много времени проводил один. Ведь братьев и сестер у меня не было. Иногда я нуждался в ком-то, кто направлял бы меня, учил.

Отец: Я вас бросил? Нет! Я в жизни не пришел домой позже восьми... у матери спроси! Я всегда был дома, каждый вечер!

Доминик (с печальной улыбкой) : — О да, твоя физическая оболочка присутствовала дома. Но в том, что касалось эмоций — тебя дома не было! Разве ты не понимаешь? Я помню, как подглядывал на улице за другими ребятами — как они гуляют со своими отцами и занимаются всякими разностями. Я помню, как жгуче я их НЕНАВИДЕЛ — потому что чувствовал себя обделенным. Это было куда побольнее твоего ремня, намного больше.

Отец, смолчал, уставившись на свои колени, на бессознательно сцепленные руки.

Мать: Доминик, не трогай его сейчас. Давайте кофейку выпьем, а потом...

Доминик: Нет, мама. Давайте дойдем до конца. Давайте все друг другу выскажем. К этому давно шло. *(Отцу) :* Послушай, папа... ты знаешь, что ты ни разу на моей памяти меня не хвалил и не подбадривал? Разве что приказывал заниматься всей этой фигней. "Настоящий мужчина..."!

Отец: Ты что называешь фигней?

Доминик: Помнишь ту дешевую гитару? Я ее купил на заработанные деньги, когда газеты разносил.

Отец: И чего?

Доминик: Но, бьюсь об заклад, ты забыл, как на меня тогда разорался. "Нам не по карману тебе учителя нанимать!" "Музыканты — все пидора!"

Отец: Что-то не припомню...

Доминик: Зато я помню. А когда я тебе сказал, что сам выучусь играть, ты расхохотался, помнишь?

Отец: Так-таки и расхохотался?

Доминик: Да. И мне не надо напрягаться, чтобы это вспомнить. Оно врезалось в мое сердце. Вся эта треклятая сцена.

Отец: Да слыхано ли, чтобы кто-то выучился музыке сам? Чушь собачья!

Доминик: Может быть... но я-то выучился, разве нет! И играл в группе до того вечера, когда поздно пришел домой с танцев, а ты поджидал меня в прихожей. Помнишь, папа? Помнишь, как разбил мою гитару об раковину?

Отец отвел глаза. Похоже, ему все-таки стало стыдно.

Доминик: Вот какая у меня была жизнь, папа; я занимался всякими интересными вещами НАПЕРЕКОР тому, что получал от тебя. Или лучше сказать, чего я от тебя не получал.

Отец: Брешь.

Доминик: Хотел бы я, чтобы это была брехня. Seriously, хотел бы. Но все это правда, папа. Чистая правда.

Отец: Да заткнешься ты, наконец?!

Доминик: Заткнусь. Когда все скажу. В чем проблема? Ты меня боишься, что ли? По-моему, тут-то и была зарыта собака с самого начала — тебе не нравилось, что твой ясноглазый мальчик интересуется миром?

Отец (*устало*) : Все чушь какую-то мелешь.

Доминик: Попробуем с другого конца. Ты боялся не только меня, но и всех вообще на свете. Всех, кого считал умнее себя, или образованнее, или богаче... всех их ты всегда старался обосрать, верно ведь?

Отец: Нет! Брешь!

Доминик: погоди! Я еще не все сказал. И вот, когда однажды утром ты проснулся и осознал, что твой чокнутый сын не вырастет мужланом с пивным брюхом, ты его бросил, верно?

Отец: Ты это куды клонишь?

Доминик: Я вот куда клоню: когда ты увидел, что твой собственный сын совсем не похож на тебя — но очень похож на всех тех, кого ты боишься и потому презираешь, — ты просто перестал быть отцом этому странному сыну.

Отец: Чего?

Доминик: Разве ты не знал, что я нуждаюсь лишь в крохотной капле одобрения? Капле любви?

Отец: Ты так толкуешь, будто тебе все ясно... думаешь, ты доктор какой-нибудь? Профессор кислых щей?!

Доминик (*улыбаясь*) : Нет. Не "профессор"... просто сын. И если мне еще не все ясно, я хотя бы пытаюсь разобраться. А ты даже не пробовал!

Отец, глядя на Доминика, попытался что-то сказать, но язык ему не повиновался. Его нижняя губа мелко тряслась от натуги.

Доминик: разве ты не понимаешь, зачем я все это говорю? Разве ты не понимаешь, что я пытаюсь всем этим сказать?

Отец быстро помотал головой. Из его уст вылетело односложное слово.

Отец: Нет...

Доминик: Мне больше ничего не приходит в голову. Не знаю уж, как тебе втолковать... остается лишь просто сказать тебе это, папа. Не знаю уж, почему, но после всех этих лет, после всех этих страданий, я знаю, что все равно тебя люблю. Не могу тебя не любить.

Сделав несколько шагов к отцу, Доминик заглянул ему в глаза, надеясь найти там хоть тень понимания.

Доминик: Я тебя люблю, папа.

(пауза)

И мне очень нужно услышать те же самые слова от тебя.

Надолго воцарилось молчание. Отец и сын встретились взглядом. Доминик чуть ли не кожей чувствовал огромное облако энергии, повисшее над сценой. Затем он увидел, что у отца на глазах выступили слезы.

Отец (*шагнув к сыну*) : Эх, Доминик...

Отец неуклюже обхватил его и крепко прижал к себе. Секунду Доминик сопротивился, но тут же расслабился, нежась в объятиях отца.

Отец: Сынок... что на нас такое нашло?

(пауза) Я... тебя люблю!

Я тебя люблю! Гад буду!

* * *

Осязая своей грудью могучую грудь отца, Доминик всеми фибрами души осознавал, какая это небывалая ситуация. Внезапно в ушах у него громко зашумело, и Доминик запаниковал, растерялся. Отцовские объятия ослабли, и Доминик, отстранившись, взглянул ему в лицо.

Доминик еле успел заметить, что софиты вдруг погасли, но в последнюю секунду перед тем, как воцарилась тьма, обнаружил, что отца подменили. На его месте стоял незнакомый человек.

Актер.

В рокочущем звуке послышалось что-то знакомое, и Доминик, обернувшись, поглядел в переполненный зал. Целое море людей. И все они, вскочив на ноги, бурно аплодировали. Тут опустился занавес, отрезав Доминика от зрителей, от потока восторгов.

Доминик и не заметил, как его товарищи по сцене — актеры, игравшие его родителей — подошли к нему с разных сторон и взяли за руки.

Софиты вновь загорелись. Занавес поднялся. Бурная овация набрала новую силу, и внезапно до Доминика дошло.

Тепло разлилось по его телу, и с чувством глубокой благодарности, благодарности неведомым силам, Доминик Кейзен вышел к рампе на поклоны.

Т. Е. Д. Клайн Сделай сам

Сладенькая, ты только послушай. Какая душещипательная история.

Журнал, вытащенный из середины стопки, пожелтел и пахнул плесенью. Херб облизал губы толстым языком, всмотрелся в страницу с загнутым уголком. "Дорогой мистер Почини! Этой весной в моей спальне на линолеуме появился круглый пузырь. А когда установилась теплая погода, он начал расти как на дрожжах. Мой муж, у которого и так слабое здоровье, вчера споткнулся об него и чуть не упал. Что это, какой-нибудь грибок? Как я смогу избавиться от этого пузыря, не снимая линолеум? Мы не можем позволить себе перестилать пол и очень надеемся на вашу помощь". Подпись: "Встревоженная".

— Меня ее тревога не удивляет, — ответила Ирис окутанная ароматами лимонного масла и пчелиного воска. Она полировала старый столик и у нее чуть сбилось дыхание. — Кому охота делить ванную с поганками?

— Не волнуйся, мистер Почини держит ситуацию под контролем. "Дорогая Встревоженная! Похоже на то, что между линолеумом и досками попала влага. Зачастую причина тому — сырой подвал. Просверлите отверстие в полу, в которое и уйдет скопившаяся под линолеумом вода, а потом загерметизируйте этот участок мастикой или креозотом". — Херб потер подбородок. — Не так уж это и сложно.

— Только не в этом доме.

— Не понял.

— У нас нет подвала, помнишь? Тебе бы пришлось ложиться на живот и заползать под дом, в эту грязь.

— А ведь ты права! Удовольствие маленькое. — Живот Херба затрясся от смеха. — Слава Богу, ванная у нас новая.

Собственно, ванная, чистенькая, недавно выложенная плиткой, и стала одной из

основных причин, по которым они купили этот дом. Херб любил подолгу стоять под душем, а Ирис, у которой в отличие от первой жены Херба не нашлось времени на рождение детей, обожала полежать в ванне.

В остальном же дом требовал ремонта. Сливы прогнулись, в окна дуло, а если бы они захотели жить в доме не только летом, но и круглый год, пришлось бы менять древнюю печь, которую топили углем. Со временем возникла бы необходимость добавить несколько комнат. В настоящее время жилым был только один этаж, а чердак прежние хозяева завалили сломанной мебелью, старыми матрасами, какими-то баулами. Кем они были, так и осталось тайной. Ни Херб, ни Ирис не сомневались, что в этом доме уже много лет никто не жил, хотя риэлтерша утверждала обратное.

Оба, конечно, хотели купить что-нибудь получше: все-таки судьба свела их, когда значительная часть жизни осталась позади. Но алименты, которые выплачивал Херб, и неожиданный штраф, наложенный в апреле Департаментом налогов и сборов, заставил их поумерить аппетиты. Кроме того, они получили три акра леса, звезды, которые не могли видеть в городе, и кваканье лягушек, обитавших на соседнем болоте. Рядом с домом стояли сарай и гараж, переделанный из амбара, а расчищенный участок земли на опушке леса, заросший мхом и поганками, риэлтерша упорно называла огородом. Зато здесь они были вдвоем и принадлежали друг другу. А когда кто-то из приятелей спросил Херба, сможет ли он отремонтировать дом, тот небрежно отмахнулся: "Я смогу выписать чек, а остальное не так уж и важно".

Откровенно говоря, он лелеял мысли о том, что все сделает своими руками, хотя последний раз брал в руки молоток лишь в средней школе на уроках труда. Почему-то Херб не сомневался, что несколько тщательно подобранных руководств по ремонту дома и короткие курсы "Этот старый дом" позволят ему обойтись без посторонней помощи. Если уж для создания собственного "гнездышка" ему предстояло овладеть навыками плотника, маляра, сантехника, значит, он станет мастером на все руки.

И судьба, похоже, пошла ему навстречу. Среди наследства, оставленного прежними хозяевами, обнаружили полки со старыми журналами.

В общем-то не такими и старыми, конца семидесятых годов, но повышенная влажность добавила им годков, и выглядели они так, словно вышли в свет лет на двадцать раньше. Ирис хотела сразу их выбросить.

— Они такие противные. — Ирис сморщила носик. — И пахнут плесенью. Лучше мы используем полки под книги, которые купим на распродаже.

Но Херб не хотел этого слышать.

— В деревенском доме они просто необходимы. Ты посмотри, что это за журналы: "Домашний мастеровой", "Практичный садовод", "Овощи без удобрений", "Бережем здоровье". Отличное чтиво в дождливый день.

К счастью для Херба, в этой части света дождливых дней хватало. И после трех месяцев, проведенных в доме, ему стало ясно, что читать, к примеру, колонку мистера Почини, которая имела место быть в каждом номере журнала "Домашний мастеровой", куда увлекательнее, чем что-то делать по дому. Ему ужасно нравилось покупать инструменты, часть гаража он превратил в мастерскую. Но когда инструменты замерли на крюках, вбитых в стены, и появилось место для работы, энтузиазма у Херба сразу поубавилось.

Более того, их обоих одолела лень, может, причиной этому стала сырость. Лето выдалось очень уж дождливым. Количество выпавших осадков побило все рекорды. "Газета скидок", которую они каждую неделю доставали из почтового ящика, расплзалась в руках. Страницы купонной книжки, которую купила Ирис, слиплись между собой. Долларовые купюры в бумажнике Херба давно уже не хрустели. Вот и сегодня тяжелые облака предвещали грозовые дожди Херб отложил "Мастерового" и провел вторую половину дня, уткнувшись в "Кухню загородного дома". Ирис не удалось превратить приставной столик, который она притащила с чердака, в предмет старины, поэтому она убрала воск и ретировалась в спальню вздремнуть часок-другой.

Когда она проснулась, уже начало темнеть. Облака полностью затянули небо, но дождь так и не пошел. Несмотря на то что вторую половину дня они ничего не делали, на готовку сил не осталось. Поэтому они пообедали при свечах в придорожном ресторанчике, который находился в нескольких милях от их дома. Выпили по маленькой, пожелав друг другу здоровья.

Дом встретил их холодом, в воздухе стояла сырость. Им уже пришлось купить шерстяные подстилки, которые укладывались на матрасы, чтобы простыни не впитывали влагу. В этот вечер, чтобы изгнать сырость, Херб решил разжечь камин. Перед тем как занести дрова в дом, он внимательно осматривал каждое полено, чтобы соскочивший с него паук или какое-то другое насекомое не проникло за порог. Ему вспомнилась строчка из "Практичного садовода" насчет того, что надо постоянно остерегаться появления "насекомых-паразитов на персиковом дереве и гусениц на бутонах роз".

А потом его вновь увлек "Домашний мастеровой". Журналы он просматривал уже не одну неделю, начав с тех экземпляров, которые лежали в самом низу, и поднимался все выше и выше. И пока Ирис, лежавшая на диване, зевала над очередным женским романом, Херб увлеченно читал о том, как обеспечить безопасность дровяной печи, построить внутренний дворик и, хотя и знал, что уж этим заниматься ему точно не придется, откачать воду из затопленного подвала.

Он вытащил из стопки очередной журнал, не столь пожелтевший, как остальные.

— Любопытное письмо, — нарушил Херб тишину. — От человека, который не мог выкорчевать пень у своего дома. Мистер Почини рекомендует как можно быстрее избавиться от пня, а не то в нем поселятся термиты. — Херб покачал головой. — Господи, да в деревенском доме нельзя терять бдительность ни на секунду. А вот еще одно, от человека, который построил трубу, пропускающую дым. — Он хохотнул. — Вот болван. Дым у него идет не на улицу, а на чердак. — Херб задумчиво оглядел камин, но его вроде бы построили по всем правилам. Поленья весело трещали, дым уходил куда следовало. Херб вернулся к журналу. — Какой-то парень спрашивает, как вывести пятна с бетонного пола. Мистер Почини рекомендует смесь на основе винного камня и какой-то "щавелевой кислоты"... Слушай, а вот еще одно письмо от той же женщины. "Дорогой мистер Почини! Совет, который вы нам дали, насчет того как избавиться от пузыря на линолеуме с помощью отверстия, просверленного в потолке подвала, нам не пригодился. Подвала у нас нет, а под дом ни я, ни мой муж залезть не можем. Пузыри."

Ирис оторвалась от книги.

— Вроде бы вначале пузырь был один.

— Ты же знаешь, дорогая, как бывает с этими пузырями. — Перед его мысленным взором возникла Ирис, но лежащая не на диване, а в ванне. Сегодня их нет, а завтра — есть. — Он дождался ее улыбки, прежде чем перевел взгляд на колонку мистера Почини. — "Пузыри увеличиваются в размерах, от них уже идет неприятный запах. Что же нам делать?" Подпись: "По-прежнему встревоженная", — Бедная женщина. — Ирис потянулась. — Ты же не думаешь, что это радон, не так ли?

— Нет. Мистер Почини говорит, что, возможно, мы имеем дело с "досковой водянкой". — Херб поежился. Не понравилось ему это словосочетание. — "Вам нужно думать о сохранении уже не линолеума, а пола. Просверлите по центру каждого пузыря по два отверстия и осторожно закачайте в одно из них раствор, состоящий из равных долей пищевой соды, уайт-спирита и ванильного экстракта. Если результата не будет, я настоятельно рекомендую обратиться к специалисту".

— Вот это ей следовало сделать в первую очередь. — Ирис зевнула. Хотелось бы знать, чем все закончилось.

— Мне тоже, — кивнул Херб. — Давай посмотрим, может, будет и продолжение.

Он пролистал еще несколько журналов "Домашнего мастерового". Мистер Почини советовал, что надо делать, если течет труба, плохо качается вода из колодца, перекашивается крыльцо. О пузырях на линолеуме речь больше не шла. Херб услышал, как заскрипел диван:

Ирис улеглась на спину. Книжка упала на ковер. Глаза закрылись, рот, наоборот, чуть приоткрылся. Наблюдая, как в свете камина мерно опускается и поднимается живот жены, Хербу вдруг стало очень одиноко.

По крыше забарабанил дождь. Обычно этот звук его успокаивал, сегодня нервировал. Он вдруг представил себе, как земля вокруг дома пропитывается водой и превращается в болото, в котором может завестись всякая гадость. Главное, он это знал, позаботиться о том, чтобы черный пол дома находился выше уровня земли, иначе дерево начнет гнить. Конечно, зазор, пусть и небольшой, между черным полом и землей защищал от влаги. Но он пожалел о том, что в доме нет подвала.

Тихонько, на цыпочках, чтобы не разбудить жену, он прошел в ванную, где все еще приятно пахло краской и лаком. Пристально всмотрелся в пол. Встревожился, когда заметил крошечную трещинку между двумя плитками. Но освещение оставляло желать лучшего, так что трещинка, возможно, была там с самого начала.

Когда он вернулся в гостиную, огонь в камине уже угасал. Он бы подбросил несколько полешек, но побоялся разбудить Ирис. Уселся на ковер рядом со стопкой журналов и вновь принялся просматривать "Домашнего мастера", вплоть до последнего номера, полученного прежними хозяевами дома тремя годами раньше. Новых писем от Встревоженной Херб не нашел, но не мог сказать, разочаровал его сей факт или обрадовал. Скорее обрадовал, решил он. Значит, все разрешилось к всеобщему удовольствию.

Стопку "Домашнего мастера" он заменил менее пожелтевшим и не столь толстым "Современным здоровьем". И этот журнал, естественно, не обошелся без колонки советов, которую вел доктор Забота. Протечки крыши уступили место герпесу на губах и мозолям на пятках, треснувшая штукатурка и прогнившие доски — сенной лихорадке и облысению.

"У меня ужасно распух большой палец правой ноги", — с оттенком гордости начиналось одно письмо. "У меня грыжа, которую никто не хочет лечить", — прочитал Херб в другом. Читатели жаловались на бородавки, боли в пояснице, кашель. Собственное тело, что дом, подумал Херб. И тут надо постоянно быть начеку. Рано или поздно что-то даст слабину, и начнется гниение. "Дорогой мистер Забота! — прочитал Херб на странице с загнутым уголком. — Нас с мужем совершенно замучила какая-то сыпь. От нее кожа идет красными пятнами. Может, это какой-то грибок? Ничего не чешется, не болит, но по центру пятен появляются какие-то странные наросты". Написала письмо "Прикованная к постели".

Все эти письма о поломках и болезнях нагоняли тоску, а при упоминании постели Херб, почувствовал жуткую усталость. Камин практически потух. Глянув на ответ доктора — тот советовал не отчаиваться, побольше бывать на свежем воздухе и увеличить в рационе долю свежих овощей и фруктов, — Херб поднялся. Из другой комнаты донесся скрип дерева, словно и дом отходил ко сну.

Ирис тихонько посапывала на диване. Выглядела она такой умиротворенной, что Хербу очень не хотелось ее будить. Но он знал, что она снова быстро заснет: бессонницей они не страдали. Звук дождя уже не будоражил Херба.

— Сладенькая, — прошептал он. — Пора баиньки.

Подошел к дивану, наклонился над Ирис, откинул со лба прядь волос, нежно поцеловал в щеку, розовую в свете догорающих углей.

Чет Уильямсон **Избранные места из "Анналов Нового Зодиака"** **и дневников Генри Уотсона Фэрфакса**

От автора

Название "Зодиак" носил нью-йоркский клуб гурманов, основанный в 1868 году и насчитывавший, согласно уставу, двенадцать членов. К "Зодиак" принадлежали величайшие светские львы Нью-Йорка, сливки общества. Известно, что за счет клуба было опубликовано как минимум два тома анналов "Зодиака", запечатлевших драгоценные подробности его

заседаний.

18 сентября 20... г.

Вчера перед сном прочел в газете одну статью. Автор уверял, что в корне всех пресловутых отвратительных деяний, совершаемых как детьми, так и взрослыми, лежит дефицит учтивости и миролюбия в обществе. Не могу не согласиться.

Последние десятилетия минувшего века были отмечены глубоким упадком учтивости, да и наше, новое столетие, не обещает возврата к былой утонченности манер. Со всех сторон нас осаждает вульгарная реклама. Пресса описывает все события при помощи военной терминологии — как "битвы", "войны" и "зачистки", — и даже я порой ловлю себя на том, что срываюсь на нынешний эрзац-язык.

Припоминаю (с глубоким раскаянием) свое выступление на совете директоров нашей компьютерной компании — было это не далее чем вчера. А именно я заявил, что мы не имеем права успокаиваться, пока не раздавим в лепешку компанию Тома Чэмберса — ибо, кроме нее, буквально никто не преграждает нам путь к юридически законной монополии на сетевые серверы. Наше состояние я в точности описал метафорой "горстка плохо вооруженных бойцов", в то же самое время отметив, что ключ к победе в войне — храбрость и смекалка, и объявил о своей готовности бросить в бой свежие наличные деньги из капитала других компаний Фэрфакса. Далее я приравнял Чэмберса к дьяволу, описав его как главу империи зла, которая не успокоится, пока не завладеет всеми компьютерами мира.

Безусловно, май высказывания были правдивы — но не могу не стыдиться употребленных мной гневных гипербол, которые, несомненно, заставили бы краснеть и моих предков. В течение ста пятидесяти лет Фэрфаксы осуществляли свои многочисленные предприятия с хладнокровием и сдержанностью, и теперь мне чудятся горестные упреки теней минувшего — моего отца, деда и прадеда, — обвиняющих меня в измене традициям.

А посему, дабы искупить вину, я планирую учредить — точнее, возобновить — традицию, которая, насколько мне известно, долго пребывала в забвении. Надеюсь, с ее помощью практическая деятельность как минимум дюжины деловых людей — включая вашего покорного слугу и его основных конкурентов — вскоре проникнется духом миролюбия и учтивости...

Конституция

Статья 1. Настоящему Клубу присваивается наименование "Новый Зодиак". Он будет устроен по образцу первого "Зодиака", клуба гурманов, основанного в 1868 году.

Статья 2. В Клубе будет двенадцать членов, также называемых "Знаками", каждому из которых, согласно коллегиальному решению клуба, будет присвоено имя одного из знаков Зодиака. При обращении к членам настоящего Клуба следует использовать исключительно эти имена.

Статья 3. Обеды-заседания "Нового Зодиака" назначаются на последнюю субботу каждого месяца. Место встречи избирает хозяин обеда, также именуемый "Окормителем". Он же берет на себя все заботы по приготовлению обеда, цена же обеда будет разделена поровну между всеми Знаками. Вина и прочие спиртные напитки оплачивает сам Окормитель.

Члены-основатели

Водолей..... М-р Фрэнк Рейнольдс
Рыбы..... М-р Тодд Арнольд
Овен..... М-р Джефф Конделли

Телец..... М-р Ричард Рэнк
Близнецы..... М-р Томас Чэмберс
Рак..... М-р Эдвард Девор
Лев..... М-р Джон Торнтон
Дева..... М-р Кларк Тейлор
Весы..... М-р Брюс Левин
Скорпион..... М-р Кэри Блэк
Стрелец..... М-р Дэвид Уолш
Козерог..... М-р Генри Фэрфакс

25 ноября

Боюсь, что при отборе членов-основателей "Нового Зодиака" я совершил ряд промахов. Лишь Эд Девор и Джон Торнтон, подобно мне, происходят из старых аристократических семейств, остальные же — выскочки. Сила первого "Зодиака", по всей вероятности, зиждилась на том, что все Знаки принадлежали к нью-йоркскому обществу в те времена, когда слово "общество" пока еще что-то значило. В истории "Зодиака" оставили свой след такие блестящие фигуры, как оба Дж. П. Моргана — Старший и Младший — а также преподобный Генри Ван-Дайк, Джозеф Х. Чоут и Джон Уильям Дэвис (оба посланники в Сент-Джеймском дворце), сенатор Нельсон У. Олдрич и многие другие состоятельные, обладавшие огромной властью и, самое главное, чувством собственного достоинства люди, знавшие, как важно быть учтивым. Заботясь о демократичности клуба, я отбирал людей исключительно по принципу наибольшего богатства и влияния, надеясь преподавать учтивость тем, кто в ней наиболее нуждается, — в том числе и вашему покорному слуге.

Однако первое заседание прошло не совсем так, как я предполагал, несмотря на все мои усилия следовать, насколько это возможно в наше время, подлинному меню самого первого обеда первоначального "Зодиака", имевшего место быть 29 февраля 1868 года...

Протокол первого заседания "Нового Зодиака"

*Нью — Йорк, "Хогтон клуб".
24 ноября 20... года*

Присутствуют все Знаки. Окормитель — брат Козерог.

Меню

Устрицы ~ Седло барашка
Потаж а-ля-Багратион ~ Арико-вер
Буше а-ля-Рейн ~ Салат-латук-о-фромаж
Террапэ а-ля-Мэриленд ~ Пуден глясе
Сюпрем-де-волейль ~ Пирожные
Спаржа ~ Фрукты
Пунш по-римски ~ Кофе

Вина

Крюг 1982 г
Лафит 1969 г.
Шамбертэн 1947 г.
Старый бренди 1895 г.

* * *

Брат Близнецы предложил избрать брата Козерога, которому принадлежит честь учреждения этой серии обедов, секретарем клуба "Новый Зодиак". Кандидатура была одобрена единогласно, после чего брат Близнецы заметил, что дополнительные обязанности, вероятно, будут отнимать у брата Козерога много времени, так что он, дословно, "перестанет совать свой с...и нос в мой бизнес". Заявление встречено дружным доброжелательным смехом. Брат Козерог согласился вступить в должность.

Обед, по-видимому, имел успех, хотя брату Овену пришлось напомнить, что в своих сотоварищей-Знаков не принято бросаться фруктами. "Мы же в конце концов называемся "Новый Зодиак", а не "Клуб трутней", — заметил брат Козерог.

— "Клуб трутней"? Что за хрень такая? — переспросил брат Овен и, получив соответствующие разъяснения, отметил, что никогда не слышал о П. Г. Вудхаузе. Со словами "а пошел он на х... этот Мудхауз", он швырнул ягоду клубники и, что немало развлекло собравшихся, попал брату Козерогу в левый глаз.

Возник вопрос, кто из собравшихся вызовется взять на себя роль окормителя на следующий месяц. Эту роль решил взять на себя брат Близнецы, получив заверения в форме честного слова каждого из Знаков, что все происходящее на обедах останется абсолютно конфиденциальным. Брат Близнецы, со своей стороны, также дал клятву, заявив, что в следующем месяце он "закатит Знакам настоящий пир, какого еще ни один миллиардер не видал, — мы ж это давно, б... заслужили. И все сегодняшнее вам г...м покажется — я вам не такие редкости заготовлю".

Брат Близнецы поинтересовался у брата Козерога, не одолжит ли тот ему два тома анналов изначального "Зодиака", чтобы он мог позаимствовать там идеи для меню. Брат Козерог охотно согласился.

Под конец вечера братья Телец, Весы и Рак поведали собравшимся несколько смешных историй об афро-американцах, а братья Дева и Стрелец ряд фривольных анекдотов о дамах, входивших в штат подотчетных им учреждений.

Заседание закрыто.

Секретарь Козерог.

...Большинство вело себя с отменной вульгарностью. Признаюсь, я ничуть не удивился, когда даже Эд Делор подхватил тему этнических анекдотов. Он давно уже относится к чернокожим предвзято — в особенности с того момента, когда его компании запретили вести какую бы то ни было деятельность в ЮАР стране, где та целый век получала высокие доходы. Что же касается Джона Торнтона, он покамест не опускался до идиотизма, проявленного большинством остальных, но, по моим впечатлениям, ждал лишь подходящего случая, чтобы дать себе волю. Полагаю, что на следующем же обеде он поведет себя весьма развязно.

По крайней мере они были более или менее любезны друг с другом — для начала неплохо. Даже Конделли после моей реприманды перестал швыряться едой — разумеется, я не беру в расчет ту гордую клубничку, призванную доказать, что мои миллиарды ничуть не влиятельнее его миллиардов. Возможно, со временем они остепенятся. Есть также надежда, что, занявшись подготовкой обеда, Чэмберс на время отвлечется от дел своей компании, и нам удастся отвоевать у него часть рынков. Однако интересно, чем же он собрался нас удивить...

Заседание второе

Штат Орегон, Портленд, "Медиа-башня"
29 декабря 20... года.

Присутствуют все Знаки. Окормитель — Близнецы.

Меню

Устрицы ~ Суфле-о-эпинар
Потаж-крем-де-орж-реганс ~ Яблоки "Монт-де-Ор"
Тимбаль-де-краб ~ Медальон де фуа-гра
Мясо в нарукавниках А-ля-Помпадур ~ Салат "Арлезианский"
Яичница-глазунья "Виргинская-Чемпионская" ~ Спаржа в голландском соусе
Шампанское ~ Омлет-норвегьен

Вина

Монастырская сливовая наливка 1894 г.
"Мозт-Шандон" 1969 г.
"Шато-Латур" 1957 г.
"Мусиньи" 1954 г.
"Отель-де-Пари"
Мадера "Синяя трубка"
Рейнская мадера "Холмс" 1879 г.
Коньяк "Наполеон" 1890 г.

* * *

Это пышное пиршество, как сообщил нам брат Близнецы, почти в точности воссоздавало обед, данный в 1925 году Дж. П. Морганом: отличались лишь года вин, а также сорта мяса, использованного для приготовления двух блюд. Подробности он обещал сообщить после.

Также, подражая щедрости Дж. П. Моргана, брат Близнецы устлал стол, за которым восседали Знаки, льняной скатертью венецианской работы, на которой были вышиты все знаки Зодиака, — точной копией дара Моргана первому "Зодиаку".

При всем великолепии пищи (а также обстановки, в которой она была вкушаема, ибо брат Близнецы принял своих гостей в своем только что достроенном особняке с видом на Тихий океан) вина и ликеры были еще чудеснее. И лишь после того как всякий из Знаков продегустировал все представленные на столе напитки и взбодрился несравненным коньяком, брат Близнецы открыл нам секретные ингредиенты "Мяса в нарукавниках а-ля-Помпадур" и "Яичницы-глазуньи "Виргинская-Чемпионская"". Морган-младший потчевал своих гостей "Голубиным мясом в горшочке а-ля-Помпадур" и "Яичницей а-ля-Поль-и-Виргиния", и все Знаки с немалым любопытством пытались разгадать секрет вариантов, придуманных братом Близнецы.

Разгадка тайны была срежиссирована в неповторимо оригинальном стиле брата Близнецы. А именно по одному слову из уст последнего столовая превратилась в мультимедийный зал для презентаций. Повинуясь устройствам распознавания речи, с потолка спустились экраны, свет потух, и брат Близнецы объявил, что, хотя он берет на себя стоимость вин и прочих напитков (четверть миллиона долларов с хвостиком; цена вполне сходная, уверил он, с учетом того, как мало времени было отведено его сотрудникам на их приобретение), с каждого из Знаков за обед причитается восемьсот пятьдесят тысяч долларов.

Когда же Знаки испустили изумленный вздох, брат Близнецы поинтересовался у брата Козерога стоимостью предыдущего обеда, который был оплачен последним единолично, и узнал, что она составляла семнадцать тысяч долларов, не считая вин. Брат Близнецы признал, что между семнадцатью тысячами и десятью с гаком миллионами долларов есть

определенная разница, но (пояснил он) его братья-Знаки поймут все сами, когда узнают, что именно вкушали.

Засим началась презентация — фильм, в котором с помощью документальных видеосъемок и фотографий были детально отображены все этапы производства и приготовления мяса. Части фильма носили названия: "Откорм", "Скотный рынок", "Забой" и, наконец, "Приготовление блюд". Многие сцены фильма отличались наглядностью и откровенностью, не совсем соответствующей вкусам некоторых Знаков — в том числе вашего покорного слуги секретаря. Брату Раку и брату Весы обед и вина не пошли впровод: они извергли все содержимое своих желудков в шелковые мешочки на пластиковой подкладке, заботливо заготовленные предусмотрительным хозяином.

Однако все остались на своих местах, а после видеопрезентации, выслушав красноречивую и вполне логичную апологию брата Близицы в поддержку и защиту избранных им блюд, почти все Знаки согласились с ним и обещали прислать чеки, покрывающие соответствующую долю расходов.

Следующим окормителем был назначен брат Овен, уверивший своих братьев-Знаков, что продолжит традицию, которой положил начало брат Близицы.

На этом заседание было закрыто.

Секретарь Козерог.

... "Мясо в нарукавниках". Эд Девор и Джон Торнтон, мои старинные друзья, хохотали (Боже, даже не верится!) над этой зловещей метафорой. Возможно, это извращение чувства юмора — симптом наследственного размягчения мозгов (практика узкородственного размножения не проходит даром для аристократии Новой Англии). Правда, вначале Девора, как и Левина, вырвало, но, полагаю, тому виной были не сведения о происхождении съеденного ими мяса, а всего лишь визуальные аспекты презентации. Зрелище умерщвления быка на бойне наверняка вызвало бы у них не менее сильную тошноту — здесь же речь шла о человеке.

О, эти омерзительные каламбуры Чэмберса: "Мясо в нарукавниках", "Яичница-глазунья "Виргинская-чемпионская"! "Яичница-глазунья" — намек на ингредиенты, а Кевин Дюпре, работавший в компании Чэмберса младшим менеджером по закупкам, в школе действительно победил на олимпиаде штата Виргиния по орфографии. Мы узнали это из его резюме, продемонстрированного на экране.

А в какие ужасные подробности углубился Чэмберс, чтобы провести параллели с откормом и покупкой скота! Нам продемонстрировали Дюпре на этапе "откорма" — на работе и в кругу семьи; нам показали душераздирающую сцену "на скотном рынке"; Чэмберс лично предложил выплатить семье бедняги десять миллионов долларов за то, что последний навсегда исчезнет; мы увидели, как до Дюпре медленно доходит, что теперь он принадлежит Чэмберсу душой и телом, а в случае отказа его и всю семью ожидает полный крах, причем не только финансовый, ибо большие деньги — залог всеобщего.

Во время сцены забоя я весь похолодел и чуть не лишился жизни вместе с несчастным Дюпре; затем мы увидели, как мясо готовят и раскладывают по тарелкам и — самые жестокие кадры — как мы сами его поедаем (последнее было отснято скрытыми камерами всего час назад и тут же смонтировано людьми Чэмберса).

К концу фильма одни из Знаков позеленели, другие ерзали на месте, а третьи ухмылялись, как мальчишки, попавшиеся на воровстве сластей. Но стоило Чэмберсу заговорить, как на их лицах появилось совсем иное выражение. Этот субъект порой сквернословит, как рабочий с конвейера, но если ситуация того требует, он способен превзойти в изысканном красноречии самого дьявола. Он говорил, что все мы, все двенадцать, — подлинные лидеры нашей страны, новые повелители мира, а наши служащие, от самых скромных, остающихся для нас незримыми, до менеджеров высшего звена, работающих с нами бок о бок, не что иное, как предметы потребления, сырье, которое следует покупать, продавать и

использовать, сообразуясь исключительно с необходимостью. "Наш ум, прозорливость и энергия, — заявил он, — дают нам власть обогащать, разорять... или пожирать, если мы того желаем".

И, помилуй меня Боже, я никаким образом не мог бы втолковать остальным, что Чэмберс не прав. Он уже доказал свою правоту. Он совратил их — как моих друзей, так и моих конкурентов. Я буквально чувствовал, как крутятся шестеренки в их головах, изобретающих способы затмить пир Чэмберса. В следующем месяце окормителем будет Конделли; судя по всему, он без ума от радости. Мое желание содействовать распространению учтивости дало начало совершенно противоположному процессу, и ума не приложу, как мне остановить его. Честь заставляет меня хранить молчание — и одновременно довести до конца то, что я затеял. Я готов осуществить свой замысел незамедлительно, но в случае, если это окажется невозможным, в запасе у меня почти год до того дня, когда мне вновь выпадет черед быть окормителем... А за год много воды утечет...

Заседание третье

Штат Мэриленд, Балтимор, имение "Гавани"
6 января 20... года

Присутствуют все Знаки. Окормитель — Овен.

Меню

Куриный бульон
Карликовые баклажаны
Жареная нога Анри Баррашка в мятном соусе

27 января

...Баррашк был у Конделли директором европейского филиала. Вначале я предположил, что он пожертвовал свою ногу и выжил, поскольку стоимость обеда была куда ниже, чем в случае с Чэмберсом, но мои источники сообщают, что Анри Баррашк бесследно исчез.

Такой шаг — открытый вызов остальным Знакам. Баррашк играл не последнюю роль в успехах заморских предприятий Конделли. Складывается впечатление, будто Конделли хотели этим сказать: "Любой может поступиться анонимным офисным трутнем, но я способен на истинные жертвы!"

Заседание четвертое

Штат Техас, Даллас, ранчо "Двойное Р"
23 февраля 20... года

Присутствуют все Знаки. Окормитель — Телец.

Меню

Свиные колбаски
"Еврейские стряпчие"
Буровики, фаршированные перцем чили
Сыр (ой) "Первызам"
Горячие куриные крылышки

Картофель по-техасски

24 февраля

...мало того что Рэнк не пожалел двух руководителей своих оффшорных нефтепромыслов в Латинской Америке. Но какая же это глупость — самому себе вонзить нож в грудь, пустив своего первого зама по сбыту на бифштексы исключительно ради сомнительного созвучия "первый зам" — "пармезан". И, самое ужасное, он расправился со всеми своими юристами, приготовив из них всего лишь закуску. Конечно, он всегда может нанять новых, но все же его поведение граничит с безумием...

Заседание пятое

Штат Массачусетс, Бостон, "Девор-хаус"
30 марта 20... года

Присутствуют все Знаки. Окормитель — Рак

Меню

Черная икра
Динд-соваж-роти
Пари-о-маррон
Потаж-велюте-Шантильи
Желе-д-Эрелль
Жареные грудки
Минди в соусе "Нотэн"

31 марта

...приятное возвращение к истинным пиршествам после злосчастного техасского барбекю у Рэнка. Однако же Девор поднял дело на новую высоту или же опустился до невиданных доселе низостей. Возможно, он предположил, что может превзойти Рэнка лишь в том случае, если его жертва будет иметь отношение не только к бизнесу. Не сомневаюсь, он любил Минди. Она семь лет была его содержанкой. В психологическом плане для человека и его фирмы подобная утрата опаснее, чем потеря служащих, и, как не укрылось от моего пронизательного взгляда, Девор тяжело переживает кончину Минди. Интересно, что станет с его фирмой в ближайшие несколько месяцев? После прошлого обеда корпорация Рэнка как-то вдруг перестала расти. Возможно, после того как будет решена проблема Чэмберса, я попытаюсь взять измором "Рэнк-индастриз"...

Заседание седьмое

Молочный генеральный менеджер...

Заседание девятое

Медальоны "Совет директоров"...

Заседание одиннадцатое

Отец под шубой...

Заседание двенадцатое

Штат Флорида, Майами, "Тейлор-хаус"
30 ноября 20... года

Присутствуют все Знаки. Окормитель — Дева.

Меню

Уитр
Салат "Ницца"
Потаж-"борш полонез"
Веточная спаржа в соусе "муслен"
Бульон из молоденькой телочки
Бомб-Альгамбра
Сладкие хлебцы
Пти-пуа-о-бер
Барон-д-агно-Боарне
Помм-нуазетт

Вина

"Крюг" 1978 г.
"Шато-Латур" 1946 г., магнум
"Кло-де-Вожео" 1948 г.
Рейнская мадера 1886 г.
Коньяк "Наполеон" 1873 г.

* * *

В этот вечер большинство Знаков пребывали в печальном расположении духа, несмотря на великолепные яства, приготовленные братом Девой. Да и сам брат Дева был несколько мрачен (вероятно, в связи с злоключениями в делах, постигшими почти всех братьев по "Новому Зодиаку", а также, по-видимому, из-за некоторых ингредиентов бульона); однако по мере дегустации вин и прочих напитков общее настроение начало меняться в сторону улучшения.

Некоторые Знаки шутливо поддразнивали брата Близнецы, имея в виду успешное насильственное поглощение его компании корпорацией брата Козерога. Последний возразил, что юридическая терминология не отражает истинного положения дел, так что он лично относится к брату Близнецы без малейшей вражды и надеется, что брат Близнецы ответит ему такой же доброжелательностью. В завершение своей речи брат Козерог заверил брата Близнецы, что для последнего всегда найдется место за этим столом, невзирая ни на какие капризы фортуны.

Поскольку с первого заседания "Нового Зодиака" истек целый год, брату Козерогу вновь выпал черед взять на себя роль окормителя. Он заявил, что приглашает всех братьев Знаков на обед, который даст в следующем месяце.

Засим заседание закрывается.

Секретарь Козерог.

1 декабря

...свою родную дочь. Они превратились в чудовищ, но заплатили за это вопиющую цену. Даже если ты суров и бессердечен, нельзя ничего не

почувствовать, когда на стол подают твоё детище, твою плоть и кровь.

Твой "бизнес" тоже не может уцелеть, когда от занятий делами тебя отвлекает совесть, когда ты сам пробиваешь зияющие бреши в своей корпоративной структуре, забывая на мясо тех, кто выстроил это здание.

Недолго же простоит здание, когда уцелевшие служащие получают информацию о случившемся из сообщений по электронной почте, которые, будучи прочитанными, бесследно стираются из памяти сетевых серверов "Фэрфакс-Технолоджи", используемых ныне повсеместно.

9 декабря

Всем Знакам, кроме одного, пришел крах. Они стали жертвами собственного голода и appetitов, которые пробудил этот голод. Благодаря конфиденциальной информации об их неприятностях, которой я располагаю, мне было легко скупить и проглотить их. Сегодня утром пал последний бастион.

Итак, фирмы Знаков "Нового Зодиака" можно считать поглощенными.

Протокол тринадцатого и последнего заседания клуба "Новый Зодиак"

Нью-Йорк, "Фэрфакс-клуб".

28 декабря 20... года

Присутствуют все Знаки. Окормитель — Козерог. Отсутствуют на своих местах Водолей, Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец

Меню

Закуски а-ля-Водолей ~ Пельмени "Стрелецкие"

Рыбный суп ~ Котлетки телецкие

Паштет "Близнецы" ~ Грудки "Девственные"

Жаркое из мяса льва в мятном соусе ~ Тушеные скорпионы

Салат "Весы" ~ Седло Овна

Раки в сметане

Вина

"Пол-Роджер" сухое 1956 г.

"Шато-Латур" 1947 г.

Мадера "Тихнер" 1868 г.

"Кафе-Англе" 1854 г.

* * *

Послеобеденная беседа продлилась недолго. Брат Козерог заметил, что иногда единственным средством против неучтивости в обществе может быть лишь насильственное удаление неучтивых элементов. Против этого замечания никто не возражал.

После краткой паузы брат Козерог предложил упразднить клуб "Новый Зодиак" в связи с недостаточным количеством членов. Решение было одобрено большинством голосов ("За" — один голос, "Против" — ни одного).

Поскольку брат Козерог трапезовал в одиночестве, он вызвался оплатить полную стоимость обеда. Возражений не было.

Другие Знаки учтиво отправились наслаждаться миром и покоем.

На этом заседание было закрыто.

Рэмси Кемпбелл Забава

Когда Шоум обнаружил, что он уже в Уэстингси, он различал только мелькавшие перед глазами обрывки дороги, извивающиеся, как гадюки, под хлынувшим ливнем. Бульвар, где он видел пенсионеров, вывезенных на колясках за ранней дозой солнечного света, и туристов с рюкзаками, набитых в вагоны, которые повезут их к Озерам, махал отдельными деревьям, которые казались слишком юными, чтобы выходить одним к серому морю, несущему сотни пенных гребней. Сквозь шум помех и шипение ветрового щитка местная радиостанция советовала водителям не выезжать сегодня на дорогу, и он чувствовал, что ему предлагают шанс. Сняв номер, он сможет позвонить Рут. В конце бульвара он объехал вокруг старого каменного солдата, вымокшего почти дочерна, и поехал вдоль приморских отелей.

Вид был довольно неприветливый. Знак перед самым большим и белым отелем говорил НЕТ, явно потеряв терпение перед тем, как осветить второе слово. Шоун свернул в первую узкую улочку меблированных комнат, из тех безликих, где он останавливался с родителями почти пятьдесят лет назад, но таблички в окнах были столь же негостеприимны. На улицах, которые, как он помнил, состояли из малых отелей, было меньше зданий, и все это были дома престарелых. Пришлось опустить окно, чтобы прочесть знаки на той стороне дороги, и когда он их прочел, правый бок у него уже промок. Ему нужна была комната — сил на возвращение в Лондон не хватит. Через полчаса он выедет на шоссе, около которого ему обязательно надо найти отель. Но он только достиг окраины города и притормозил на развилке, когда увидел руки, закрепляющие объявление в окне трехэтажного дома.

Он прищурился в зеркало, чтобы проверить, что не стоит ни у кого на дороге, потом опустил стекло на дюйм. Объявление либо упало, либо его сняли, но стоянка в конце короткой дорожки была не занята, и над высокой толстой слезящейся стеной висел знак, на котором кусты изо всех сил старались скрыть слово "ОТЕЛЬ". Он зарулил между столбами ворот и чуть не зацепил правую стену здания.

Через окно мало что можно было различить. Слой сетчатых занавесей, а может, и не один, защищал комнату от посторонних взглядов. За тяжелыми сиреневыми шторами, прилипавшими к влажному стеклу, внезапно погас свет. Шоун схватил сумку с заднего сиденья и выскочил на открытую веранду.

Дождь лил все время, пока он давил на медный звонок рядом с высокой дверью. Кнопки в нем уже не было, осталось только гнездо с грязной крестовиной, пружинившей с той же яростью, с которой давил на нее палец. Он не успел взяться за ржавый дверной молоток над нейтральной гримасой щели для писем, когда раздался голос женщины — то ли приветствие, то ли предупреждение — распахнувшей дверь:

— Здесь кто-то есть.

Ей было за семьдесят, но одета она была в платье, которому не удавалось прикрыть пятнистые поганки коленей. Она согнулась, будто вес обвисшего горла тянул вниз ее лицо, такое же белое, как и волосы.

— Вы — "забава"? — спросила она.

У нее за спиной коридор и два роста Шоуна, оклеенный темными обоями с тисненными лозами, чем-то напоминавшими артерии, вел к главной лестнице, исчезавшей на верхнем этаже. Рядом с женщиной стоял длинноногий стол, заваленный смятыми проспектами местных аттракционов; над ним висел на стенке таксофон без номера на диске. Шоун пытался сообразить, действительно ли это отель, когда его огородил этот вопрос.

— Я — кто?

— Не беспокойтесь, комната вас ждет. — Она хмуро посмотрела ему за спину и встряхнула головой, как мокрая собака. — И обед с завтраком ждут всякого, кто успокоит вот этих.

Он решил, что это относится еще к той ссоре, которая началась или возобновилась в комнате, где уже зажегся заново свет, погашенный на его глазах. Потеряв счет ссорам, с которыми ему приходилось иметь дело в детском саду в Хэрни, где он работал, он не видел, почему здесь должно быть иначе.

— Попробуюсь, — сказал он и пошел в комнату.

Комнату, несмотря на ее размер, заполняли всего две женщины — одна, дышавшая так глубоко, как широко было ее розовое платье; она пыталась подняться из кресла с помощью узловатой палки и рухнула обратно, покраснев, и ее компаньонка, тощая женщина в жакете от темно-синего костюма и юбке от серого, которая суетливо отходила от выключателя полистать страницы телевизионного журнала перед тем, как быстрее белки из мультфильма в телевизоре начать дергать шнур бархатных занавесов, каковое действие, как решил Шоун, должно было убрать извещение из окна, что бы оно ни значило. Обе женщины были точно не моложе той, что ему открыла, но он не дал этому факту себя обескуражить.

— В чем проблема? — спросил он, и тут же вынужден был добавить: — Я не слышу, когда вы говорите обе сразу.

— Свет мне в глаза бьет, — пожаловалась женщина в кресле, хотя из шести лампочек в люстре одна перегорела, а другая отсутствовала. — Юнити все время его зажигает, когда я смотрю.

— Амелия весь день смотрит свои мультики, — ответила Юнити, ткнув в телевизор и начав постукивать пальцами по креслу. — А я хочу посмотреть, что в мире делается.

— Не дать ли нам теперь Юнити посмотреть новости, Амелия? Если это не то, что вы любите смотреть, вы не будете возражать против включенного света.

Юнити посмотрела на него злобно, а потом зарылась у себя в декольте в поисках предмета, которым в него запустила. Успев его перехватить, он определил, что это пульт от телевизора. Юнити бросилась у него этот пульт выхватывать, и когда появился диктор с войной у него за спиной, Шоун отступил. Он еще задержался, закрывая дверь, пока пытался решить, чем скрыты пейзажи на стене — туманом или пылью, когда человек у него за спиной буркнул:

— Выходите быстрее и закройте дверь!

Он был слишком тощим для своего костюма, серого, под цвет редким волосам. Несмотря на озабоченный взгляд красноватых глаз и постоянное пожимание плечами, будто в попытках избавиться от дрожи, он сумел выдавить улыбку в достаточной степени, чтобы показать часть зубов.

— Ну-ну, Даф сказала, что вы с ними разберетесь, и так оно и вышло. Можете остаться, — сказал он.

Среди вопросов, которые Шоун пытался решить, был и тот, почему этот человек кажется ему знакомым, но порыв дождя такой сильный, что полилось из-под входной двери, сделал предложение человека неотразимым.

— Вы имеете в виду на ночь?

— Это как минимум, — начал свою речь менеджер и повернулся к сторбленной женщине. — Даф проведет вас наверх, мистер?..

— Шоун.

— Как его зовут? — спросила Даф, будто собираясь его объявить.

— Том Шоун, — ответил Шоун.

— Мистер Томсон?

— Том Шоун. Том — это имя.

— Мистер Том Томсон.

Он мог бы заподозрить шутку, если бы не ее серьезнейший вид, и потому он обратился к менеджеру.

— Мне расписаться?

— Позже, не берите в голову, — ответил менеджер, отступая по коридору.

— А плата...

— Комната и стол. Условия всегда такие.

— То есть вы хотите, чтобы я...

— Устраивайтесь, — сказал менеджер и исчез за лестницей куда-то, откуда пахло неизбежным обедом.

Шоун почувствовал, что сумку сняли у него с плеча. Даф избавила его от груза и шагала по лестнице, то и дело поглядывая, идет ли он за ней.

— Он навсегда куда-то ушел, мистер Снелл, — сказала она и повторила: — Мистер Снелл.

Шоун подумал, не приглашение ли это ответить шуткой, но тут она сказала:

— Не беспокойтесь, мы знаем, каково это — забыть свое имя.

Она сказала, что это он путает, а не она. Если бы она не скрылась из виду, ответ его был бы так же резок, как нахлобучка воспитанникам, которые слишком ребячатся. Над средним этажом лестница склонялась к фасаду дома, и Шоун увидел, как неожиданно далеко зашло здесь запустение. Наверное, в этой части дома никто не жил, потому что коридор был темен и наполнен затхлым запахом. Взявшись за перила для скорости, он тут же понял, что по липкости они мало чем уступают обсосанному леденцу. Добравшись до верхнего этажа, он разозлился, обнаружив, что запыхался.

Дафна остановилась в конце коридора, освещенного — если такое слово подходит — редкими лампочками в стеклянных цветах, растущих из стен. Тени подчеркивали жилы обоев.

— Вот тут будете вы, — сказала Даф, толкая дверь.

Рядом с окошком под желтеющей лампочкой потолок уходил вниз почти до ковра, коричневого как грязь. Углом стояла узкая кровать напротив гардероба и ночного столика и умывальника под мутным зеркалом. По крайней мере на полочке возле умывальника был телефон. Даф отдала ему сумку, когда он вошел в комнату.

— Вас позовут, когда настанет время, — объяснила она.

— Время? Время...

—обеда и веселья, тупица! — сказала она с таким резким смехом, что уши вздрогнули.

Она уже прошла полкоридора до лестницы, когда он решил к ней обратиться.

— А ключ мне не полагается?

— Он будет у мистера Снелла. Мистера Снелла, — напомнила она и ушла.

Надо будет позвонить Рут, как только он высохнет и переоденется. Где-нибудь здесь должен быть туалет. Он закинул сумку на плечо, придерживая пальцем, и вышел в сумрак коридора. Не успел он пройти пару шагов, как над краем пола высунулась голова Даф.

— Вы нас не покидайте.

Дурость, но он почувствовал свою вину.

— Только в туалет схожу.

— Это там, куда вы идете, — сказала она достаточно твердо, чтобы это была команда, а не совет, и тут же исчезла в дыре лестницы.

Не может быть, чтобы она имела в виду соседнюю комнату. Когда ему удалось уговорить липкую пластиковую ручку повернуться, он увидел за дверью комнату, очень похожую на его собственную, только окно было в покатой крыше. На кровати в сумерках, уже переходящих в темень, сидела фигура в голубом детском комбинезоне — плюшевый медведь с большими черными рваными глазами, а может, без них. Кровать следующей комнаты была усыпана фотографиями такими размытыми, что едва можно было разглядеть улыбки на каждой из них. В следующей комнате кто-то было вязал, но, видно, отвлекся, поскольку один рукав розовато-лилового свитера был вдвое больше другого. Каждый рукав был пришпилен к кровати вязальной спицей. Теперь Шоун был возле лестницы, за которой была задняя часть дома, такая-же темная, как та секция нижнего этажа. Наверняка Даф ему сказала бы, если бы он шел не по той стороне коридора, а помещение за лестницей не было так заброшено, как казалось: из темноты пискливое бормотание, чей-то голос выговаривал жалобу так быстро, что слов было почти не разобрать, молясь с такой силой, что, казалось,

даже не делает пауз на вдох. Шоун быстро миновал перила, окружающие три стороны лестничного колодца, и открыл дверь, которая была сразу за ними. Здесь был туалет, а те пластиковые шторы, которые кто-то задернул, — наверняка душ. Он отодвинул дверь локтем, и занавески душа шевельнулись, реагируя на его присутствие.

И не только они. Когда он дернул изношенный шнур, чтобы зажечь лампочку без абажура, откуда-то со стороны душа донеслось приглушенное хихиканье. Закинув сумку на крюк у двери, он раздернул шторы. На поддоне душа стояла на четвереньках голая женщина, такая худая, что не только ребра были видны, но и форма ягодичных костей. Она глянула вытаращенными глазами поверх расставленной узловатой руки, потом опустила руку, открыв широченный нос, в пол-лица, и радостно ощеренный беззубный рот, и выпрыгнула из душа. Не успел он отвернуться от сморщенных грудей и болтающегося бородатого живота, как она уже выскочила наружу. Слышно было, как она вбежала в комнату в темном конце коридора, выкрикивая что-то вроде "теперь ты" или "теперь тебе". Он не понял, предназначены ли эти слова ему. Внимание его отвлекло то, что дверь была без засова.

Он оставил туфли в углу под петлями и сложил на них промокшую одежду, потом прошел босиком по липкому линолеуму к душе. Поддон был холоден, как камень, и просел с громким треском не меньше чем на полдюйма, когда Шоун встал в него под слепой медный глаз душа. После поворота скрипнувших кранов вода пошла сначала, будто дождь забрался в дом, но быстро стала такой горячей, что пришлось прижаться к холодной кафельной стене, чтобы достать до кранов, и только он успел снизить температуру до терпимой, как задергалась ручка двери.

— Занято! — крикнул он. — Здесь занято!

— Моя очередь.

Голос звучал так близко, что рот говорящего, наверное, был прижат к двери. Ручка застучала еще неистовей, и Шоун крикнул:

— Я недолго! Десять минут!

— Моя очередь.

Это был уже другой голос. Либо говоривший понизил тембр, чтобы уstrasшить Шоуна, либо там было их больше одного. Шоун потянулся к мылу в выступе кафельной плитки, но ограничился только водой, заметив, что мыло покрыто седыми волосами.

— Подождите там! — крикнул он. — Я уже почти кончил. Нет, не надо ждать, приходите через пять минут!

Стук ручки стих, и не менее одного тела стукнулось в дверь с мягким шлепком. Шоун отдернул шторы как раз вовремя, чтобы увидеть, как его одежда разлетелась по линолеуму.

— Прекратите! — рявкнул он и услышал, как кто-то убегает — то ли человек с серьезной инвалидностью, то ли не меньше двух человек стучаются в стены, устроив драку в коридоре. Хлопнула дверь, потом еще раз — или это была другая. К тому времени он уже вышел из-под душа и взял единственное банное полотенце с шаткой стойки. Из полотенца выскочил паук с ногами как длинные седые волосы и телом размером с ноготь большого пальца и спрятался под ванной.

Своего полотенца у Шоуна с собой не было. Он собирался одолжить его у Рут. Взяв полотенце за два угла на вытянутых руках, он встряхнул его над ванной. Когда оттуда больше ничего не выпало, он вытер волосы и все тело как можно быстрее. Расстегнув сумку, он вытащил одежду, которую припас на ужин с Рут: Запасных туфель у него с собой не было, и когда он попытался надеть те, в которых пришел, в них хлюпнула вода. Собрав мокрую одежду и туфли, он положил их на сумку и быстро прошлепал к себе в комнату.

Ткнув дверь коленом, он услышал за ней звуки: прерывистый вздох, еще один, и голоса, льющиеся в темноту. Не успев пересечь комнату и сунуть сумку и мокрую одежду в шкаф, который, как и вся мебель, был привинчен к стене и к полу, он услышал вливающиеся в дом голоса. Наверное, прибывшая на автобусе группа — прерывистые вздохи издавали пневматические двери и тормоза. Пока что, судя по опыту, появление наплыва жильцов ничего привлекательного не сулило и только подогрело желание побыстрее поговорить с Рут.

Сунув туплю между ребрами еле теплого радиатора, он сел на тощую подушку и поднял липкую трубку.

Услышав гудок, он начал набирать номер. Уже набрав больше половины одиннадцатизначного номера Рут, он услышал голос Снелла:

— Кого вам?

— Междугороднюю.

— Боюсь, из номера это невозможно. Внизу в холле есть телефон. Все остальное так, как вам хотелось бы, мистер Томсон? У меня тут люди приехали.

Шоун слышал их снаружи. Они не издавали звуков, если не считать неуверенного шарканья и приглушенного скрипа нескольких дверей. Можно было только предположить, что им было велено его не беспокоить.

— Здесь кто-то балуется, — сказал он.

— Они готовятся к сегодняшнему вечеру. Должны кое-что сделать, кое-кто из них. Все остальное в порядке?

— В моей комнате никто не прячется, если вы это имеете в виду.

— Никто, кроме вас.

Это уже Шоуну совсем не понравилось, и он был готов явно выразить свои чувства, спрашивая, где его ключ, когда менеджер сказал:

— Значит, скоро мы вас увидим здесь внизу.

Линия отключилась, оставив Шоуна в попытке отреагировать на все последние события недоверчивой ухмылкой. Он пытался поделить ее со своим отражением над умывальником, но только сейчас заметил, что зеркало покрыто паутиной или трещинами. Эти нити усилили худобу его лица, обесцветили кожу и добавили морщин. Когда он приблизил лицо, чтобы убедиться, что это всего лишь иллюзия, то заметил какое-то шевеление в умывальнике. Предмет, который был длинным седым волосом, торчал из стока и блестел принадлежащим ему телом, продавливая себя прочь в трубу. Шоун напомнил себе переложить бумажник и деньги из мокрой одежды в то, что было на нем, и вышел из комнаты.

Ковер в коридоре был влажен от следов ног, большинство из которых он бы обошел, если бы его не отвлекли звуки из комнат. Там, где был плюшевый медведь, кто-то напевал: "К мамочке иди, резиновый". В следующей комнате голос выводил "Вот где вы все", очевидно, обращаясь к фотографиям, и Шоун был рад, что из комнаты с неряшливым вязанием не доносилось никаких слов, а только пощелкивание, такое быстрое, что казалось механическим. Не пытаясь разобраться в этих приглушенных шумах из комнат с темной стороны коридора, он прошлепал вниз так быстро, что два раза чуть не оступился.

В холле ничего не шевелилось, если не считать заливающегося под дверь дождя. Перед телевизором шло несколько разговоров, никак друг с другом не связанных. Шоун поднял трубку и сунул в телефон монеты, и его палец застрял над нулем на диске. Может, его отвлекла внезапная тишина, но он не мог вспомнить номер Рут.

Он оттянул ноль на диске до упора, будто это могло подсказать ему остальные цифры номера, и, пока диск возвращался на место, так и случилось. Еще десять поворотов диска наградили его звонком, заглушаемым потрескиванием, и казалось, что весь дом ждет, пока Рут ответит. Понадобилось шесть пар звонков — дольше, чем ей надо, чтобы пройти через всю квартиру, — пока раздалось слова:

— Рут Лоусон.

— Рут, это я. — В ответ на молчание он попытался оживить старую шутку: — Старый безрутный бандит.

— И что дальше, Том?

Он позволил себе надеяться, что она хоть из вежливости засмеется, но раздраженный тон потряс его меньше, чем реакция из холла с телевизором: хихиканье чьего-то голоса, потом еще нескольких.

— Я просто хотел тебе сказать...

— Том, ты бормочешь. Я тебя не слышу.

Он просто пытался, чтобы его слышала только она.

— Я говорю, я хочу, чтобы ты знала, что у меня просто вышел очень плохой день, — сказал он громче. — Я на самом деле думал, что должен приехать сегодня.

— С каких пор у тебя такая плохая память?

— С... не знаю, кажется, с сегодняшнего дня. Нет, честно, ты ведь думаешь про свой день рождения? Я знаю, что я про него тоже забыл.

Волна веселья накатила из холла перед телевизором. Конечно, все там смеются над телевизором, у которого приглушен звук, объяснил он себе, пока Рут ему отвечала:

— Если ты это можешь забыть, ты все можешь забыть.

— Мне очень жаль.

— Мне еще жалче.

— А мне жалче всех, — рискнул он, и тут же пожалел, что выполнил этот ритуал, поскольку это не дало ему ни малейшей реакции от нее, но больше потому, что из холла раздался рев смеха. — Послушай, я просто хотел, чтобы ты знала, что я не пытался тебя подловить, вот и все.

— Том!

Голос был такой сочувственный, как мог бы быть у кровати больного старого родственника.

— Рут, — ответил он, и тут же глупо спросил: — Что?

— Мог с тем же успехом и пытаться.

— То есть... ты хочешь сказать, что я мог...

— Я хочу сказать, что ты почти это сделал.

— О! — И после паузы, такой же пустой, как было у него внутри, он повторил этот звук. На этот раз не с разочарованием, а со всем удивлением, которое смог собрать. Он мог бы дать и третью версию этого звука, несмотря на или благодаря последнему взрыву веселья в холле, если бы Рут не заговорила:

— Я сейчас с ним говорю.

— С кем говоришь?

Не договорив еще до конца, Шоун уже понял, что она говорила не с ним, а о нем, потому что услышал у нее в квартире мужской голос. И тон его был куда теплее дружеского, и голос был существенно моложе.

— Удачи вам обоим, — сказал он менее иронично и более бесстрастно, чем сам хотел бы, и рванул рычаг, вешая трубку.

Из щели вывалилась монетка и плюхнулась на ковер. Среди бешеного веселья у телевизора несколько женщин кричали: "Кому, кому", как стадо коров.

— А он хорош, правда? — заметил кто-то еще, и Шоун попытался понять, что ему делать со своим смущением на грани паники, когда раздался звон, уходящий в темную часть дома.

Это был небольшой, но гулкий гонг в руках у управляющего. Шоун услышал оживленный топот шагов в холле и еще топот наверху. Он замялся в нерешительности, и Даф вынырнула к нему из-за управляющего.

— Давайте я вас посажу, пока не началась суматоха, — сказала она.

— Я только возьму туфли у себя в комнате.

— Вы же не хотите столкнуться с этим старым стадом. Они же мокрые?

— Кто? — спросил Шоун, потом нашел в себе достаточно здравого смысла, чтобы самому с легким смешком ответить на свой вопрос. — Ах, туфли! У меня с собой только одна пара.

— Я вам что-нибудь найду, когда посажу на место, — сказала она, открывая дверь напротив холла с телевизором, и нагнулась еще ниже, подгоняя его.

Как только он вошел за ней, она пробежала через столовую и стала похлопывать по стоящему отдельно столику, пока он не сел на единственный за ним стул. Он был обращен к

комнате и был окружен тремя длинными столами, каждое место за которыми было сервировано, как и его собственное, пластиковой вилкой и ложкой. За столом напротив висел бархатный занавес, бессильно шевелясь, когда окна дрожали от дождя. Стены покрывали подписанные фотографии — портреты комиков, которых он не мог узнать, с веселым или забавно-мрачным видом.

— Они у нас все, — сказала Даф. — Они нас поддерживают. Смех — вот что дает жизнь старикам.

Может, это она и не ему говорила, потому что уже выходила из комнаты. Он еле успел заметить, что гравюры на уэльском столике слева нарисованы на дереве во избежание поломок, как ввалились жильцы.

Споры о том, кому входить первому, стихли при виде его. Некоторые из столующихся еле смогли найти свои места, потому что не отрывали от него глаз, глядя куда пристальнее, чем он в ответ. Несколько было таких раздутых, что трудно определить их пол иначе как по одежде, и даже это непросто в случае с наиболее толстыми, у которых лица казались погружены в гнездо из плоти. Контрастом был мужчина столь высохший, что часы без стрелок соскальзывали с его запястья на костяшки пальцев. Юнити и Амелия сидели лицом к Шоуну, и, к его отчаянию, последнее из восемнадцати мест было занято женщиной, на которую он наткнулся в душе, теперь одетой от шеи до лодыжек в черный свитер и брюки. Когда она оглядела его с таким выражением лица, будто никогда не встречала и очень рада, что это наконец произошло, он попытался испытать некоторое облегчение, но в основном он испытывал чувство, что все обедающие, кажется, ждут от него чего-то. Их внимание начинало его парализовывать, когда снова появились Даф и мистер Снелл — из двери за уэльским столиком, которой Шоун не заметил.

Управляющий уставил левый стол тарелками супа, пока Даф подбежала с особо вместительной парой шлепанцев из белой материи, которые, как заметил Шоун, носили все жильцы.

— У нас только эти, — сказала она, бросая их к его ногам. — Они сухие, а это главное. Как вам они?

Шоун при желании мог бы засунуть обе ноги в каждый.

— Честно говоря, я в них малость как клоун.

— Ничего, вы же никуда не собираетесь.

Она сунула его ноги в тапочки и подняла их, чтобы проверить, есть ли у этой обуви шанс не свалиться. Тут же все жильцы разразились смехом. Некоторые затопали в качестве аплодисментов, и даже Снелл выдал мимолетную благосклонную улыбку, когда они с Даф скрылись на кухне. Шоун опустил ноги, что явно было достойно второго взрыва веселья. Оно миновало, когда Даф и Снелл появились с новыми тарелками супа, одну из которых управляющий принес Шоуну. Он опустил тарелку на стол через плечо гостя, а потом опустил руки на его плечи.

— Перед вами Томми Томсон, — объявил он и наклонился к уху Шоуна. — Так годится, правда? Лучше звучит.

В этот момент Шоуна меньше всего заботило его имя. Он жестом показал на пластиковый столовый прибор:

— Вы не думаете, что мне можно бы...

Не успел он попросить металлический прибор с ножом, Снелл двинулся прочь, будто его уносили взрывы радости, которую вызвало его объявление.

— Будьте сами собой, — сказали Шоуну его губы.

Ложка была такого размера, какой Шоун размешивал бы чай, если бы доктор недавно не запретил ему сахар. Когда он поднял ее, тут же воцарилась тишина. Он опустил ее в слабый бульон, где не удалось найти ничего твердого, и поднес к губам. Коричневатая жидкость имела вкус какого-то неопределимого мяса и ржавый привкус. Шоун был достаточно взрослым, чтобы не привередничать насчет еды, которую подают всем. Он проглотил ее, и когда тело его захотело восстать в протесте, он начал переливать в себя ложкой бульон как

можно быстрее, в надежде, скорее с ним разделаться.

Едва только его намерение стало очевидным, как жильцы принялись аплодировать и топать. Одни пытались имитировать его стиль поедания бульона, другие демонстрировали, насколько более театрально это умеют делать они, и сидевшие ближе всего к холлу подняли такой шум, что казалось, будто бульканье идет даже снаружи. Когда он с кривой ухмылкой глянул в их сторону, жильцы зафыркали, будто он отколол еще одну презабавную шутку.

Наконец Шоун бросил ложку в тарелку, только чтобы Даф вернула ее на стол с быстротой, не слишком отличающейся от грубости. Пока она и Снелл были на кухне, все остальные глазели на Шоуна, который почувствовал себя обязанным приподнять брови и помахать руками в воздухе. Один из раздутых толкнул другого, и оба они радостно залопотали, а всех остальных свалил неодолимый смех, который продолжался во время доставки второго, будто это была шутка, которую они очень хотели бы, чтобы он увидел. На тарелке оказались три кучки какого-то месива: белая, бледно-зеленая и коричневая.

— Что это? — решил он спросить у Даф.

— То, что всегда, — ответила она будто ребенку или кому-то, вернувшемуся в это состояние. — То, что нам нужно, чтобы поддержать наши силы.

Кучки оказались картофелем, овощами и чем-то вроде фарша с тем же запахом, что у бульона, только сильнее. Он изо всех сил старался есть естественно, несмотря на аплодисменты, которыми эти попытки были вознаграждены. Ощувив тяжесть в животе, он сложил прибор на тарелку, никак не чистую, и Даф тут же склонилась над ним.

— Я закончил, — сказал он.

— Еще нет.

Когда она протянула руки, он думал, что она хочет вернуть ложку и вилку на их законные места с обеих сторон тарелки. Вместо этого она убрала тарелку и начала убирать следующий стол. Пока он старался скрыть свою реакцию на эту еду, жильцы, как он заметил, жадно поглощали свои порции. Тарелки унесли в кухню, и повисла напряженная тишина, нарушаемая только беспокойным шарканьем. Куда бы он ни посмотрел, никто ногами не шевелил, и он сказал себе, что звуки издает Даф, появившаяся из кухни с большим пирогом, покрытым глазурью как памятник.

— Даф снова его сделала, — сказал самый толстый из жильцов.

Шоун решил, что это относится к портрету глазурию клоуна на пироге. Он не мог разделить общий энтузиазм по этому поводу; клоун казался недокормленным и угреватокраснолицым, и не было ясно, что за форму должны образовывать его широко раздвинутые губы. Снелл принес стопку тарелок, на которые Даф разложила куски пирога, разрезав его пополам и при этом отрезав клоуну голову с плеч, но распределение ломтей вызвало некоторые дебаты.

— Дайте Томми Томсону мой глаз, — сказал человек с выпученными красными глазами.

— Ему можно дать мой нос, — предложила женщина, которую он видел в душе.

— Я ему дам колпак, — сказала Даф, что было встречено одобрительным воем.

Выданный Шоуну кусок пирога почти точно следовал очертаниям остроконечного клоунского колпака. По крайней мере, как ему подумалось, это будет уже конец обеда, и ничего такого страшного в пироге быть не может. Он не ожидал, что у пирога будет тот же неуловимый вкус, что у остальной еды. Может быть, поэтому он, вызвав бурю восторга, закашлялся и подавился. Очень нескоро Даф принесла ему стакан воды, которая, как он обнаружил, имела тот же вкус.

— Спасибо, — тем не менее выдохнул он, и, когда его кашель и аплодисменты вокруг стихли, смог сказать: — Спасибо, все уже в порядке. Теперь, если вы меня извините, я думаю пойти спать.

Тот шум, что раньше поднимали жильцы, был ерундой с поднявшимся теперь ревом.

— Еще не было забавы, — возразила Юнити, вскакивая на ноги и от нетерпения подпрыгивая на месте. — Спеть надо за ужин, Томми Томсон.

— Никаких песен и никаких речей, — объявила Амелия. — У нас всегда бывает представление.

— Представление! — стали скандировать обедающие, хлопая и топая в такт по движениям палки Амелии. — Представление! Представление!

Управляющий наклонился к столу Шоуна. Глаза его были краснее обычного и мигали несколько раз в секунду.

— Лучше с ними согласиться, а то они вам покоя не дадут, — тихо произнес он. — Ничего особенного им не надо.

Может быть, то, как наклонился к нему Снелл, показалось Шоуну знакомым. Может ли быть, что он управлял этим отелем, когда Шоун останавливался тут с родителями лет пятьдесят назад? Так сколько же ему должно быть сейчас? Шоун не мог сообразить, потому что вопрос был:

— Что они просят меня сделать?

— Ничего особенного. Ничего такого, с чем не может справиться человек вашего возраста. Пойдемте, я вас отведу, пока они не захотели играть в свои игры.

Было неясно, насколько это должно было быть угрозой. Сейчас Шоун был только благодарен, что его уводят от топая и скандирования. Уход наверх перестал его соблазнять, и бежать к машине тоже не имело смысла, поскольку он только и мог шаркать по ковру, чтобы не спадали тапочки. Так что вместо этого он пошел за управляющим к двери в телевизионный холл.

— Давайте туда, — подтолкнул его Снелл с дерганной улыбкой. — Просто встаньте там. Вот они идут.

В комнате произошли существенные перемены. Число сидений увеличилось до восемнадцати добавкой нескольких складных стульев. Все они стояли лицом к телевизору, перед которым был воздвигнут портативный театр, несколько напоминающий театр Панча и Джуди. Над пустой авансценой поднималась высокая остроконечная крыша, напомнившая Шоуну тот самый клоунский колпак. Слова, которые были когда-то написаны на основании фронтона, давно вылиняли вместе со всеми цветами. Можно было только разобрать "ВХОД ЗДЕСЬ", пока он шаркал к театру, подгоняемый скандированием из холла.

Задником театра служил тяжелый бархатный занавес, черный там, где не отливал зеленоватым. В нем до высоты примерно четырех футов была сделана прорезь. Когда Шоун поднырнул под него, плесневелый занавес прилип к шее. Когда он выпрямился, его охватил запах сырости и затхлости. Локти уперлись в стены ящика, побеспокоив две фигуры, лежащие на полке под сценой. Их пустые тела были вытянуты, они лежали, перепутавшись лицами вниз, будто пытались теснее прижаться друг к другу. Он повернул их лицами вверх и увидел, что эти фигуры, с застывшими улыбками и глазами чуть слишком большими для того, чтобы забавлять, изображали мужчину и женщину, хотя на каждом пыльном черепе оставалось только несколько клочков волос. Он заставил себя прикоснуться к этим перчаточным телам, а тем временем жильцы с топотом заполняли зал.

Юнити подбежала к одному стулу, потом, не в силах успокоиться, к другому. Амелия плюхнулась в середину софы и медленно, постанывая, сдвинулась к краю. Несколько особо толстых устроились на складных стульях, что немедленно стало внушать опасения. Наконец рассаживание публики положило конец скандированию, но все глаза были прикованы к Шоуну. За спиной жильцов Снелл показал губами: "Наденьте их на руки".

Шоун подтянул к себе кукол открытыми концами и растянул выходы, опасаясь появления оттуда обитателей. Они, однако, оказались не обжитыми, и потому он сунул в них руки, пытаясь сообразить, какие из детсадовских рассказов можно адаптировать к этому случаю. Коричневая материя легко натянулась на руки, почти такая же удобная, как кожа, которую она изображала, и не успел он еще подготовиться, как большие пальцы стали руками кукол, а три соседних пальца поднимали трясущиеся кукольные головы, будто куклы просыпались ото сна. Зрители уже радостно вопили — отклик, от которого, казалось, черепа с кустиками полос поднялись над сценой. Их появление было встречено шумом, в котором

все сильнее выделялись заявки:

- Пусть подерутся, как теперешняя молодежь!
- Пусть побегают, как звери!
- Пусть ребенком в футбол играют!
- Пусть головами стукнутся!

Шоун сказал себе, что они, наверное, имеют в виду Панча и Джуди — и некоторое желание смогло подавить все остальные.

— Давайте "Старый безрукий бандит".

"Старый безрукий бандит" превратился в скандирование, и топот возобновился — а руки Шоуна взметнулись на сцену столкнуть кукол. Все, что ему пришлось пережить за этот день, сконцентрировалось в руках, и, быть может, это был единственный способ это изжить. Он кивнул мужчиной, которым стала его правая рука, лысеющей женщине и нетерпеливо каркнул:

— Что значит — "не мой день"?

Он встряхнул женщину и дал ей писклявый голос:

- А какой, по-твоему, день?
- Среда? Нет, четверг... погоди, конечно, пятница. То есть суббота.
- Сейчас воскресенье. Колокола слышишь?
- Я думал, это для нас, свадебные. Эй, что ты там прячешь? Я не знал, что у тебя есть ребенок.

— Это не ребенок, это мой дружок.

Шоун повернул фигуры лицом к публике. Куклы могли бы ожидать хохота или даже стоны в ответ на старые шутки — он точно их ждал. Жильцы глядели на него в лучшем случае с интересом. С той минуты, как он начал представление, единственными звуками стали шорох кукол по сцене и голоса, которые он изображал хрипящим горлом. Управляющий и Даф пристально смотрели на него через головы жильцов; казалось, они забыли, как моргать или улыбаться. Шоун отвернул кукол от зрителей, как хотелось бы отвернуться и ему самому.

— Что с нами стряслось? — пискнул он, трясая головой женщины. — Что-то нам нехорошо.

— Ерунда, я все равно тебя люблю. Давай поцелуемся, — каркнул он и заставил вторую куклу сделать два смешных шажка и рухнуть лицом вниз. Громкий треск застал его врасплох, как и то, что от удара его пальцы застряли в голове куклы. Ее неуклюжие попытки подняться даже не надо было изображать.

— Клоунские эти ботинки! — буркнул он. — Как в них можно ходить? Шатаешься в них, как недоразумение.

— А кто ты еще есть? Ты скоро свое имя забудешь.

— Не хами! — каркнул он, не понимая, зачем он вообще продолжает это представление — разве что для того, чтобы разогнать молчание, которое заставляло его вытягивать из себя слова. — Мы оба знаем, как меня зовут.

— Это пока у тебя дырки в голове не было. А теперь ты в ней вообще ничего не удержишь.

— Ха, это ты завралась! Меня зовут... — Он имел в виду куклу, а не себя, вот почему имя оказалось трудно произнести. — Ты знаешь, отлично знаешь. Не хуже меня.

— Видишь, его уже нет, ага!

— А ну-ка скажи, а то я тебя поколочу! — рявкнул Шоун со злостью, которая уже не принадлежала только кукле, и сдвинул ухмыляющиеся головы с треском, будто сломалась кость. Зрители наконец начали аплодировать, но он уже едва ли их замечал. От удара лица раскололись, обнажив верхние фаланги его пальцев, тут же застрявшие в щелях. Неуклюжие тела кукол прилипли к нему, а руки его боролись друг с другом. Вдруг что-то поддалось, и голова женщины отлетела от разорванного тела. Правый локоть ударился в стену театра, и конструкция повалилась на него. Он попытался ее подхватить, и в это время голова куклы

подкатилась ему под ноги. Он отшатнулся назад к заплесневелому занавесу. Театр завертелся вместе с ним, и комната опрокинулась.

Он лежал на спине, а дыхание его было где-то в другом месте. Пытаясь не дать передней стенке театра упасть на него, он случайно стукнул себя по виску треснувшей мужской головой. Сквозь просцениум виднелся высокий потолок и доносился одобрителный вой публики. Прошло больше времени, чем Шоуну казалось необходимым, пока некоторые из зрителей приблизились.

То ли театр был тяжелее, чем он думал, то ли он ослабел от падения. Хотя ему удалось стащить куклу с руки, поднять с себя театр оказалось трудно, поскольку кукла лежала у него на груди, как испутивший дух младенец. Наконец Амелия наклонилась над ним, и он с ужасом подумал, что сейчас она на него сядет. Но она протянула руку, которая казалась почти вареной, к самому его лицу, схватила за просцениум и сняла с него театр. Кто-то подхватил театр и унес, а она схватила Шоуна за лацканы и, несмотря на то что трость ее потрескивала, подняла его с помощью нескольких рук, толкавших его сзади.

— Вы целы? — прохрипела она.

— Все в порядке, — ответил Шоун, не успев подумать. Он заметил, что все стулья снова отодвинуты к окнам.

— Сейчас мы вам покажем, как мы играем, — сказала Юнити у него за спиной.

— Вы это заслужили, — сказала Амелия, собирая обломки кукол и прижимая их к груди.

— Я думаю, я бы...

— Точно, мы так и сделаем. Покажем вам, как мы играем. У кого капюшон?

— У меня! — крикнула Юнити. — Кто-нибудь, завяжите его!

Шоун обернулся и увидел, как она натягивает черную шапку. Когда она надела ее на голову, он обнаружил, что у него опять перехватило дыхание. Когда Юнити опустила поля, оказалось, что шапка предназначена закрывать глаза игрока — скорее как реквизит волшебника, чем как предмет для игры. Человек с часами без стрелок, которые сваливались с руки, туго затянул тесемки капюшона и завязал узлом, потом повернул ее на месте несколько раз, и каждый раз она попискивала от удовольствия. Потом он отпустил ее и отошел на цыпочках назад к остальным у стен, а она еще раз повернулась.

Она стояла спиной к Шоуну — он остался возле стульев у окна, за которым стихал шум дождя. Она устремилась прочь от Шоуна, хлопая тапочками по ковру, потом дернулась в сторону ни к кому в отдельности и наклонила голову. Она была в стороне от дороги Шоуна к двери, где уверенно стояли Даф и управляющий. Надо только обойти эту женщину с повязкой на глазах — и он уже на пути в свою комнату, где можно либо забаррикадироваться, либо взять свои вещи — и к машине. Он двинул ногой внутри тапка, и Юнити метнулась к нему.

— Поймала! Я знаю, кто это. Мистер Томми Томсон!

— А вот и нет! — возразил Шоун со злостью на все, что привело к этому моменту, но Юнити бросилась на него. Схватив его костлявыми руками за щеки, она держала его крепко куда дольше, чем нужно было, чтобы развязать завязки капюшона правой рукой, левой не выпуская и поглаживая его подбородок.

— Теперь ваша очередь ходить во тьме.

— Мне кажется, на сегодня хватит, и если вы меня извините...

Это вызвало бурю протеста на грани возмущения.

— Ты еще не устал, такой молодой, как ты... Она старше тебя, а не безобразничает... Тебя поймали, ты должен играть... Так нечестно.

Управляющий отступил в дверь и вытянутой рукой сделал жест Шоуну, а Даф произнесла одними губами: "Сейчас время стариков". Ее слова и скандирование "Нечестно" вызвали у Шоуна чувство вины, усилившееся, когда Юнити открыла полные упрека глаза и протянула ему капюшон. Он разочаровал Рут; не следует теперь огорчать этих стариков.

— Хорошо, я буду играть, — сказал он. — Только не вертите меня слишком сильно.

Не успел он договорить, как Юнити натянула ему капюшон на голову и надвинула на брови. Ощущение было как от матерчатых тел кукол. Не успел он даже передернуться, как материя опустила ему веки, и он ничего не видел, кроме темноты. Капюшон прилип к скулам, и тут же быстрые пальцы завязали тесемки у него на затылке.

— Только не сильно... — успел он выдохнуть, когда его завертели через всю комнату.

Как будто его втянуло в воронку радостных воплей и выкриков, но слышался и неразборчивый говор.

— Он со мной баловался в душе.

— А нас он туда не пустил.

— Я из-за него мультики пропустила.

— Ага, и еще он пульт хотел отобрать.

Его так закрутило, что он уже не мог понять, где он.

— Хватит! — крикнул он, и в ответ немедленно наступила тишина. Когда чуть спало головокружение, он понял, что он уже в другой комнате, гораздо дальше в глубину дома. Сквозь тапочки ощущались протертые на ковре дыры, хотя этим трудно было бы объяснить чуть уловимое шуршание ног, окружившее его со всех сторон. Он подумал, что слышит шепот или постукивание какого-то предмета в пустом ящике на уровне головы. Тут в приступе паники, сверкнувшей в капюшоне белой слепотой, он понял, что последнее замечание Дафны предназначалось не ему и вообще никому, кого он здесь видел. Руки его взметнулись развязать капюшон — чтобы увидеть, не где он, а куда бежать.

С таким ужасом он нащупал мертвый узел тесьмы, что не сразу сообразил искать ее свободные концы. Потянув за них, он освободился. Просунув пальцы под край капюшона, он услышал легкие сухие шаги, стремящиеся к нему, и почувствовал что-то, о чем ему хотелось бы думать, что это рука, схватившая его за лицо. Он отшатнулся назад, вслепую отбиваясь от того, что это было. Пальцы напоролась на ребра, такие голые, как вообще не бывает, и просунулись между ними, коснувшись подрагивающего содержимого грудной клетки. Шоун содрогнулся всем телом, хватаясь за капюшон и сдергивая его прочь.

В комнате было то ли слишком темно, то ли недостаточно темно. Она была не меньше той, откуда он вышел, и в ней стояли с полдюжины продавленных кресел, блестящих от влаги, и более чем вдвое больше фигур. Некоторые из них раскинулась в креслах как небрежные связки палок с гримасничающими масками наверху, но при этом изо всех хилых сил старались хлопать дрожащими ладонями. Даже те, что качались вокруг него, казалось, оставили где-то большую часть своего тела. Все они были привязаны к веревочкам или нитям, блестевшим в полумраке и уводившим его взгляд в самый темный угол комнаты. Там сбилась беспокойная масса — тело с неестественно большим количеством конечностей или груда тел, все более запутывавшихся друг в друге в процессе дряхления. Какие-то, хотя и не все, движения этой массы были как выбросы изнутри конечностей, строящих ее части, или уносящих фрагменты, или протягивающих еще нити к другим фигурам в комнате. Понадобилось усилие, напрягшее мозг, чтобы он смог заметить еще что-то: тонкую щель за шторами, голое окно дальше — слева, очертания двери холла. Когда ближайшая фигура низко поклонилась и Шоун увидел, что то, что осталось от ее глаз, выглядывает из-под волос, кокетливо спущенных на лицо, он бросился к двери холла.

Она отодвинулась в сторону, потому что у Шоуна кружилась голова. Тапочки зацепились за дыру в ковре и чуть не бросили пол в лицо Шоуну. Ручка двери отказалась повернуться в потной руке, даже когда он схватился за нее и второй рукой. Потом она поддалась, и пока пол за спиной зашуршал неуверенным, но явно направленным шарканьем, резко открылась. Он выпал за дверь и неуклюже побежал, хлопая тапочками, подальше от темной части холла.

Все комнаты были закрыты. Если не считать царапанья ногтей в дверь у него за спиной, была тишина. Он пробежал через холл, стараясь не потерять тапочки, не зная почему, зная только, что должен добраться до входной двери. Он сбросил щеколду, широко распахнул дверь и тут же ее захлопнул, вылетев из дома.

Дождь перестал, только с листьев еще капало. Галька блестела, как речное дно. Автобус, прибытие которого он слышал — старый частный автобус, заляпанный грязью, — стоял позади его машины, чуть не касаясь бампера. Отсюда ему не выехать. Он чуть не постучал в окно телевизионного холла, но вместо этого заковылял на улицу, к безмолвным отелям. Он понятия не имел, куда идет, лишь бы подальше от этого дома. После первых же шагов тапочки промокли, и ноги все сильнее саднили на каждом шагу, но тут из города показались быстро едущие фары.

Они принадлежали полицейской машине. Она остановилась возле, подмигивая аварийной сигнализацией, и с пассажирского сиденья вышел полисмен в форме, пока Шоун еще не успел слова сказать. Слегка полноватое озабоченное лицо полисмента в свете уличного фонаря имело здоровый розовый цвет.

— Помогите мне, пожалуйста! — взмолился Шоун. — Я...

— Не надо ничего говорить, старина. Мы видели, откуда вы вышли.

— Они меня заперли! То есть мою машину, вот, посмотрите! Если бы вы им только сказали, чтобы они меня выпустили...

С другой стороны подошел водитель, будто пытавшийся перешеголять своего напарника по части заботливого выражения лица.

— Успокойтесь, мы все сделаем. Что это у вас с головой?

— Стукнулся. Ударил по ней... вы не поверите, но это не важно. Все будет в порядке. Мне бы только забрать свои шмотки...

— Что вы потеряли? Это не может быть в доме?

— Да-да, в доме, наверху. Там мои туфли.

— Ноги болят, да? Неудивительно, если вы бродите в таком виде в такую ночь. Эй, возьми его под другую руку. — Водитель твердо взялся за правый локоть Шоуна, и со своим напарником поднял и понес к дому. — Как ваше имя, сэр? — спросил водитель.

— Не Томсон, что бы там они ни говорили. Не Томми Томсон, и не Том, то есть Том, это да, но Том Шоун. Правда же, это не похоже на Томсона? Шоун, а не клоун. Одна девушка всегда говорила, что ей со мной всегда весело, хоть я и не клоун. Я вообще-то к ней сегодня ехал.

Он понимал, что говорит слишком много, а полисмены тем временем кивали, и дом с двумя светящимися окнами — у него в комнате и в телевизионном холле — поднимался и приближался.

— В общем, моя фамилия Шоун. Не Клоун, и не Слоун и не Стоун. Шоун. Ш-о-у-н.

— Мы поняли.

Водитель потянулся к пустому гнезду кнопки звонка, потом просто стукнул в дверь. Она тут же открылась внутрь, явив стоящего за ней менеджера.

— Этот джентльмен — из ваших гостей, мистер Снелл? — спросил напарник водителя.

— Мистер Томсон! А мы вас обыскались, — объявил Снелл и распахнул дверь пошире. Весь народ из телевизионного холла построился вдоль стен, как зрители на параде. И скандировал;

— Томми Томсон!

— Это не я! — завопил Шоун, беспомощно дергая ногами, пока его шлепанцы не влетели в коридор. — Я вам сказал...

— Сказали, сэр, — успокоительно пробубнил водитель, а его напарник сказал даже еще тише: — Куда вы хотите, чтобы вас отвели, сэр?

— Наверх, просто...

— Мы знаем, — заговорщицки сказал водитель.

В следующий момент Шоуна понесли к лестнице и вверх по ней, с почти незаметной паузой, когда полисмены подобрали каждый по тапку. Скандирование из холла затихло, уступив тишине, которая, затаив дыхание, ждала в темной части дома. Имея полицейский эскорт, Шоун снова обрел уверенность в себе.

— Я теперь могу сам идти, — сказал он, но его только быстрее понесли к концу

лестницы.

— Туда, где дверь открыта? — предположил водитель. — Где свет горит?

— Да, там я. То есть не я, в том смысле я, что...

Его внесли под локти в дверь и поставили на ковер.

— Эта ничья больше комната быть не может, — сказал водитель, бросая тапки перед Шоуном. — Ну вот, вы уже здесь.

Шоун посмотрел, куда устались полисмены с таким сочувствием, что оно повисло в комнате как тяжесть. На фотографию, где он и Рут, обняв друг друга за плечи, на фоне далекой горы. Фотографию вынули из мокрого пиджака и поставили на полку вместо телефона.

— Я же только что ее принес! — возразил Шоун. — Смотрите, она еще мокрая!

Он заковылял через комнату натянуть туфли. И еще не дошел до них, как увидел себя в зеркале.

Он стоял, чуть покачиваясь, не в силах оторвать глаз. Он слышал, как полисмены поговорили вполголоса и отбыли, потом донесся двойной хлопок дверей и звук отъезжающей машины. Но собственное отражение все еще не позволяло ему шевельнуться. Без толку было бы говорить себе, что сеть морщин — это паутина, и волосы уже были не седеющие, а просто белые.

— Ладно, я вижу! — заорал он, понятия не имея сам, кому орет. — Я старый! Старый!

— Скоро, — произнес голос, подобный шипению газа в коридоре; он приближался, и лампы гасли одна за другой.

— Скоро с тобой будет очень весело, — донеслись остатки другого голоса откуда-то из комнаты.

Он не успел заставить себя посмотреть на его источник, что-то на конце остатков руки высунулось из-за двери и выключило свет. Темнота упала, будто ему отказало зрение, но он знал, что это начинается новая игра, и скоро он узнает, будет ли она хуже жмурок — хуже, чем первое липкое прикосновение паутины этого дома к лицу.

Ким Ньюман

Мертвяки-американцы в московском морге

Евгений Чирков отстал от части на железнодорожной станции Бородино. Когда поезд замедлил ход, он спрыгнул из своего вагона на платформу, получив приказ по любой цене купить шоколад и сигареты. Но что-то случилось, и древний паровоз так и не остановился. Евгений споткнулся о винтовку, упал и не дотянулся до протянутых рук своих товарищей. Остальные солдаты, высовываясь из окон, смеялись и махали ему руками. Струя пара из паровоза, ехавшего в противоположном направлении, напугала Евгения, он отпрянул, опять зацепился ногой за винтовку и упал. Сержанта Трауберга пируэты Чиркова очень рассмешили, и он даже забыл, что сунул в руку рядового тысячу рублей. Чирков вскочил и побежал за набирающим скорость составом. Выскочил из-под навеса под падающий с неба снег на несколько секунд позже последнего вагона. Взглянув вниз, на рельсы, увидел человека в военной форме со связанными руками и ногами. Голова лежала по одну сторону сверкающего рельса, тело — по другую. Этот метод приобретал все большую популярность. Подальше от станций на рельсы укладывали сразу по двадцать, а то и по тридцать американцев. Лишившись голов, они никому не могли причинить вреда.

С обожженными паром ногами, с лицом и руками, покусанными морозом, он брел по вокзалу. Стены обложили мешками с песком. Семьи сидели тесными группками, словно первопроходцы Дикого Запада в ожидании нападения индейцев, приберегающие последние пули для женщин и детей. Чирков мысленно сплюнул. Америка вторглась в его сознание, как и предупреждали политруки. Одни беженцы уходили из Москвы, другие, наоборот, тянулись в столицу. Каждый действовал на свой страх и риск. На огромный плакат с изображением нового Генерального секретаря кто-то плеснул чем-то черным. Бурое пятно запекшейся

крови на стене указывало, что тут кого-то расстреляли. Американов хватало и в Бородино. Расположенное в семидесяти милях от Москвы, местечко это было музеем сопротивления нашествиям. Таблички, памятники, картины славили победы 1812 и 1944 годов. Тут же висел список местных чиновников, расстрелянных за участие в последней контрреволюции. В воздухе пахло гарью: при подавлении заговора пострадали не только люди, но и дома. И сейчас неподалеку что-то горело. Офицер приказал ему встать в очередь и ждать. Из Москвы прибывало гораздо больше поездов, чем уходило туда. Сие трактовалось однозначно: в столице практически никого не осталось.

Чирков решил покинуть вокзал. У дверей от снега расчистили небольшую площадку. Сугробы сверкали в двенадцати ярдах от ступеней. Солнечный свет слепил глаза. На Украине он к такому холоду не привык. Трое солдат с раскосыми глазами, заброшенные за тысячи миль от дома, предложили ему сигарету и попытались поговорить с ним по-русски. Он понял, что родом они из Амги. Где-то там была гора, с вершины которой просматривалась Япония. Он спросил, знают ли они, где найти какого-нибудь начальника. Они что-то зачирикали на незнакомом Евгению языке, но тут он увидел первого американца. Тот появился меж сугробов и захромал к ближайшему КПП. Мертвяк выглядел так, словно действительно жил в Америке. Босой, в обтрепанных джинсах, рубашке с ярким попугаем на груди. На шее на тонкой веревке болтались солнцезащитные очки. Чирков указал часовым на американца. И как зачарованный уставился на шагающего мертвяка. На каждом шагу в американце что-то потрескивало. На коже тут и там виднелись ледяные наросты. Шел он медленно, уставившись прямо перед собой слепыми, замороженными глазами. Руки, как палки, висели по бокам.

Сержант осторожно подобрался к американцу и ударил прикладом по колену: часовым строго настрого запретили трогать патроны попусту, потому что боеприпасов не хватало. Хрустнула кость, американец упал на колени, словно молящийся перед иконой. Сержант пнул американца в спину, тот повалился лицом в снег. Чирков думал, что от мертвяка должно вонять, но от этого, промерзшего насквозь, ничем не пахло. Розовая кожа становилась красной в тех местах, где ее разрывал лед. Мертвяк протянул руку к сержанту, теперь что-то хрустнуло в плече. Сержант увернулся от руки и сапогом придавил американца к бетону. Один из солдат вытащил из-за пояса штык-нож с лезвием в добрый фут и вонзил его мертвяку в затылок. Другой достал мачете и профессиональным ударом отрубил мертвяку голову.

Штык-нож требовался для того, чтобы пронзить череп насквозь и коснуться острием земли. Только так остатки души могли покинуть тело. Официального приказа на этот счет не было, но все солдаты знали об этом. То ли от одного из молдаван, то ли от человека, который общался с молдаванами. Молдаваны утверждали, что ходячие мертвяки им не в диковину. Голова американца развалилась, как арбуз. На внутренних поверхностях черепа засверкали серовато-красные кристаллы. Мертвяк разом перестал шевелиться. Сержант тут же начал снимать с него яркую рубашку, очень осторожно, словно мясник, свежую лошадь. Джинсы срослись с кожей, так что снять их не представлялось возможным. О чем все, конечно же, пожалели: из джинсов получились бы отличные шорты для симпатичной девчушки. Сержант предложил Чиркову солнцезащитные очки. Одного стекла не было, иначе он не проявил бы такую щедрость по отношению к незнакомцу. Из вежливости очки Чирков взял, решив, что выбросит их, как только уедет из Бородина.

* * *

Тремя днями позже, когда Чирков добрался до Москвы, выяснилось, что отыскать его часть невозможно. Диспетчер на центральном вокзале утверждала, что его часть перебросена в Орехово-Зуево, но ее начальник безапелляционно заявил, что часть уже девять месяцев как расформирована. Поскольку диспетчер не решилась возражать заслуженному партийцу, Чиркову пришлось смириться с тем, что части, в которой он служил, более нет. В результате его направили на Курорт. Там постоянно ощущалась нехватка

персонала, и заявки Курорта всегда удовлетворялись в первую очередь. Служба на Курорте предполагала лишь охрану объекта да легкий физический труд: американцы, попадавшие на Курорт, уже не могли оказать никакого сопротивления. Диспетчер выдала Чиркову стопку сопроводительных документов толщиной с французский сандвич и начала объяснять, как добраться до Курорта. Но очередь к тому времени начала нервничать, и Чиркову пришлось отправляться в неизвестность. Однако он не забыл прицепить к шинели синюю багажную бирку с размазанной печатью, которая служила пропуском. Отсутствие бирки каралось расстрелом на месте.

Автобусы ходили нерегулярно. Прождав час на улице у центрального вокзала, Чирков решил добираться до Курорта пешком, штурмуя бесконечные сугробы. Повсюду ему встречались пожарные бригады. Они шли следом за солдатами, которые методично сжигали дом за домом. С освобожденного пространства тут же убирался весь мусор. Везде висели плакаты, призывающие остерегаться американцев. Партия возложила всю ответственность за случившееся на Соединенные Штаты. По официальной версии, Америка развязала бактериологическую войну. Вирусы, разработанные в секретной лаборатории, доставили в Россию смертники, приехавшие под видом туристов. Этот вирус гальванизировал нервную систему покойников, активизировал животные инстинкты, понуждающие американцев есть человеческое мясо. В выпусках новостей показывались тщательно подобранные отрывки из американских фильмов ужасов, дабы показать варварство западной цивилизации. Передачи "Голоса Америки", рассказывающие о том, что и там приходится бороться с ходящими мертвяками, глушились. Но в народе появление мертвяков связывали отнюдь не с американцами. Причины приводились разные: Чернобыль... Божья кара... результат исследований, начало которым положил Сталин во время Великой Отечественной войны... вирусы, занесенные на Землю космонавтами со станции "Новый мир"... заговор затаившихся в подполье контрреволюционеров... проклятие, о котором давно знали молдаваны.

К счастью, Курорт находился недалеко от Красной площади. Даже украинец, только-только прибывший в Москву, представлял себе, как добраться до Красной площади. Чирков так долго тащил винтовку, что ремень протер погон. Единственная обойма с патронами лежала у него во внутреннем кармане. Ему говорили, что Москва — самый красивый город мира, но под натиском зимы и американцев ее красота заметно поблекла. Над головой кружили вертолеты, мощные динамики напоминали о грозной опасности и сообщали последние новости: трудящимся рекомендовалось оставаться на рабочих местах и выполнять порученное им дело; неизбежность победы над американской гидрой не вызывала сомнений; кризис близился к концу, гениальные стратеги предрекали скорый контрудар; покойников предлагалось обездвиживать и помещать в специальные сборные пункты; очередную группу предателей завтра ждал законный суд.

В церкви с куполом-луковкой солдаты разбирались с американцами. Их привозили в крытых грузовиках и по одному заводили в двери. Когда Чирков проходил мимо, мертвая женщина в огромной шубе, похожая на медведицу, вывалилась из очереди. Солдаты тут же окружили ее, один из них пронзил голову штыком. Останки унесли в церковь. Чирков знал, что церковь сначала набьют битком, а потом подожгут. Это называлось очистительной жертвой. На Красной площади громкоговорители транслировали военные марши. Джон Рид все еще сражался на баррикадах. В Мавзолее Ленина туристов уже не пускали. Сержант Трауберг обожал рассказывать историю о том, что произошло в Мавзолее, когда американцы начали подниматься. И все ему верили. Курорт находился рядом с площадью. До революции 1917 года в том здании располагался закрытый оздоровительный комплекс для членов царской семьи. Теперь его отдали под морг.

* * *

Чирков вручил свои бумаги тощему офицеру, который встретил его на ступенях, ведущих к дверям Курорта, и застыл по стойке "смирно" в ожидании, пока офицер

просмотрит все бумаги. Потом ему приказали пройти в дом и найти Любашевского. Офицер же осторожно спустился по ступеням: под слоем снега их покрывала корка льда — еще один элемент защиты. Чирков понимал, почему американцы поскользывались и падали на лед: с равновесием у них было плохо. А с лежащим мертвяком справиться было легче. На дверях Курорта высотой в три человеческих роста Чирков насчитал больше трех десятков отметин от пуль, давнишних и совсем свежих. Незапертые и несмазанные, они противно скрипнули, когда Чирков их открывал. В вестибюле его встретили мраморные полы и потолки, разрисованные нимфами и атлетами. Бюсты Маркса и Ленина охраняли главную лестницу. Над первой площадкой висел портрет нового Генерального секретаря, не такой выцветший, как те, что попадались Чиркову на улицах.

Мужчина в гражданском, в котором он угадал Любашевского, сидел за столом и читал какую-то брошюру. На сгибе руки лежала початая бутылка водки. Он вскинул голову и сообщил Чиркову, что на прошлой неделе все стулья увезли в Комитет здравоохранения. Чирков отдал свои документы и сказал, что его послала сюда диспетчер. Любашевский ответил, что с центрального вокзала к ним постоянно присылают солдат, но он никак не может взять в толк зачем. Любашевский не брился как минимум три дня, а глаза у него были разного цвета. Он предложил Чиркову глотнуть водки, настоящей, крепкой, не того пойла, разбавленного талым снегом, которое он купил в Бородине, и уткнулся в документы, выискивая нужную подпись. В конце концов он решил, что Чиркову лучше остаться на Курорте. Открыв шкаф, он достал длинный белый халат, выпачканный на заднице. Чиркову не хотелось менять на него свою длинную теплую шинель, но Любашевский заверил его, что на Курорте практически ничего не пропадает. Люди, даже деклассированные элементы, предпочитали обходить это место стороной и появлялись здесь только в случае крайней необходимости. Прежде чем снять шинель, Чирков вспомнил про пропуск и прикрепил его к халату. Потом Любашевский взял винтовку Чиркова, похвалил за то, что оружие содержится в чистоте, убрал винтовку в шкаф, а взамен выдал Чиркову запыхавшийся револьвер, тяжелый и холодный. Откинув барабан, Чирков увидел, что патронов всего три. Русская рулетка, подумал он, шансы пятьдесят на пятьдесят. Кобуру ему не дали, поэтому револьвер пришлось сунуть в карман. Ствол тут же высунулся в дыру. За оружие попросили расписаться.

Любашевский велел отправляться в Бассейн и доложить о своем прибытии директору Козинцеву. Чирков спустился вниз в кабине поскрипывающего лифта и очутился в огромном помещении размером с балльный зал. Бассейном работающие на Курорте называли подвал, где хранились трупы. До революции тут действительно был бассейн. Поколения Романовых рассекали в нем воду, пока их всех не смыло волной истории. Воду из бассейна спустили еще в 1916 году, а в подвале царил такой холод, что конденсат, осаждаясь на мраморном полу, превращался в лед. Стены украшали золоченые фрески, отзвук каждого шага гулко разлетался по всему залу. Чирков подошел к краю Бассейна, посмотрел вниз на застеленные белым столы и лежащие на них неподвижные тела. Тонкие деревянные перегородки разделяли Бассейн на рабочие комнаты и узкие коридоры. Он обратил внимание на блондинку с собранными на затылке в пучок волосами. Губы ее блестели от ярко-алой помады, рукава халата она закатала до локтей, ковыряясь в грудной клетке трупа женщины, которая могла быть ее старшей сестрой. Во лбу трупа темнела черная дыра, на волосах что-то налипло, как догадался Чирков, вышибленные мозги. Чирков кашлянул, а когда блондинка подняла голову, спросил, где найти директора. Блондинка ответила, что надо пройти к Глубокому Концу, спуститься по лесенке и по коридорам добраться до середины Бассейна. Там и находился кабинет директора.

Выйдя на бортик Глубокого Конца, Чирков нашел лестницу, которая вела на дно Бассейна. Ее охранял солдат, который сидел, забросив ногу на ногу, с револьвером на колене и играл на варгане. Потом перестал играть и сообщил Чиркову, что это была народная американская песня про ковбоя, убитого адвокатом. Называлась она "Человек, который застрелил Либерти Вэленса". Часовой представился сержантом Толубеевым и спросил, не

хочет ли Чирков купить кассеты с записями мистера Эдварда Кокрена и мистера Роберта Дилана. У Чиркова не было кассетного магнитофона, но Толубеев пообещал отдать свой за какие-то пять тысяч рублей. Из вежливости Чирков пообещал подумать, поскольку, по его разумению, сделка предлагалась выгодная. Толубеев предложил ему и другие предметы первой необходимости: презервативы, шоколадные батончики, зубную пасту, чистые носки, ароматизированное мыло, запрещенную литературу. Чирков знал, что в каждой государственной структуре Советского Союза, будь то военная часть или гражданская организация, обязательно служит такой вот Толубеев. Должно быть, и в Центральном Комитете Коммунистической партии один из секретарей приторговывал дисками и жевательной резинкой, которые покупали у него власть предержащие. Чирков решил для себя, что со временем обязательно потратит часть рублей, полученных от сержанта Трауберга, на нижнее белье и мыло.

Спустившись в Бассейн, Чирков сразу забыл, где что расположено. Он очутился в лабиринте и начал плутать по узким коридорам, изредка спрашивая дорогу у кого-нибудь из сотрудников. Обычно ему отвечали пожатием плеч, но он не терял надежды и продолжал путь. Каждый из специалистов самозабвенно резал трупы, используя для столь увлекательного занятия как визжащие дисковые пилы, так и острые сверкающие скальпели. Он прошел мимо блондинки, которую заприметил сверху, бирка на груди указывала, что блондинка — техник Свердлова, но она представилась Валентиной. Чирков обнаружил, что за время его блужданий по лабиринту Валентине удалось полностью обнажить грудную клетку трупа, над которым она работала. Вот так нынче выглядит утонченная москвичка, подумал Чирков. Невозмутимая и безупречная, пусть руки по локоть вымазаны человеческими останками. Прядка волос падала Валентине на глаза, она сдвигала ее, но упрямая прядь возвращалась на прежнее место. Результаты своего исследования Валентина сразу надиктовывала на магнитофон. В теле мертвой девушки обнаружились некоторые аномалии. В частности, повышенная упругость мышц. Чирков с радостью остался бы у Валентины, но чувство долга звало его в путь. Попрощавшись, он вышел из ее закутка, споткнувшись о ведро, чуть ли не доверху набитое часами, обручальными кольцами, очками. Валентина разрешила взять все, что ему понравится, но Чирков отказался. Наоборот, сунул руку в карман, достал разбитые солнцезащитные очки и бросил в ведро. Точно так же бросали копейку в источник, выполнявший желания, поэтому Чирков одно тут же и загадал. Валентина хихикнула, словно прочла его мысли Густо покраснев, Чирков вышел в коридор.

* * *

Наконец он добрался до двери с табличкой "В. А. КОЗИНЦЕВ, ДИРЕКТОР". Чирков постучал, из-за двери донеслось бурчание, он открыл дверь, вошел. И в мгновение ока перенесся из морга в студию скульптора. На одном столе рядом с кипящим самоваром лежали мешочки с разноцветной пластичной глиной. В центре кабинета, освещенного люстрой, которая висела над Бассейном, директор Козинцев, с аккуратно подстриженной бородкой и в круглых очках, одетый в халат, работал над бюстом лысого мужчины. Работал одной рукой, длинные пальцы осторожно вдавливались в щеки. В другой руке он держал стакан с чаем. Отпил и тут же покачал головой, недовольный результатом. Мгновенно приняв Чиркова за своего, Козинцев попросил помочь ему вернуться в исходную точку. Поставил стакан на стол и закатал рукава. А потом в четыре руки они сжали мягкое лицо и потянули. Глина сползла, обнажив череп. Стекланные глаза, удерживаемые в глазницах шариками из мятых газет, буквально загнипнотизировали Чиркова. Он вспомнил, что слышал про директора: в Советском Союзе В. А. Козинцев был одним из самых известных специалистов по пластической реконструкции. Именно он работал с черепами, принадлежащими, согласно результатам многочисленных экспертиз, членам королевской семьи. Он воссоздавал лица первобытных людей, жертв насилия, Ивана Грозного.

Чирков доложил, что прибыл для выполнения служебных обязанностей, и директор

предложил ему найти какое-нибудь полезное занятие. Выглядел Козинцев подавленным: трехдневные труды пошли прахом. Он объяснил, что одного черепа для восстановления лица недостаточно. Необходимы косвенные признаки, указывающие на взаиморасположение мышц и тканей. Объясняя Чиркову нюансы своего творчества, Козинцев скатал сигарету, сунул в рот. Похлопал по карманам в поисках спичек. Чирков понял, что Козинцев реализует очередной исторический проект под патронажем Министерства культуры. Проект, никак не связанный с основной деятельностью Курорта (тут пытались определить происхождение и способности американов), но привлекающий внимание и позволяющий выбить средства. И пока директор, глубоко затягиваясь, листал анатомический атлас, Чирков разлеплял кусочки разноцветной глины и раскладывал их на столе. Отдельно под стеклянным колпаком стоял "болван" с надетым на него черным париком, бровями, усами и бородой. Они должны были пойти в дело после того, как череп обрел бы свое лицо. Чирков спросил, чей это череп, и Козинцев небрежно ответил, что Григория Распутина. Пожаловался, что возникли проблемы с изготовлением точной копии глаз. Современники писали, что глаза у Распутина были синестальные, а зрачки превращались в точку, когда их владелец пытался в чем-то убедить своего собеседника. Или собеседницу. Чирков вновь посмотрел на череп и не увидел ничего особенного.

* * *

Каждый вечер ровно в девять часов директор проводил совещание. Присутствовали все сотрудники Курорта, включая Чиркова. Он поселился в этом же здании, в маленькой комнатке на верхнем этаже, приспособив под кровать массажный стол. Поскольку кормили его, пусть и не регулярно, в кафетерии, у Чиркова отпала всякая необходимость покидать Курорт. Достаточно быстро Чирков вошел в курс дела. Узнал, что начальник охраны — капитан Жаров, который с большей радостью патрулировал бы улицы, но выбитое колено привело его на Курорт, а заместитель Козинцева и главный коронер — доктор Федор Дудников, знаменитый эксперт-криминалист, который консультировал полицию при расследовании многих политических убийств. Теперь же, когда в исследованиях, проводимых на Курорте, сменились ориентиры, его обширные знания оставались невостребованными. Текучка директора не интересовала, поэтому всеми делами на Курорте заправляли Любашевский, администратор, присланный из Министерства сельского хозяйства, и Толубеев, который справлялся с организацией охраны и снабжения куда лучше Жарова.

Девушка Чиркова, Валентина, несмотря на молодость, пользовалась на Курорте авторитетом. Она исследовала американов и на каждом совещании докладывала о достигнутых за день результатах. Суть ее открытий зачастую оставалась непонятной даже для коллег, но она верила, что американы — не просто ожившие мертвяки. Проводимые ею вскрытия показывали, что во многом американы функционируют, как обычные живые существа. Во всяком случае, их мышцы приспосабливались к новому состоянию, пусть тело и освобождалось от лишних тканей и кожи. Она привязалась к этим тихим, спотыкающимся созданиям и высказала предположение, что со временем американы становятся сильнее. Валентина все более склонялась к мнению, что американы — не ходячие покойники, а совершенно новый вид разумных существ, имеющий свои сильные и слабые стороны. На каждом совещании Валентина жаловалась, что для продолжения исследований мертвых тел недостаточно и для настоящего прорыва необходимы эксперименты с "живыми" мертвяками. Она представила рисунки с ее видением эволюции американов: скелеты, обтянутые мышцами, прямо-таки иллюстрации из анатомического атласа.

Ведущим оппонентом Валентины выступал А. Тарханов, утверждавший, что ее теории ведут в тупик. По его мнению, Курорту следовало сконцентрировать усилие на выявлении бактериологического агента, ответственного за оживление мертвецов, с тем чтобы найти средство его уничтожения. Тарханов, член партии, настаивал на том, что они столкнулись с

феноменом, созданным американскими специалистами по генной инженерии. Он с горечью говорил о том, сколь щедро финансируются капиталистическими картелями эти создатели чудовищ, жаловался на то, что от советской бюрократической машины ничего похожего ждать не приходится. Вот в этом вопросе между Валентиной и Тархановым царило полное взаимопонимание: оба в один голос твердили, что для их исследований катастрофически не хватает средств. Поскольку на этих совещаниях всем приходилось сидеть на полу (лишь директор Козинцев, скрестив ноги, устраивался на столе), предметом первой необходимости стали стулья, хотя ученые давно уже представили администрации длинные списки медицинских препаратов и инструментов, без которых они не могли продолжать работу. На все жалобы ученых у Любашевского был стандартный ответ: он зачитывал свой список, в котором указывались заявки, первичные и повторные, отправленные в соответствующие правительственные департаменты. На третьем для Чиркова совещании всеобщее оживление вызвало сообщение Любашевского о том, что Комитет гражданской обороны прислал на Курорт пятьдесят пять детских одеял. Одеяла они не заказывали, но Толубеев предложил провести бартерную сделку с детской больницей: отдать одеяла, получив взамен или овощи, или медицинские инструменты.

На том же совещании капитан Жаров доложил, что его люди успешно отразили попытку вторжения. Двух американов обнаружили на заре. Они сумели преодолеть скользкие ступени и стояли у парадных дверей, словно чего-то ждали. Один — у самых дверей, второй — ступенькой ниже. Словно в очереди. Жаров лично разделался с обоими, всадив в затылок каждому по пуле, а потом распорядился отвезти останки на сборный пункт, чтобы потом их вернули на Курорт для исследований. Валентина тут же запричитала, что американов следовало взять в плен и запереть в отдельной комнате, к примеру в парной, для последующего наблюдения. В ответ Жаров процитировал пункты действующего приказа. Под занавес совещания Козинцев прочитал большую лекцию о Распутине, обосновав собственную версию о том, что духовный наставник последней царицы был далеко не сумасшедшим, как утверждало общественное мнение, и его влияние на царскую семью в немалой степени способствовало успеху революции. С особым энтузиазмом он говорил о приписываемых Безумному Монаху способностях исцелять больных, о его знаменитых руках, которые могли останавливать кровь у страдающего гемофилией царевича. По его твердому убеждению, Распутин был экстрасенсом. Причем очень сильным экстрасенсом. Но даже Чирков полагал, что это не более чем домыслы, особенно после того как директор признал, что очередная попытка реконструировать лицо Распутина не принесла успеха.

* * *

Вместе с Толубеевым он заступил на вахту в последнюю ночную смену, с трех часов ночи до девяти утра. В этот период часовые оставались в вестибюле, не выходя на улицу. Капитан Жаров и Любашевски никак не могли определиться с Чирковым, не знали, считать ли его солдатом или лаборантом. Поэтому ему приходилось выполнять обязанности и первого, и второго, иногда одновременно. Солдату после ночной вахты полагался сон, лаборанту предписали ровно в девять явиться к Козинцеву. Чирков особо не возражал; если привыкнуть к трупам, полагал он, на Курорте очень даже интересно. Тем более что здесь трупы были трупами. И пусть по личным причинам он всегда вместе с двумя другими учеными и поваром голосовал за предложение техника Свердловой привести на Курорт американов, его радовало, что всякий раз она оставалась в меньшинстве. Толубеев — бабушка у него была молдаванкой постоянно рассказывал истории о вурдалаках и василисках и знал множество новых анекдотов. У Толубеева выходило, что все американы при жизни были членами партии, потому-то многие носили добротную одежду и имели при себе дорогие товары далеко не первой необходимости. Последним хитом среди мертвяков стали кассетные плееры с наушниками, причем не американского производства, а японского. Толубеев собрал целую коллекцию этих шуток, позаимствованных у американов, которым

размозжили головы; другие солдаты брезговали копаться в серовато-розовом желе. Сожалел Толубеев о том, что мертвяки не таскали с собой видеоплейеров. Если бы у них появилась такая привычка, говорил он, сотрудники Курорта стали бы миллионерами не рублевыми, а долларовыми. У многих мертвяков находили иностранную валюту. Тарханов даже высказал гипотезу, что именно в деньгах содержался бактериологический агент, вызывающий это невиданное доселе заболевание, и через них и распространялась эпидемия. Толубеев никогда не снимал перчаток, а потому гипотезы Тарханова не вызывали у него тревоги.

Толубеев как раз распространялся о том, как весело бы они зажили, имея в своем распоряжении видеоплейеры, когда раздался стук в дверь. По ней не барабанили, как бывало, если кто-то хотел войти. Нет, стукнули один раз, словно что-то случайно ударилось о дубовую панель. В тот же самый момент магнитофон Толубеева, радовавший слух новой аранжировкой мелодии Криденса Клиаутера "Спустившееся с неба", вдруг замолчал. Толубеев попытался вынуть кассету, но оказалось, что машина ее зажевала. Сержант выругался: пленки были куда в большем дефиците, чем кассетники. Часы показывали половину пятого. Москва спала. Хотя шума хватало: завывал ветер, наверху кто-то надсадно кашлял, издав далеко доносились выстрелы. Чирков взвел курок револьвера, надеясь, что под ударником есть патрон, надеясь, что осечки не будет, надеясь, что патрон настоящий — не холостой. Стук повторился, такой же, как и первый. Просто стук, не несущий в себе требования открыть дверь. Толубеев приказал Чиркову выглянуть в глазок. Ему с трудом удалось сдвинуть латунную закрывку и прикинуть глазом к глазку.

Лицо мертвяка находилось по самому центру глазка. Пожалуй, впервые Чиркову пришла мысль о том, что американов-то можно и испугаться. На этот раз он с трудом разглядел в темноте пустые глазницы и постоянно жующий рот. На шее висело несколько фотоаппаратов и шелковый шарф с нарисованной на нем обнаженной женщиной. Чирков доложил об увиденном Толубееву, которого живо заинтересовали фотоаппараты. Он предложил открыть дверь, чтобы Чирков пустил пулю в голову американца. Толубеев не сомневался, что уж фотоаппараты они точно обменяют на стулья. А добыв стулья, они станут героями Курорта, имеющими права на определенные привилегии. Чирков хоть и сомневался в собственной храбрости, но согласился, и Толубеев принялся отодвигать засовы. Когда двери держали только руки Толубеева, вцепившиеся в ручки, Чирков кивнул, сержант потянул двери на себя и отступил в сторону. Чирков шагнул вперед, поднял револьвер и нацелил его американцу в лоб.

Мертвяк пришел не один. Толубеев выругался и побежал за винтовкой. Чирков не стрелял, переводя взгляд с одного мертвого лица на другое. Четверо стояли друг другу в затылок, по одному на каждой ступеньке. За "фотографом" — мужчина в офицерской форме, с медалями на груди. Далее женщина в костюме в полоску и гангстерской шляпе Последней — девочка в бейсболке, с золотыми волосами и зеленым лицом, тащившая за собой куклу. Толубеев вернулся, вставляя в винтовку обойму. Вскинул ее к плечу. Но тоже не выстрелил, поскольку не прочитал на лицах мертвяков никакой угрозы. Дул холодный ветер. Должно быть, от него по коже Чиркова побежали мурашки. Ему-то постоянно твердили, что американцы всегда набрасываются на людей. Эти же стояли, чуть покачиваясь, словно заснули на ногах. Глаза девочки смещались справа налево, а потом слева направо, как маятник. Чирков шепотом попросил Толубеева вызвать кого-нибудь из ученых, лучше всего Валентину. Когда сержант ретировался, вспомнил, что у него только три патрона, которых явно не хватит на четверых американцев. Он отступил от дверного проема, не сводя с мертвяков глаз, и захлопнул двери. Ребром ладони задвинул пару затворов. Выглянув в глазок, увидел, что ничего не изменилось. Мертвяки по-прежнему стояли в очереди.

Спустилась Валентина в длинном, до пят, халате, наброшенном поверх пижамы. Босиком. Она же отморожит ноги, обеспокоился Чирков. Толубеев рассказал о ночных гостях, и Валентине пришлось напомнить ему о рапорте капитана Жарова. Эти американцы вели себя точно так же, как и прошлой ночью: спокойно стояли в очереди. Она откинула волосы со лба и прильнула к глазку. Радостно вскрикнула, подозвала Чиркова, указала, куда надо смотреть.

Взглянув поверх очереди, Чирков увидел бредущую к Курорту пятую фигуру. Этот мертвяк как-то странно загребал ногами, словно шел в ластах. Он пристроился в затылок девочке. Совершенно голый, разложившийся до такой степени, что отвалился половой орган. Скелет, кости которого сцепляли воедино лишь полосы мышц, напоминавшие мокрую кожу. Валентина сказала, что для изучения она взяла бы именно его, но ей нужен и кто-то еще. Толубеев напомнил ей о нестандартности ситуации и спросил, почему мертвяки выстраиваются в очередь на ступеньках Курорта. Валентина начала что-то говорить об остаточном инстинкте. Это, мол, горожане, которые при жизни долго и часто стояли в очередях, а у мертвяков, похоже, сохраняются какие-то остатки памяти, иначе они не копировали бы поведение живых людей, вот они и выстраиваются в очередь Толубеев согласился помочь ей в захвате подопытных кроликов, но предупредил, что они должны проявить предельную осторожность и, не дай Бог, не повредить фотоаппараты. Он и Валентине сказал, что они могут стать миллионерами.

Валентина держала толубеевскую винтовку, как и положено солдату, прижавшись щекой к прикладу, направив ствол на мертвяков. Она стояла в дверном проеме, прикрывая Чиркова и Толубеева. Толубеев взял на себя "фотографа". Чиркову предстояло провести на Курорт ходячий скелет, хотя тот стоял последним в очереди, а в Москве попытка пролезть без очереди считалась куда более тяжким преступлением, чем матереубийство. Толубеев принес несколько холщовых мешков. Они решили сначала надеть мешок на голову американу, а уж потом заводить мертвяка в вестибюль. Толубеев ловко накинул свой мешок на "фотографа", затем веревкой начал связывать запястья рук. Из-под веревки на перчатки сержанта закапала зеленовато-красная жижа. Очередь бесстрастно наблюдала за манипуляциями Толубеева. И когда тот завел свою жертву в вестибюль, за дело принялся Чирков.

Начал спускаться к ступеньке, на которой стоял скелет, с раскрытым мешком в руках. Все американцы скашивали на него глаза, когда он проходил мимо, в какой-то момент его охватила паника, он поскользнулся и упал, ударившись бедром о твердый край. С криком заскользил вниз. Грохнул выстрел, и маленькая девочка, которая выступила из очереди и заковыляла к Чиркову, осела на ступеньку, лишившись половины головы. Толубеев стрелял без промаха. У подножия лестницы Чирков поднялся. Горячая боль растеклась по бедру, бок онемел. Он огляделся. Еще три фигуры брели к Курорту. Чирков взлетел по ступенькам, забыв о покрывающей их ледяной корке. Лишь на секунду замедлил ход, чтобы схватить скелет за локоть и потащить за собой. Тот не сопротивлялся. Мышцы, как змеи, обвивали кости. Он втолкнул скелет в вестибюль, где их поджидал Толубеев со своей веревкой. Чирков повернулся и успел бросить короткий взгляд на площадь, когда Валентина уже закрывала двери. Американцы все подходили. Новые мертвяки стояли на ступеньках, которые чуть раньше занимали скелет и девочка, за ними пристроились две или три фигуры. Прежде чем окончательно закрыть двери, Валентина в щелочку оглядела очередь. Мертвяки стояли спокойно. А потом, словно по команде, все поднялись на ступеньку. Офицер занял место "фотографа", соответственно продвинулись и остальные. Валентина захлопнула двери, Чирков задвинул засовы. После этого техник Свердлова приказала отвести подопытных кроликов в парную.

* * *

На завтрак дали половину репки, на удивление свежей, пусть и прихваченной морозцем. Грызая ее, Чирков вышел из кафетерия и спустился в Бассейн, чтобы доложить о своем прибытии директору. Он полагал, что на вечернем совещании Валентина сама сообщит о подопытных кроликах, сидящих в парной, — не его дело распространять сплетни. Появившись в кабинете раньше директора, Чирков первым делом принялся кочегарить самовар: Козинцев жить не мог без горячего чая. Когда он поднес спичку к щепочкам, для растопки, сзади кто-то словно щелкнул каблуками. Он огляделся, но не увидел ничего необычного. Те же глина, парик, инструменты, череп, ящики, выполнявшие роль стульев.

Щелчок повторился. Чирков вскинул глаза на люстру. И с ней ничего не изменилось. Самовар раскопчегарился, забулькала вода. Чирков жевал репу и старался не думать о сне и американах.

Это утро Козинцев опять намеревался начать с реконструкции. Череп Григория Ефимовича Распутина буквально исчез под глиняными полосками. И очень походил на голову американа, которого Чирков вытащил из очереди: широкие красные полоски поддерживали челюсти, ныряя в дыры под скулами, фарфоровые фишки заменяли отсутствующие зубы, белея на серовато-желтом фоне, тоненькие волокна окружали глаза. Чиркову нравилось наблюдать за манипуляциями директора. На одной из полок лежала стопка фотографий Монаха, но Козинцев не любил сверяться с ними. Его метод пластической реконструкции отталкивался от контуров костей, поэтому он не стремился добиться схожести с фотографиями. Крестьянский нос картошкой Распутина совсем его замучил. Хрящи давно сгнили, вот Козинцев менял и менял носы. Несколько, упавших на пол и раздавленных, превратились в глиняные кляксы. После революции фанатики вытащили тело целителя душ из могилы и вроде бы сожгли. И существовали серьезные сомнения, решительно отмечаемые директором, а над распутинским ли черепом он работал?

На глазах у Чиркова челюсть Распутина отвисла, натягивая глиняные мышцы, а потом, резко поднялась так, что клацнули зубы. Чирков подпрыгнул, с губ сорвался нервный смешок. Прибыл Козинцев. Сбросил пальто, надел халат, поздоровался, потребовал чаю, Чирков пребывал в полном замешательстве, гадая, а не пригрезилось ли ему случившееся. Череп вновь клацнул зубами. Козинцев движение уловил, снова потребовал чаю. Чирков, выйдя из ступора, подал ему полную чашку. Потом, впервые, налил чаю и себе. Козинцев не стал комментировать столь вопиющее нарушение субординации. Он с интересом вглядывался в оживающий череп. Челюсть медленно двигалась из стороны в сторону, словно череп что-то пережевывал. Чирков задался вопросом, а уж не его ли копирует Григорий Ефимович, и перестал жевать репку. Козинцев указал, что и глаза пытаются двигаться, но глине не хватает силы настоящих мышц. И начал рассуждать вслух, а не добавить ли ему нитей, чтобы имитировать строение человеческой плоти, хотя в пластической реконструкции такое и не принято. Рот Распутина широко раскрылся, словно в молчаливом крике. Директор поднес палец к черепу и торопливо отдернул, за мгновение до того, как щелкнули челюсти. Радостно рассмеялся и назвал монаха забавным типом.

Очередь по-прежнему стояла на ступеньках. Сотрудники Курорта по одному прикипали к дверному глазку. Толубеев каждый час докладывал о сокровищах, навешанных на американах. Он клялся, что засек на одном драгоценнейший видеоплеер: Толубеев где-то раздобыл кассеты с фильмами "101 далматинец" и "Звездные шлюхи", но никак не мог их просмотреть. Капитан Жаров настаивал на том, чтобы расстрелять мертвяков, но Козинцев, поглощенный наблюдениями за черепом, не отдавал соответствующего указания, а офицер мог решиться на столь серьезные действия, лишь получив прямой приказ, предпочтительнее в письменном виде. Ради эксперимента он вышел на лестницу, спустился на несколько ступенек, наугад выбрал американа и прострелил ему череп Тот, словно мешок с костями, вывалился из очереди Жаров пнул останки, и труп, разваливаясь, катился вниз, пока не застрял в сугробе. После короткой паузы очередь передвинулась на одну ступеньку. Валентина была в парной со своими "подопытными кроликами". Новости о ее приобретении распространялись по Курорту, вызывая оживленные дискуссии. Тарханов заявился к директору, чтобы пожаловаться на коллегу, которая явно превысила свои полномочия, но ничего не успел сказать, потому что Козинцев пригласил его принять участие в изучении удивительного черепа. Доктор Дудников несколько раз позвонил в Кремль, сообщив о происходящих на Курорте и вокруг него событиях мелкому функционеру, который пообещал немедленно дать ход этой важной информации. Дудников надеялся, что тем самым удастся переориентировать на Курорт материально-технические ресурсы, которые шли в другие научные учреждения. Побудительный мотив оставался прежним! "Стулья для Курорта!"

Во второй половине дня Чирков задремал стоя, наблюдая за Козинцевым. Хотя челюсть

продолжала двигаться, череп не проявлял агрессивности и более не пытался укусить директора. Тот реквизировал у Толубеева варган и вставил его между шейных мышц в надежде, что варган сыграет роль примитивных голосовых связок. Распутин тем временем научился управлять своими невидящими глазами Чиркову особенно не нравилось, когда он закатывал нарисованные зрачки под самый лоб, оставляя на обозрение лишь белки. Чирков знал, какие невероятные усилия потребовались, чтобы убить этого человека. Яда, которого скормили ему убийцы, хватило бы, чтобы уложить слона. Потом ему стреляли в грудь и спину, пинали в голову, били дубинкой и, наконец, завернутого в портьеру, бросили в прорубь. На черепе, кстати, Козинцев нашел отметину от аристократического пинка. Но людям убить Распутина не удалось: он умер, захлебнувшись ледяной водой. Работая, Козинцев напевал какую-то веселенькую мелодию, сочиненную Прокофьевым. Чтобы чем-то занять рот, он сунул между зубов сигарету. Директор пообещал Григорию Ефимовичу, что скоро у него появятся губы, но вот с легкими ничего не мог поделать. Он поделился с черепом (а заодно и с Чирковым) своей тайной мечтой: перенести предложенный им метод пластической реконструкции на весь скелет. К сожалению, как Распутин предрекал еще при жизни, большая часть Монаха превратилась в пепел, который разнесло ветром.

Любашевский влетел в кабинет директора с телефонным аппаратом. Шнур протянулся сквозь лабиринт коридоров Бассейна, словно нить Ариадны. Звонили из Кремля. Чирков и Любашевский инстинктивно вытянулись в струнку, пока Козинцев вел душевную беседу с Генеральным секретарем. То ли Дудников позвонил кому следовало, то ли Тарханов, которого все держали за осведомителя, стукнул в КГБ, но Генеральный секретарь оказался в курсе событий. Он похвалил Козинцева и обещал выделить для морга дополнительные ресурсы. У Чиркова сложилось впечатление, что Генеральный секретарь перепутал два проекта! Козинцева хвалили за исследования Валентины. Директора же обещание выделить дополнительные ресурсы только порадовало: он мог использовать их для продолжения работы с черепом.

После телефонного разговора директор, естественно, пребывал в превосходном настроении. Он сообщил черепу, что они на пороге величайшего открытия, и требовал от Любашевского, чтобы тот слышал едва слышное звяканье варгана. Григорий Ефимович пытается с ними говорить, уверенно заявлял Козинцев. Спросил, помнит ли тот, как ел отравленный шоколад. После того как задвигалась челюсть Распутина, Козинцев прилепил к черепу глиняные уши. Оставив надежду оживить монаха, он пытался снабдить его органами чувств. Поскольку мозг Распутина сгнил или сгорел, оставалось загадкой, чего добивался директор, как, собственно, должны были функционировать эти органы. А потом доктор Дудников доложил по громкой связи, что Курорт окружен солдатами, которые закладывают взрывчатку и собираются взорвать здание. Григорий Ефимович вновь закатил глаза.

Саперы уже устанавливали заряды в вестибюле. В здание они вошли через черный ход, не столкнувшись с очередью американов, выстроившейся на лестнице, которая вела к парадной двери. Очередь все удлинялась. Командир саперов, толстяк с родимым пятном на лице (пятно это придавало ему сходство со спаниелем), представился майором Андреем Кобулинским. Он внимательно следил за работой своих подчиненных, гордо заявив, что его люди сровняют любое здание с землей, затратив минимум взрывчатых веществ. Кружа по вестибюлю и коридорам, Кобулинский указывал, куда должно поставить дополнительные заряды. На взгляд Чиркова, майор сам себе противоречил: его люди буквально обклеили стены семтексом Вид пластиковой взрывчатки. Доктор Дудников запротестовал, ссылаясь на Генерального секретаря, который лично признал, что Курорт проводит важные исследования по ликвидации вторжения американов, но Кобулинского куда больше интересовали колонны, которые следовало подорвать, чтобы обрушить расписанный декадентами потолок. Работая, саперы напевали модную песенку "Девочки просто хотят поразвлечься", Убедившись, что все заряды установлены в указанных им местах, майор Кобулинский не отказал себе в удовольствии прочитать собравшимся короткую лекцию об уже достигнутых и еще планирующихся успехах проводимой им кампании. На полу расстелили карту Москвы

площадью три квадратных ярда. Тут и там на карте краснели квадраты. Каждый являл собой целый квартал или отдельный дом, взорванный саперами Кобулинского. Чирков понял, что майор не успокоится, пока на карте не останется только один цвет — красный. Тогда, по мнению Кобулинского, и кризису придет конец. Он заявил, что сделать это следовало еще в самом начале кризиса, и американов надо только благодарить за то, что руководство страны перешло от слов к делу. Пока майор разглагольствовал, Толубеев и Любашевский — их активность не укрылась от Чиркова — пытались найти что-то пишущее в ящиках стола. Копались в куче ручек, мелков и маркеров, пробовали их на куске туалетной бумаги. Под столом кучей лежали динамитные шашки с вставленными в них детонаторами. Кобулинский взглянул на часы и сообщил, что они опережают график: взрыв грянет через полчаса. Любашевский поднял руку, чтобы привлечь к себе внимание майора, и выразил сомнение в том, что взрывчатка, уложенной под парадную лестницу, хватит для подрыва столь мощной конструкции. Поначалу Кобулинский грубо посоветовал тому не лезть не в свое дело, но потом прогулялся к лестнице, проверил установленные под ней заряды, решил, что кашу маслом не испортишь, и приказал установить еще пару десятков динамитных шашек.

Пока Кобулинский крутился у лестницы, Толубеев подкрался к карте, уперся коленями в Красную площадь, наклонился и красным фломастером замазал Курорт, расширив зону, в которой уже прогремели взрывы. Когда же Кобулинский вернулся к карте, Толубеев находился в другом конце вестибюля. Один из саперов, с новенькими наушниками, болтающимися на шее, указал майору на картографическую аномалию. Кобулинский соблаговолит посмотреть на карту, и глаза у него медленно вылезли из орбит. Карта однозначно указывала, что с Курортом его подразделение уже разобралось и на самом деле это не здание, а груда кирпичной и мраморной крошки. Другой сапер, с бейсболкой в заднем кармане брюк, достаточно убедительно припомнил, что три дня тому назад они минировали Курорт. Кобулинский вновь посмотрел на карту, опустил на четвереньки, пополз по улицам и площадям Москвы. Почесал затылок, потрогал родимое пятно. Директор Козинцев, сложив руки на груди и гордо вскинув голову, заявил, что для него вопрос закрыт, и потребовал от саперов немедленно убрать взрывчатку с вверенной ему территории. Кобулинский имел разрешение только на однократный подрыв Курорта и, согласно карте, уже произвел сие деяние. Повторить операцию он мог лишь на основании нового разрешения, а если такое разрешение будет затребовано, возникнут сомнения в эффективности подразделения Кобулинского: обычно саперы управлялись с зданием за один раз. Чуть ли не в слезах, сбитый с толку, майор приказал разминировать Курорт. С отеческой нежностью аккуратно сложил карту, убрал ее в кожаный чехол. Не принес извинений, саперы отбыли.

В ту ночь американцы Валентины выбрались из парной, и сотрудники целых три часа разыскивали их по всему Курорту. Чирков и Толубеев обследовали Бассейн. Электроэнергию вновь отключили, так что пришлось пользоваться керосиновыми лампами, которые не столько освещали, сколько нагоняли страха. Движущиеся тени нависали со всех сторон, что-то злобно шептали по-молдавски, словно голодные хищные твари. На быстрый успех рассчитывать не приходилось. Сначала они обошли Бассейн поверху, поднося лампы к самому бортику, но большая часть Бассейна оставалась в чернильной тьме. Потом спустились по лесенке у Глубокого Конца и начали методично обследовать лабиринт, протискиваясь меж деревянных перегородок, натыкаясь на расчлененные трупы, целясь в вешалки для шляп. Толубеев без умолку шептал японскую молитву, охраняющую от мертвых: "Санио, сони, сейко, мицубиси, панасоник, тошиба..."

Наконец они добрались до середины Бассейна. Американцы стояли в кабинете Козинцева и таращились на обмазанный глиной череп, словно видели перед собой цветной телевизор. Распутин стоял на подставке. Черное покрывало, наброшенное сверху, походило на волосы. Нервы Чиркова сочетания Распутина и американов не выдержали. Он вскинул револьвер и прострелил одному скелету голову. Грохот выстрела едва его не оглушил. Скелет повалился на пол. Когда к Чиркову вернулся слух, в Бассейн сбежались остальные сотрудники. Директора Козинцева более всего волновала сохранность черепа. Он ощупал его

руками и облегченно вздохнул, убедившись, что Григорий Ефимович не пострадал. Валентину рассердила потеря одного "подопытного кролика", но она благоразумно держала язык за зубами, потому что второй американ повел себя безобразно. Вывалился из кабинета, раздвигая перегородки, переворачивая столы. Тарханов в шелковом халате оказался у него на пути, вовремя не отошел в сторону, и американ кусанул его за плечо. Далеко он конечно, не ушел. Толубеев заплел ему ноги рукояткой топора, затем уселся американу на грудь и вогнал скальпель в переносицу. Американ ничем не подтвердил гипотезу Валентины. Пребывая в ожившем состоянии, мертвяк не эволюционировал: продолжал разлагаться. Но Валентина тем не менее утверждала, — что американ, убитый Чирковым, — модель биологической эффективности, отринувшая все лишнее, а потому потенциально бессмертная. Теперь, однако, американ больше напоминал грудку костей.

* * *

Даже Козинцева, который прилаживал деревянные руки своему ожившему любимцу, обеспокоила растущая очередь американов. Она змеей извивалась по площади. Американы постоянно переминались с ноги на ногу, словно грели замерзающие ступни. Капитан Жаров установил в вестибюле пулемет, нацеленный на заложенные бревнами двери. Пока пулемет лишь служил элементом устрашения, потому что ленты с патронами соответственного калибра на Курорте отсутствовали. Чирков и Толубеев наблюдали за американами с балкона. В очереди царил железный порядок. Лишь когда кто-то из американов, совсем уже разложившийся, выпадал из очереди, стоявшие сзади продвигались на шаг.

Толубеев разглядывал мертвяков в бинокль и составлял список сокровищ, которые надлежало реквизировать. Мобильные телефоны, электронные часы, синие джинсы, кожаные пиджаки, золотые браслеты, золотые зубы, шариковые ручки. Площадь превратилась в рай для карманников. Когда спустилась ночь, Чирков и Толубеев увидели, что окна не светятся даже в Кремле.

Наконец подачу электроэнергии восстановили. По радио на полицейской волне транслировали успокаивающую музыку из "Лебединого озера". На совещании собралось гораздо меньше народу, чем обычно, и Чирков вдруг понял, что часть сотрудников дезертировала. Доктор Дудников объявил, что никому не может дозвониться. Любашевский доложил, что угроза подрыва Курорта снята и едва ли возникнет вновь, но возникла новая опасность: учреждение, стертое с лица земли, могли лишиться довольствия. На кухню поступила партия свежей рыбы. Оставшиеся сотрудника очень оживились, пропустив мимо ушей слова шеф-повара о том, что многие рыбыны продолжают бить плавниками и прекрасно себя чувствуют на свежем воздухе. Валентина уже в сотый раз потребовала выделить ей для исследований живых мертвяков. Но голосование, пусть на этот раз сторонников Валентины и прибавилось, показало, что ее идеи еще не овладели массами. Козинцев официально известил всех о самоубийстве Тарханова, и собравшие почтили память коллеги, пусть и стукача, который докладывал в органы о каждом их шаге, минутой молчания. Толубеев предложил организовать вылазку на площадь, чтобы освободить стоящих в очереди американов от сокровищ, незаменимых для бартера. Никто не вызвался составить ему компанию, отчего сержант заметно погрузтел. Закрывал совещание, как и ожидалось, Козинцев. Реконструкция Григория Ефимовича продвигалась успешно. Руки с помощью простейших шарниров удалось прикрепить к подставке, на которой стоял череп. Глиняно-нитяные мышцы уже тянулись от лица к шее. Голова научилась управлять руками. Вытягивала их и напрягала мышцы запястьев, словно хотела сжать еще не существующие кулаки. Особенно вдохновляли директора звуки, которые практически непрерывно издавал варган. Хотя он и не мог сказать, музыка это или рудиментарная речь. Продемонстрировал череп и целительные способности: гайморит, которым страдал Козинцев, бесследно исчез.

* * *

Двумя днями позже Толубеев пустил американов в здание. Чирков не знал, кто подсказал сержанту такую мысль. Он просто поднялся из-за пулемета, подошел к дверям и начал откидывать бревна. Чирков не пытался его остановить, занятый совсем другой проблемой: как вставить в пулемет не подходящую к нему ленту. Тем временем Толубеев справился с бревнами, отодвинул засовы и распахнул двери. Первым, еще с того самого момента, как они завели в Курорт двух мертвяков, стоял офицер. Все это время лицо его продолжало разлагаться. Плоть слезала со скул, мешками набираясь на челюстях. Офицер, печатая шаг, двинулся в вестибюль. Любашевский, который спал на кушетке, придвинутой к столу, поднялся, чтобы посмотреть, что происходит. Толубеев сорвал с груди офицера несколько медалей, две-три достаточно ценные сунул в карман, остальные бросил на пол. Офицер, прихрамывая, направился к лифту. За офицером в вестибюль вошла женщина в костюме в полоску. Толубеев снял с нее шляпу и нахлобучил себе на голову. У следующих американов Толубеев позаимствовал серебряный идентификационный браслет, кожаный пояс, карманный калькулятор, старую брошь. Добычу он складывал на полу за своей спиной. Американы заполняли вестибюль, выстраиваясь треугольником, вершиной которого являлся офицер.

Чирков предположил, что теперь мертвяки уж точно его съедят, и пожалел о том, что не попытался забраться в постель к технику Свердловой. В револьвере оставалось два патрона, то есть он мог уложить одного американца, прежде чем уйти из этого беспокойного мира. Выбирать было из кого, но ни один не проявил к нему ни малейшего интереса. Кабина лифта ушла вниз, а те, кто не влез в нее, обнаружили лестницу. Их всех тянуло в подвал, к Бассейну. Толубеев по-прежнему продолжал собирать дань. Одних мертвяков хлопал по плечу, предлагая добровольно расстаться со своими богатствами, с других, которые выглядели совсем смиренными, сдирал то, что ему нравилось. Любашевский пришел в ужас, глядя на толпу американов, но ничего не предпринял. Потом сообразил, что решение в такой ситуации может принимать только начальство. И попросил Чиркова рассказать Козинцеву о происходящем в вестибюле. Чирков резонно предположил, что директор сейчас в Бассейне, возится с черепом Распутина, а потому текущие события скоро перестанут быть для него тайной, но тем не менее начал пробираться сквозь толпу, с трудом подавляя желание извиниться за те толчки, что доставались мертвякам. Американцы, в принципе, и сами расступались перед ним, поэтому скоро он уже обогнал толпу и с криком "Американцы идут!" подбежал к бортику Бассейна. Исследователи подняли головы, он увидел, как раздраженно сверкнули глаза Валентины, и подумал, что, наверное, уже поздно говорить с ней о сексе. Толпа мертвяков накатывала на Чиркова, прижимая его к кромке Бассейна. Он спрыгнул вниз, благо находился на Мелком Конце, и поспешил к кабинету Козинцева. Многие перегородки уже снесли, так что к директору вела широкая дорога. Валентина надула губки, взглянув на него, но тут же ее глаза широко раскрылись: она увидела ноги, окружающие Бассейн. Американцы посыпались вниз, круша столы и трупы, многие, упав, уже не могли подняться. Однако самые крепкие продолжали продвигаться к цели, затаптывая и оттесняя техников. Люди кричали, по дну Бассейна текла кровь. Чирков выстрелил не глядя: пуля оторвала ухо у бородатого мертвяка в поношенном костюме. Потом повернулся и бросился к кабинету Козинцева. Влетев в кабинет, подумал, что директора нет, но потом понял, что ошибся. Уйдя с головой в работу, В. А. Козинцев соорудил деревянный каркас, который установил себе на плечи так, что голова стала сердцем нового тела, которое он сотворил для Григория Ефимовича Распутина. На голову, значительно прибавившую в размерах, спасибо глиняно-резиновым мышцам, директор уже нацепил парик и бороду. Появились на лице Распутина губы и кожа. Верхняя, деревянная, часть тела напоминала торс великана с огромными руками, но из-под него высывались тоненькие ножки-спички директора. Чирков уж подумал, что такую громадину директор не выдержит, однако нет, он не падал, его даже не качало. Чирков посмотрел на гротескное лицо Распутина. Синие глаза сверкали, не стеклянные — живые.

Валентина, раскрыв рот, замерла рядом с Чирковым. Тот обнял ее и дал себе клятву, что при необходимости пуля, которую он оставил для себя, достанется ей. Он вдохнул аромат ее надушенных волос. Теперь они вдвоем смотрели на святого маньяка, который полностью подчинил себе женщину, а через нее и Европу, чтобы потом погубить их обеих. Распутин коротко глянул на них, а потом перевел взгляд на американов. Они толпились вокруг, пилигримы, пришедшие в храм. Ужасная улыбка осветила грубое лицо. Вытянулась рука с ладонью-лопатой и пальцами, сотворенными из хирургических инструментов. Рука упала на лоб ближайшего из американов, офицера. Лицо мертвяка полностью исчезло под ладонью, пальцы охватили голову. Похоже, Григорию Ефимовичу хватало сил, чтобы расколоть череп, как яйцо, но пальцы лишь крепко обжимали его. Распутин вскинул глаза на люстру, из горла донесся долгий, монотонный, вибрирующий звук. Американ завибрировал, плоть и одежда посыпались с него, словно капустные листья. Наконец Распутин отпустил мертвяка. Теперь он напоминал скелет, который изучала Валентина, только выглядел куда более крепким и сильным. Он выпрямился во весь рост, потянулся. Хромота исчезла, поврежденный коленный сустав стал как новенький. Американ щелкнул зубами и огляделся в поисках свежего мяса. Второй американ занял его место под рукой Распутина. Григорий Ефимович излечил и его. А потом третьего, четвертого...

Томас Лиготти Эта тень, эта тьма

Было похоже, что Гроссфогель взял с нас грабительскую сумму за то, что предлагал. Некоторые из нас (всего нас было около двенадцати) винили себя и наш собственный идиотизм с той минуты, как мы оказались в этом месте, которое один опрятно одетый джентльмен тут же окрестил "Средоточием нигде". Тот же самый джентльмен, который несколько дней назад сообщил своим собеседникам, что он перестал писать стихи из-за отсутствия, как он считал, надлежащего преклонения перед его новаторской "герметической лирикой", а затем объявил место, где мы оказались, именно таким, какого нам следовало бы предвидеть и скорее всего именно таким, какое мы, идиоты и неудачники, вполне заслужили. У нас, объяснил он, не было ни малейших оснований ожидать чего-либо лучше, чем мертвый городок Крэмптон в самой нигдешней области всей страны, да и всего мира, если на то пошло — в самую унылую пору года, вклинившуюся между щедрой ослепительной осенью и тем, что обещает быть щедрой и ослепительной зимой. Мы в ловушке, сказал он, практически заперты в той области страны и всего мира, где в окружающем пейзаже налицо все признаки этой унылой поры или, вернее, полное отсутствие каких бы то ни было признаков, где абсолютно все полностью ободрано до голого остова, и где жалкая безличность форм в их неприкрытой наготе столь беспощадно бросается в глаза. Когда я указал, что гроссфогелевский проспект этой экскурсии, названной "физически-метафизической экскурсией", строго говоря, нигде прямо не вводил в заблуждение относительно цели нашей поездки, ответом мне были злобные взгляды соседей за нашим столиком, а также и сидевших за столиками вокруг в небольшой, почти миниатюрной столовой, в которую втиснули всю нашу группу, под завязку набив зал любителями экзотики, которые, перестав на минуту-другую препираться, просто тупо смотрели в убийственной тишине на пустые улицы и полуразрушенные здания мертвого городка Крэмптон, видневшиеся в затуманенных окнах. Затем городок был язвительно назван "убогой бездной" — так выразился скелетообразный субъект, всегда представлявшийся "расстриженным академиком". Такое самообозначение обычно провоцировало вопрос о том, что, собственно, оно обозначает, после чего он пускался в подробные объяснения, как неспособность приспособить свое мышление к требованиям "интеллектуального базара", по его выражению, вкупе с неумением скрывать свои неортодоксальные изыскания и методики лишили его возможности получить пост в каком-нибудь пристойном академическом учреждении или любом другом учреждении, а также фирме. То есть он пребывал в

убеждении, что его фиаско являются его высоким отличием, и в этом смысле он был типичен для всех нас — тех, кто сидел за несколькими столиками и у стойки этой миниатюрной столовой и жаловался, что Гроссфогель запросил с нас грабительскую сумму и в какой-то мере преувеличил в своем проспекте важность и смысл экскурсии в мертвый городок Крэмптон.

Вытащив из заднего кармана брюк мой экземпляр гроссфогелевского проспекта, я положил его перед тремя моими соседями по столику. Затем достал мои хрупкие очки для чтения из кармана старого джемпера под моим даже еще более старым пиджаком, чтобы еще раз проштудировать эти страницы и подтвердить подозрения, которые у меня возникли относительно их истинного смысла.

— Если вы имеете в виду мелкий шрифт... — начал мой сосед слева, фотограф-портретист, который обычно закашливался, стоило ему заговорить, как случилось и на этот раз.

— Мне кажется, мой друг собирался сказать следующее, — пришел ему на помощь мой сосед справа. — Мы стали жертвой аферы — и очень хитрой аферы. Я говорю от его имени, так как именно таков ход его мысли. Я прав?

— Метафизической аферы, — подтвердил мой сосед слева, на секунду перестав кашлять.

— О да, метафизической аферы, — повторил сосед справа с легкой насмешкой. — Мне и в голову не могло прийти, что я попадусь на подобную наживку, учитывая мой опыт и особые знания. Но, разумеется, это чрезвычайно тонкое и, сложное мошенничество.

Я знал, что мой сосед справа — автор неопубликованного философского трактата, озаглавленного "Исследование заговора против человечества", — но я не совсем понял, что он подразумевал под своим "опытом и особыми знаниями". Прежде чем я успел обратиться к нему за пояснениями, меня бесцеремонно перебила женщина, моя визави.

— Мистер Райнер Гроссфогель — шарлатан, вот и все, — сказала она достаточно громко, чтобы ее услышали все в зале. — Я, как вам известно, уже некоторое время знала о его надувательствах. Даже до его так называемого метаморфического озарения или как он там это называет...

— Метаморфического исцеления, — подсказал я.

— Прекрасно! Его метаморфического исцеления, что бы это там ни значило. Еще до этого я замечала у него все признаки шарлатанства. И требовались только удачно сложившиеся обстоятельства, чтобы оно вырвалось наружу. И тут — якобы неизлечимая болезнь, которая, по его утверждению, привела к этому — мне трудно даже выговорить — метаморфическому исцелению. И он получил возможность пустить в ход все таланты шарлатана, каким всегда намеревался стать. Я присоединилась к этой экскурсии, к этому фарсу, только чтобы иметь удовольствие увидеть, как другие поймут то, что я всегда знала и всегда говорила про Райнера Гроссфогеля. Вы все — мои свидетели, dokonчила она, а ее глаза в кольце морщин и щедрого макияжа рыскали по нашим лицам и лицам остальных в зале в поисках искомой поддержки.

Эта женщина была мне известна только под ее профессиональным псевдонимом — миссис Анджела. До последнего времени она управляла тем, что все в нашем кружке называли "спиритуалистической кофейней". В числе угощений и услуг, предлагаемых этим заведением, имелся прекрасный выбор превосходных пирожных — творений самой миссис Анджелы — во всяком случае, так она утверждала. К несчастью, ни спиритуалистические сеансы, проводившиеся медиумами, нанятыми миссис Анджелой, ни превосходные пирожные с кофе по несколько завышенной цене не смогли обеспечить процветание ее заведения. Именно миссис Анджела первая во всеуслышание пожаловалась на качество как обслуживания, так и скромного подкрепления сил, которые ожидали нас в крэмптонской столовой. Вскоре после того, как мы прибыли днем и немедленно набились в единственное работающее заведение в городке, миссис Анджела подозвала молодую женщину, чьей обязанностью было единолично обслуживать нашу группу.

"Этот кофе нестерпимо горек! — крикнула она девушке, одетой в словно бы с иголки новую униформу. — А плюшки зачерствели все до единой. Куда нас завезли? По-моему. Этот городишко и все в нем — сплошной обман".

Когда девушка подошла к нашему столику и остановилась перед нами, я заметил, что ее костюм больше подошел бы больничной сестре, чем официантке в скромной столовой. А главное, он мне напомнил униформу, которую я видел на сестрах в больнице, где лечился Гроссфогель и в конце концов исцелился от болезни, казавшейся крайне серьезной. Пока миссис Анджела всячески поносила официантку за качество поданных нам кофе и плюшек, которые составляли часть того, что гроссфогелевская брошюра превозносила как "ни с чем не сравнимую физико-метафизическую экскурсию", я перебирал все, что хранила моя память о пребывании Гроссфогеля в этой плохо оборудованной, подчеркнуто несовременной больнице, где он лечился — пусть совсем недолго за два года до нашей поездки в мертвый городок Крэмpton. Он попал в убогую палату из приемного покоя, который был попросту черным ходом даже не в больницу в строгом смысле слова, а скорее импровизированный лазарет, помещавшийся в обветшалом старом доме в том же районе, где Гроссфогель и большинство знавших его вынуждены были жить из-за наших весьма ограниченных финансовых средств. Именно я был тем, кто отвез его на такси в этот приемный покой и сообщил регистраторше все необходимые сведения о нем, поскольку сам он был не в состоянии говорить. Позже я объяснил сестре, которую считал всего лишь санитаркой в костюме сестры, настолько скудными казались ее сведения в области медицины — что Гроссфогель упал без сознания в местной картинной галерее, на открытии скромной выставки его произведений. Я сообщил ей, что он впервые предстал перед публикой как художник и впервые же оказался жертвой внезапного обморока. Однако я не упомянул, что указанную галерею точнее было бы назвать пустующим складским помещением, которое время от времени подметали и сдавали под различные выставки и всякие художественные вечера. Весь вечер Гроссфогель жаловался на боли в животе, сказал я сестре, а потом повторил это заведующему приемным покоем, который также показался мне более похожим на санитаря, чем на дипломированного врача. На протяжении вечера эти боли усиливались, сообщил я сестре и врачу, по моему мнению из-за возрастающего волнения Гроссфогеля при виде собственных картин, выставленных на всеобщее обозрение, поскольку он всегда относился с подчеркнутым недоверием к своему таланту, как художника — и с полным на то основанием, сказал бы я. С другой стороны, нельзя было исключить и серьезного физического недуга, признал я, когда говорил с сестрой, а позднее и с врачом. Как бы то ни было, но Гроссфогель рухнул на пол картинной галереи и с того момента был способен только стонать — жалобно и, если уж на то пошло, довольно-таки противно.

Выслушав мой рассказ об обмороке Гроссфогеля, врач предписал художнику лечь на каталку, ожидавшую в глубине скверно освещенного коридора, сам же врач вместе с сестрой удалился в противоположном направлении. Все время, пока Гроссфогель лежал на этой каталке среди теней этой скроенной на скорую руку больнички, я стоял подле него. Была уже глубокая ночь, и стоны Гроссфогеля заметно поутихли, но для того лишь, чтобы смениться тем, что в тот момент я принял за прерывистый бред. В течение этой бредовой декламации художник несколько раз упомянул какую-то "всепроникающую тень". Я сказал ему, что дело в скверном освещении коридора, и собственные слова показались мне несколько бредовыми из-за усталости, вызванной событиями этого вечера и в галерее, и в этой паршивой больничке. Но Гроссфогель — в бреду, я полагаю, — только обводил коридор взглядом, словно не видел, что я стою там, и не слышал моих обращенных к нему слов. Тем не менее он прижал ладони к ушам, словно оберегая их от какого-то мучительного оглушающего звука. Потом я просто стоял там и слушал бормотание Гроссфогеля, никак не откликаясь на его бредовые и все более усложненные фразы о "всепроникающей тени, которая вынуждает предметы быть тем, чем они не являются", а затем (позднее) о "вседвижущей тьме, которая вынуждает предметы делать то, чего они не делают".

Послушав Гроссфогеля так примерно с час, я заметил, что врач и сестра стоят почти

вплотную друг к другу в дальнем конце этого темного коридора. Они, казалось, очень долго совещались и очень часто то по отдельности, то вместе поглядывали туда, где я стоял рядом с распростертым на каталке и бормочущим Гроссфогелем, гадая, долго ли еще они будут продолжать эту медицинскую шараду, эту больничную пантомиму, пока художник лежит тут, стонет и все чаще бормочет что-то про тень и тьму. Возможно, я на минуту, стоя, задремал, так как внезапно сестра очутилась передо мной, а врач исчез. В мрачном сумраке коридора белая униформа сестры словно светилась.

— Можете теперь вернуться домой, — сказала она мне. — Вашего друга примут в больницу.

После этого она покатила Гроссфогеля к лифту в конце коридора. Едва она приблизилась к дверям лифта, как они быстро и бесшумно раздвинулись, озарив темный коридор ярчайшим светом. Когда они разошлись до конца, я увидел, что в кабине стоит врач. Он потянул каталку в сияние кабины, а сестра подтолкнула ее сзади. Едва все они оказались внутри, как двери бесшумно сомкнулись, и коридор, в котором все еще стоял я, снова заполнили тени, словно бы более густые, чем раньше.

На следующий день я посетил Гроссфогеля в больнице. Его поместили в маленькую отдельную палату в дальнем углу верхнего этажа. Пока я шел к его палате, номер которой получил в справочной, мне показалось, что все остальные палаты на этом этаже пустуют. Только когда я увидел нужный номер и заглянул внутрь, моим глазам предстала занятая кровать, и внушительно занятая, так как Гроссфогель был весьма корпулентен, и ему потребовались вся длина и ширина старого продавленного матраса. Он выглядел настоящим великаном на этом маленьком казенном матрасе, в этой комнатухе без окон. Мне еле удалось втиснуться между стеной и кроватью художника, который словно бы продолжал бредить, как накануне ночью. Не было никаких признаков, что он заметил мое присутствие, хотя из-за тесноты я чуть ли не лежал на нем. Даже, когда я несколько раз назвал его по имени, его слезящиеся глаза не обратились на меня. Однако, едва я начал пятиться от кровати, как к моему изумлению Гроссфогель ухватил меня за плечо огромной левой рукой, той самой, которой он писал и рисовал творения, выставленные накануне в складском помещении, отданном под картинную галерею.

— Гроссфогель, — сказал я с надеждой, думая, что он наконец как-то отзовется на мое присутствие, хотя бы снова заговорив про всепроникающую тень (которая вынуждает предметы быть тем, чем они не являются), о вседвижущей тьме (которая вынуждает предметы делать то, чего они не делают). Однако через секунду-другую его рука расслабилась и соскользнула с моего плеча на самый край бугристого казенного матраса, на котором его тело вновь застыло в неподвижности.

Вскоре я вышел из отдельной палаты Гроссфогеля и прошел к посту дежурной сестры на том же этаже узнать о состоянии художника. Единственная сестра на посту выслушала мою просьбу и заглянула в папку с пометкой "Райнер Гроссфогель" в одном из верхних уголков. Поизучав меня несколько дольше, чем она изучала содержимое папки, касающееся художника, а теперь пациента этой больницы, она сказала просто:

— Ваш друг находится под строгим наблюдением.

— И это все, что вы можете мне сказать?

— Результаты его анализов еще не получены. Можете узнать о них позже.

— Позже, но сегодня?

— Да, позже сегодня, — ответила она и, взяв папку Гроссфогеля, скрылась за соседней дверью. Я услышал скрип выдвигаемого ящика и резкий стук, когда он был задвинут. Сам не знаю, почему, но я стоял там и ждал, когда сестра выйдет из помещения, куда унесла папку Гроссфогеля. В конце концов я устал ждать и отправился домой.

Когда позже в этот день я позвонил в больницу, мне сообщили, что Гроссфогель выписан.

— Он поехал домой? — ничего другого мне в голову не пришло.

— Нам неизвестно, куда он направился, — ответила женщина, снявшая трубку, и тут же

положила ее на рычаг. И никто другой не знал, куда девался Гроссфогель, потому что домой он не вернулся, а в нашем кружке никто понятия не имел, где он может находиться.

Прошло несколько недель — во всяком случае больше месяца после выписки Гроссфогеля из больницы и последовавшего его освобождения, когда по воле случая некоторые из нас встретились в складской картинной галерее, где художник упал в обморок в день открытия своей первой выставки. К этому времени даже я уже не вспоминал о Гроссфогеле и о том, как он без всякого предупреждения исчез с нашего горизонта. Тем более, что он был далеко не первым из нас, пропавшим без вести: ведь наш кружок состоял из более или менее неуравновешенных, а то и опасно переменчивых людей, которые были вполне способны впутаться в какие-нибудь темные дела под влиянием тех или иных творческих либо интеллектуальных побуждений или просто в смятении духа.

По-моему, про Гроссфогеля мы упомянули, прохаживаясь в тот день по галерее, потому лишь, что его работы все еще были выставлены там, и куда бы мы ни смотрели, в глаза нам бросались то картина, то рисунок, то еще какое-либо его творение, которые, как я сам написал в каталоге к выставке, являли "воплощение видения исключительно одаренного художника-провидца", хотя на самом деле они все без исключения были пошловатыми образчиками того рода художественных поделок, которые по причинам, неизвестным никому из причастных к ним лиц, иногда приносят их создателю некоторый успех, а то и славу.

— Что мне делать с этим хламом? — пожаловалась женщина, владелица, а может, просто арендаторша складского помещения, сданного под картинную галерею.

Я уже собрался сказать ей, что возьму на себя избавление галереи от гроссфогелевских работ и, может быть, даже помещу их куда-нибудь на временное хранение, но тут вмешался скелетообразный субъект, всегда представлявший "расстриженным академиком", и рекомендовал расстроенной владелице — или по крайней мере арендаторше — картинной галереи отправить их в больницу, где предположительно лечится Гроссфогель. Когда я спросил, почему он употребил слово "предположительно", то услышал:

— Я давно подозреваю, что это довольно сомнительное место, и в этом я не одинок.

Тогда я спросил, есть ли у него какие-нибудь факты для такой его уверенности, но он только скрестил костлявые руки на груди и взглянул на меня так, будто я его оскорбил.

— Миссис Анджела, — сказал он женщине, которая стояла неподалеку, рассматривая картину Гроссфогеля так пристально, словно серьезно подумывала, не купить ли ее. В то время спиритическая кофейня миссис Анджелы еще не доказала своей финансовой несостоятельности, и, возможно, ей казалось, что творения Гроссфогеля, хотя и очень посредственные с точки зрения искусства, тем не менее окажутся созвучными двусмысленности ее заведения, где клиенты сидят за столиками и получают советы от нанятых ею консультантов-медиумов, одновременно услаждая себя широким выбором превосходных пирожных.

— Вам следует прислушаться к тому, что он говорит про эту больницу, сказала мне миссис Анджела, не отводя взгляда от картины Гроссфогеля. — У меня она давно вызывает сильное неприятное чувство. В некоторых ее аспектах есть что-то чрезвычайно сумбурное.

— Сомнительное! — поправил расстриженный академик.

— Да, — ответила миссис Анджела. Во всяком случае, это не то место, где я хотела бы оказаться, проснувшись однажды поутру.

— Я написал о ней стихотворение, — сказал опрятно одетый джентльмен, который все это время мерил шагами пол галереи, несомненно выжидая удобной минуты, чтобы подойти к женщине, которая была владелицей или арендаторшей складского помещения и убедить ее устроить то, о чем он без конца разглагольствовал, а именно "вечер герметической поэзии", гвоздем которого, разумеется, должны были стать его собственные произведения. — Я как-то прочел вам это стихотворение, — сказал он владелице галереи.

— Да, вы мне его читали, — подтвердила она без всякого выражения.

— Я написал его после того, как поздно ночью получил первую помощь в тамошнем приемном покое, пояснил поэт.

— А что с вами было? — спросил я.

— О, ничего серьезного, как выяснилось. Через несколько часов я уже был дома. Рад сказать, в палату меня не положили. Это место (я цитирую свое стихотворение о нем) — "средоточие бездн".

— Прекрасно сказано, — сказал я, — но не могли бы мы поговорить более конкретно?

Однако, прежде чем я сумел вытянуть ответ у самопровозглашенного творца герметической лирики, дверь картинной галереи внезапно была распахнута с силой, которую мы все внутри тотчас узнали. Секунду спустя мы увидели перед собой корпулентную фигуру Райнера Гроссфогеля. Физически он в большей своей части словно был тем же человеком, которого я помнил до его падения на пол картинной галереи шагах в пяти от того места, где я стоял сейчас, и в нем не осталось ничего от стонущего бредящего индивида, которого я отвез в приемный покой больницы для немедленного принятия мер. Однако в нем чудилось что-то иное, скрытая, но полная перемена в том, как он смотрел на то, что перед ним: если взгляд художника был привычно опущен или нервно отведен в сторону, его глаза теперь смотрели прямо и были исполнены спокойной целеустремленности.

— Все это я забираю, — сказал он, делая широкий, но мягкий жест в сторону плодов своего творчества, которые заполняли галерею: ни единое не было продано ни в день открытия выставки, ни за все время его исчезновения. — Я был бы благодарен вам за помощь, если вы склонны ее оказать, — добавил он и начал снимать картины со стен.

Мы все соединили наши усилия с его усилиями, не задавая вопросов, ничего не говоря, и нагруженные произведениями искусства, большими и малыми, последовали за ним из галереи на улицу к видешему виды пикапчику, припаркованному у тротуара перед входом. Гроссфогель небрежно швырнул свои творения в кузов взятой на прокат, а может быть, одолженной машины (поскольку до этого дня никаких транспортных средств вроде бы у него не имелось), нисколько не заботясь о возможных повреждениях лучших образчиков, как он прежде считал, сошедших к этому моменту с его творческого конвейера. Миссис Анджела немного поколебалась, возможно, все еще прикидывая, как одно или несколько этих произведений будут смотреться в ее спиритически-кондитерской кофейне, но затем и она принялась выносить творения Гроссфогеля из галереи и швырять их в кузов пикапчика, где их куча росла все выше и выше, точно мусорная, пока стены и пол галереи полностью не очистились, и она ни обрела вид типичного пустующего складского помещения. Затем Гроссфогель сел за руль, а мы все стояли в изумленной тишине перед очищенной картинной галереей. Высунув голову в окошко взятого на прокат или одолженного пикапчика, он окликнул женщину, которая заведовала галереей. Она подошла к пикапчику со стороны водителя и обменялась с художником несколькими словами перед тем, как он завел мотор машины и уехал. Вернувшись туда, где мы продолжали стоять на тротуаре, она сообщила нам, что через несколько недель в галерее откроется новая выставка работ Гроссфогеля.

* * *

Вот такой была новость, облетевшая кружок художников и интеллектуалов, с которыми я общался: Гроссфогель после тяжелого приступа неизвестной болезни и обморока на первой весьма неудачной выставке своих работ намерен устроить вторую выставку, после того как полностью очистил галерею от более чем посредственных картин, рисунков и всего прочего, уже предложенного им обозрению публики, и увез их в кузове пикапчика. Разумеется, новой выставке Гроссфогеля была устроена профессиональная реклама заботами женщины, которой принадлежала картинная галерея и которая могла получить финансовую выгоду от продажи того, что в рекламном проспекте этого мероприятия не слишком уклончиво было названо "кардинальной и перепроviderской фазой в творчестве знаменитого художника-провидца Райнера Гроссфогеля". Тем не менее из-за обстоятельств, связанных как с прошлой, так и с предстоящей выставкой, сразу же все было окружено туманом бредовых, а порой и жутковатых сплетен. Такое развитие событий вполне отвечало натуре тех, кто составлял этот

кружок сомнительных (не говоря уж о сумбурных) художников и интеллектуалов, в котором я неожиданно занял центральное место. В конце-то концов это я отвез Гроссфогеля в больницу после его обморока на выставке его работ, и именно больница — уже, как я узнал, обладавшая странной репутацией, — мрачно маячила в тумане сплетен и предположений, сгустившемся вокруг предстоящей выставки Гроссфогеля. Намекали даже на особые процедуры и медикаментацию, которым подвергся художник за краткое пребывание там (чем объяснялось его непонятное исчезновение и последовавшее возвращение) для достижения того, что по мнению многих должно было оказаться "художественным провидением". Вне сомнения, именно эти ожидания, эта отчаянная надежда на нечто потрясающей новизны и ослепляющего блеска, которые некоторым индивидам со слишком горячечным воображением мнились, как прорыв за пределы чистой эстетики и понудили многих в нашем кружке принять неортодоксальную природу следующей выставки Гроссфогеля, а также объяснило эмоциональное ощущение обманутости, поджидавшее тех из нас, кто пришел на открытие выставки.

И, сказать правду, произошедшее в галерее в тот вечер ничем не напоминало открытия выставок, привычные нам: стены и пол галерей оставались такими же пустыми, какими стали после того, как Гроссфогель приехал в "пикапчике" и увез все свои работы со своей прежней выставки, тогда как новая, как мы скоро узнали, приехав туда, должна была открыться в небольшой комнате в глубине складского помещения. Далее: с нас взяли солидную плату за вход в эту маленькую заднюю комнату, освещенную лишь несколькими очень слабыми лампочками, кое-где свисавшими на шнурах с потолка. Одна покачивалась в углу комнаты над столиком, накрытым обрывком простыни, под которым что-то крутилось. От этого угла с тусклой лампочкой и столиком под обрывком простыни расходились полукружья кое-как расставленных складных стульев. Эти неудобные стулья в конце концов были заняты теми из нас (всего десяток с небольшим), кто был готов уплатить солидную сумму за право увидеть то, что больше смахивало на незатейливый театр одного актера, чем на художественную выставку. Я слышал, как миссис Анджела на стуле позади меня снова и снова повторяла сидевшим рядом: "Что происходит, черт подери?" В конце концов она наклонилась ко мне со словами:

— Что еще затеял Гроссфогель? Я слышала, что с тех пор, как он вышел из больницы, его до одурения пичкали всякой дрянью.

Тем не менее художник, казалось, был в ясном уме и твердой памяти, когда минутную спустя, он прошел между кое-как расставленными стульями и встал рядом со столиком, накрытым обрывком простыни, над которым покачивалась тусклая лампочка. В тесноте задней комнаты картинной галереи корпулентный Гроссфогель выглядел почти великаном — точно так же, как он выглядел, когда лежал на казенном матрасе в своей отдельной палате. Даже его голос, который обычно бывал негромким, почти шепчущим, казалось, усилился, когда он обратился к нам.

— Благодарю вас всех за то, что вы пришли сюда сегодня, — начал он. Много времени это не займет. Мне нужно сказать вам совсем немного, и мне хотелось бы кое-что вам показать. Право же, поистине чудо, что я стою здесь и говорю с вами вот так. Не столь давно, как некоторые из вас, возможно, помнят, в этой самой картинной галерее со мной случился тяжелейший припадок. Надеюсь, вы не против того, чтобы я сообщил вам некоторые сведения о природе этого припадка и его последствиях, ибо по моему убеждению это необходимо для должного восприятия того, что я должен показать вам сегодня.

Ну, так разрешите мне начать, указав, что припадок, сразивший меня в этой картинной галерее во время открытия моей выставки, на одном уровне по своей природе был простым желудочно-кишечным расстройством, пусть и очень серьезным для недуга такого рода. Это желудочно-кишечное заболевание, это расстройство моего пищеварительного тракта развивалось во мне уже долгое время. В течение многих лет это расстройство незаметно прогрессировало на одном уровне — в недрах моего организма, а на другом — в самом темном аспекте моего существа. Этот период совпал и, собственно говоря, был порожден

моим горячим желанием, связанным с одной областью искусства: иными словами, моим желанием сделать нечто, то есть творить произведения искусства, а также моим желанием быть кем-то, то есть художником. На протяжении периода, о котором я говорю, а если на то пошло, то и на протяжении всей моей жизни я пытался сотворить что-то своим сознанием, и особенно созидать творения искусства с помощью единственного, как я считал, средства, имеющегося в моем распоряжении, а именно: используя мое сознание или используя мое воображение, или творческие способности, используя, короче говоря, некую силу или функцию того, что люди называют душой, или духом, или просто личностью. Но когда я лежал на полу галереи, и позже, в больнице, испытывая невыразимую боль в брюшной полости, меня потрясло сознание, что у меня нет ни духа, ни воображения, которыми я мог бы воспользоваться, и ничего, что я мог бы назвать своей душой — все это нонсенс и пустые иллюзии. В моем жестоком желудочно-кишечном страдании я осознал, что хоть в какой-то степени существует лишь это физическое тело, размерами больше среднего. И я осознал, что сделать это тело ничего не может, кроме как функционировать в физической боли, и не может быть ничем, кроме того, чем является — не художником, не творцом чего-либо, а только грудной плотью, системой костей, тканей и прочего, терпящей муки, сопряженные с расстройством ее пищеварительного тракта, и все, что бы я ни делал, если оно не прямо проистекает из этих фактов — а уж особенно при создании произведений искусства, — было глубоко и полностью поддельно и нереально. И в то же время я осознал силу, которая скрывалась за моим горячим желанием что-то сделать и быть чем-то, и особенно за моим желанием творить полностью поддельные и нереальные произведения искусства. Иными словами, я осознал, что именно активизирует мое тело на самом деле.

Прежде, чем продолжить это вступление, составлявшее первую часть его художественной выставки — или театра одного актера, как я мысленно ее определил, Гроссфогель помолчал, словно оглядывая свою маленькую аудиторию, сидящую в задней комнате галереи. То, что он сообщил нам касательно своего тела и нарушения его пищеварительной функции, в общем, было достаточно понятно, несмотря на то что некоторые положения, которые он формулировал, выглядели в тот момент сомнительными, а взятые целиком — в некоторой степени не слишком привлекательными. Однако мы отнеслись к словам Гроссфогеля с терпимостью, так как, полагаю, нам казалось, что они подведут нас к следующей, возможно, более аппетитной фазе испытанного им, поскольку каким-то образом мы уже почувствовали, что оно не так уж чуждо нашему собственному опыту, идентифицируемся ли мы с его своеобразной желудочно-кишечной природой или нет. А потому мы молчали, чуть ли не почтительно, если учесть неортодоксальность происходившего в тот вечер, и Гроссфогель продолжал излагать то, что должен был поведать нам, перед тем, как совлечь покрывало с того, что доставил сюда показать нам...

— Все это так, так просто, — продолжал художник. — Наши тела ведь всего лишь одно из проявлений энергии той активизирующей силы, которая приводит в движение все предметы, все тела в этом мире и позволяющей им существовать так, как они существуют. Эта активизирующая сила несколько подобна тени, находящейся снаружи всех тел этого мира, но внутри, пронизывая их все насквозь, — вседвижущая тьма, которая сама по себе не имеет субстанции, однако движет все предметы в этом мире, включая и предметы, которые мы называем нашими телами. Пока я находился в муках моего желудочно-кишечного припадка в больнице, где меня лечили, я, так сказать, спустился в ту бездну сущности, где мог ощутить, как эта тень, эта тьма активизирует мое тело. Кроме того, я мог слышать ее движение не только внутри моего тела, но и во всем вокруг меня, так как производимый ею звук не был звуком моего тела. Собственно, это был звук этой тени, этой тьмы, могучий рев — звук неведомого звериного океана, накатывающегося на черные и бесконечные берега, непрерывно их пожирая. Точно так же мне было дано воспринять действие этой всепроникающей и вседвижущей силы с помощью обоняния и вкуса, а также осязания, присущих моему телу. Наконец, я открыл глаза, ибо почти на всем протяжении мучительного испытания, которому меня подверг мой пищеварительный тракт, мои веки оставались крепко

зажмуренными от боли. А когда я открыл глаза, то обнаружил, что способен видеть, как все вокруг меня, включая и мое собственное тело, активизируется изнутри этой всепроникающей тенью, этой вседвижущей тьмой. И ничто не выглядело таким, каким я привык его видеть. До той ночи я никогда не воспринимал мир через мои физические органы чувств, каковые находятся в прямом контакте с этой бездной сущности, которую я называю тенью, тьмой.

Должен признаться, что перед моим физическим коллапсом в этой самой картинной галерее я испытал психический коллапс — коллапс чего-то поддельного и нереального, какого-то — это разумеется само собой какого-то нонсенса и иллюзорности, хотя в тот момент все это представлялось мне подлинным и реальным. Этот коллапс моего сознания и моей личности был вызван холодностью приема, какой оказали моим художественным творениям посетители, собравшиеся на открытие моей первой выставки, тем, насколько неудачными они оказались как произведения искусства, постыдным фиаско даже среди поддельных и нереальных произведений искусства. Эта провалившаяся выставка показала мне, какое фиаско я потерпел в моих усилиях стать художником. Все посетители выставки могли видеть, какой неудачей оказались плоды моего творчества, и я видел всех и каждого в момент оценки моего ничем не смягченного провала как художника. Таков был психический кризис, который ускорил мой физический кризис и последовавший затем коллапс моего тела в спазмах желудочно-кишечной агонии. Едва мое сознание и ощущение себя как личности разрушилось, в действии остались только мои органы физических чувств, благодаря которым я получил возможность впервые напрямую ощутить эту бездну сущности, то есть тень, тьму, которая активизировала мое горячее желание добиться успеха, делать что-то и быть кем-то, и тем самым активизировала мое тело для движения в этом мире, точно так же, как активизируются Асе тела. И то, что я ощутил через прямые каналы сенсорного восприятия — зрелище тени внутри все и вся, вседвижущую тьму, — было неопишимо ужасно, и уже я не сомневался, что перестану существовать. В определенном смысле я действительно перестал существовать таким, каким существовал до этого вечера, поскольку мои чувства сенсорного восприятия теперь функционировали иначе — особенно слух и зрение. Без вмешательства моего сознания и моего воображения — всех этих нонсенов и иллюзий касательно моей души и моей личности — я был вынужден видеть все вещи в аспекте тени внутри них, тьмы, которая их активизировала. И это было невыразимо ужасно — настолько, что у меня нет слов, чтобы описать вам это.

Тем не менее Гроссфогель продолжал описывать в мельчайших деталях тем из нас, кто заплатил чрезмерную сумму за право увидеть его театр одного актера — описывать неопишемую ужасность того, как он теперь вынужден видеть мир вокруг себя, включая и его собственное тело в желудочно-кишечных муках, а также свою категорическую уверенность в том, что такое видение вещей вскоре станет причиной его смерти, вопреки всем мерам для его спасения, принятым, пока он находился в больнице. Гроссфогель утверждал, что у него осталась только одна надежда выжить: а именно, погибнуть полностью в том смысле, что личность, или сознание, или "я" того, что прежде было Гроссфогелем, действительно перестанет существовать. Это обязательное условие выживания, заявил он, толкнуло его физическое тело подвергнуться "метаморфическому исцелению". Через пару часов, сообщил нам Гроссфогель, он больше не испытывал острых болей в брюшной полости, которые привели его к коллапсу, и более того: теперь он мог терпеть свою необратимую обреченность видеть вещи, цитируя его, "в аспекте тени внутри них, тьмы, которая их активизирует". Поскольку человек, который был Гроссфогелем, погиб полностью, тело Гроссфогеля получило возможность существовать, как "преуспевающий организм", не тревожимый воображаемыми муками, которые прежде навязывали ему его сфабрикованное сознание и его поддельная нереальная личность. Как сформулировал он сам: "Я больше не оккупирован моей личностью или моим сознанием". Мы, сидящие в зале, теперь видим перед собой, сказал он, тело Гроссфогеля, говорящего голосом Гроссфогеля и пользующееся нервной системой Гроссфогеля, но без "воображаемого персонажа", известного как Гроссфогель. Все его слова и действия, сказал он, теперь являются прямой эманацией той силы, которая

активизирует каждого из нас, но понять это мы могли бы, только прибегнув к способу, которым он вынужден был воспользоваться, чтобы сохранить свое тело живым. Художник с жутким спокойствием подчеркнул, что он ни в каком смысле не выбирал свой уникальный путь к исцелению. Никто по доброй воле его не выбрал бы, заявил он. Всякий человек предпочитает существовать как сознание и личность, какую бы боль это ему ни причиняло, какими бы поддельными и нереальными они ни были бы, нежели принять очевидность того, что он всего лишь тело, приводимое в движение той бессознательной, бездушной и безличной силой, которую он обозначил как "эта тень, эта тьма". Однако, поведал нам Гроссфогель, именно эту реальность он вынужден был принять, чтобы это тело продолжало существовать и преуспело как организм.

— Это вопрос физического выживания и только, — сказал он. — Понятно это быть должно всем. И кто угодно сделал бы то же самое.

К тому же прославленное метаморфическое исцеление, в процессе которого Гроссфогель-особь исчез, а Гроссфогель-тело выжил, было настолько успешным, заверил он зрителей своего театра одного актера, что он немедленно отправился усердно путешествовать главным образом на недорогих междугородних автобусах, которые возили его на большие расстояния вдоль и поперек страны, чтобы он мог обозревать разных людей, разные места, используя свою новую способность видеть тень, которая пронизывала их, вседвижущую тьму, которая активизировала их, поскольку он освободился от заблуждений касательно мира, этих порождений сознания и воображения — этих противодействующих механизмов, которые теперь были удалены из его организма; не то чтобы он ошибочно воображал, будто кто-то или что-то действительно обладает душой или личностью. И повсюду, где он побывал, он наблюдал зрелище, которое раньше привело его в такой ужас, что ввергло в почти летальное состояние.

— Теперь я мог познавать мир прямо через органы чувств моего тела, продолжал Гроссфогель. — И телом я увидел то, что не был способен увидеть сознанием или воображением, пока оставался художником-неудачником. Всюду, где я путешествовал, я видел, как всепроникающая тень, вседвижущая тьма использовала наш мир! Поскольку у этой тени, у этой тьмы нет ничего собственного, нет способа существования, кроме как активизируя силу, энергию, мы же имеем наши тела, и мы — только тела. Органические ли они тела или нет, человеческие или неорганические, никакой разницы не составляет — они все равно просто тела, не что иное, как тела без компонентов сознания, души или личности. А потому эта тень, эта тьма использует наш мир для получения того, что ей нужно, чтобы благоденствовать. У нее нет ничего, кроме активизирующей энергии. А мы ничто, если не считать наших тел. Вот почему эта тень, эта тьма вынуждает предметы быть тем, чем они не являются, и делать то, что они не делают. Ибо без этой тени внутри них, вседвижущей черноты, активизирующей их, они были бы лишь тем, чем являются — нагромождениями материи, лишенной какого бы то ни было импульса, какой бы то ни было потребности процветать, добиться успеха в этом мире. Такое положение дел было бы названо именно тем, что оно есть, — абсолютным кошмаром. Вот в точности то, что я испытал в больнице, когда понял благодаря моим желудочно-кишечным страданиям, что не имею ни сознания, ни воображения, ни души, ни личности, что они все — лишь нонсенс и иллюзорные посредники, сфабрикованные для того, чтобы воспрепятствовать людям понять, что мы такое на самом деле: всего лишь бесчисленные тела, активизированные этой тенью, этой тьмой. Те из нас, кто в какой-то степени являются преуспевающими организмами, включая художников, достигают этого благодаря степени, в какой мы функционируем, как тела, а отнюдь не как обладатели сознания или личности. Вот тут-то я и потерпел столь катастрофическое фиаско, ибо был чересчур категорично убежден в существовании моего сознания и моего воображения, моей души и моей личности. Моя единственная надежда заключалась в метаморфическом исцелении, в безоговорочном принятии кошмарного порядка вещей, чтобы я мог существовать и дальше, как преуспевающий организм, даже без защитного нонсенса сознания и воображения, без защитной иллюзии, будто я обладаю душой и личностью. Иначе

я был бы уничтожен роковым травмирующим безумием, вызванным шоком от этого сокрушающего осознания. Поэтому особь, которая была Гроссфогелем, должна была погибнуть в больнице — туда ей и дорога! чтобы тело Гроссфогеля могло избавиться от своего желудочно-кишечного кризиса и отправиться путешествовать по разным направлениям, пользуясь разными видами транспорта, но главным образом самым недорогим междугородными автобусами, — и созерцать, как эта тень, эта тьма использует наш мир тел для получения того, что ей нужно, чтобы благоденствовать. А насозерцавшись этого зрелища, я неизбежно должен был запечатлеть его в какой-либо форме, не как художник, потерпевший фиаско, потому что опирался на нонсенс, именуемый сознанием или воображением, но как тело, которому удалось обнаружить, как все в этом мире функционирует на самом деле. И вот я здесь сегодня, чтобы показать вам это, выставить его перед вами.

Я, также убаюканный или же взволнованный рассуждениями Гроссфогеля, как все остальные его слушатели, был почему-то изумлен, если не испуган, когда он внезапно завершил свою лекцию или фантастический монолог — ну, словом, то, чем в тот момент мне представлялись его слова. Казалось, он будет говорить и говорить без конца в задней комнате этой галереи, где с потолка на шнурах свисали тусклые лампочки, и одна из них — прямо над столиком, укрытым обрывком простыни. И вот Гроссфогель начал приподнимать этот обрывок простыни, чтобы наконец-то показать нам то, что сотворил не с помощью своего сознания или воображения, каковых, по его утверждению, не осталось так же, как его души или личности, но с помощью только физических органов чувств своего тела. Когда он наконец полностью снял со своего творения обрывок простыни и оно предстало перед нами целиком, освещенное висевшей прямо над ним лампочкой на шнуре, в первый момент никто из нас не продемонстрировал никакой реакции — ни положительной, ни отрицательной, возможно, потому, что наши сознания были оглушены всей этой словесной подготовкой к этому мигу совлечения обрывка полосы.

Видимо, это было что-то вроде скульптуры. Однако первоначально я не нашел для этого предмета никакого родового обозначения, как художественного, так и не художественного. Он мог быть чем угодно. Поверхность его повсюду была одинаково сияющей тьмой, глянцево пленкой, под которой вихрился черный туман теней, словно бы находящихся в движении эффект, вероятнее всего порождаемый покачиванием болтающейся над ним лампочки. И пока я смотрел на этот предмет, мне почудилось, что я слышу отдаленный рев, в котором, бесспорно, было и что-то звериное, и что-то океаническое, как перед тем сообщил нам Гроссфогель. В общих очертаниях проглядывало отнюдь не случайное сходство с какого-то рода существом, нечто вроде примитивной карикатуры на скорпиона или краба, поскольку из совершенно бесформенной середины тянулось довольно много клешнеподобных отростков. Кроме того, он словно бы содержал слагаемые, устремленные вверх, — подобия горных пиков или рогов, торчащих вверх примерно под прямым углом и завершающихся либо острием, либо мягкой выпуклостью, похожей на голову. Поскольку Гроссфогель так много говорил о телах, было только естественно увидеть их подобия, но в искажениях: то как основание чего-либо, то каким-то образом внедренными в него — хаотический мир всевозможнейших тел, контуров, активизируемых этой тенью внутри них, этой тьмой, которая вынуждает предметы быть тем, чем они не являются, и делать то, чего они не делают. И среди этих телообразных контуров я ясно различил корпулентную фигуру самого художника, хотя значение того, что Гроссфогель имплантировал себя туда, осталось мной незамеченным, пока я сидел там, созерцая эту скромную выставку.

Что бы там скульптура Гроссфогеля ни воплощала в отдельных своих частях и взятая целиком, она бесспорно давала понятие о том "абсолютном кошмаре", который художник, так сказать, осветил в своей лекции или фантастическом монологе ранее в этот вечер. Тем не менее этого качества скульптуры даже для аудитории, не в малой степени ценившей кошмарные темы и контуры, было недостаточно, чтобы компенсировать чрезмерную сумму, которую с нас потребовали за право выслушать подробности гроссфобелевского желудочно-кишечного испытания и самопровозглашенного метаморфического исцеления. Вскоре после

того, как художник обнажил перед нашими глазами свое творение, каждое наше тело поднялось с этих неудобных складных стульев, и со всех сторон зазвучали ссылки на причины, не позволяющие остаться тут далее. Прежде чем удалиться в свой черед, я заметил, что рядом со скульптурой Гроссфогеля, не слишком на виду, покоится карточка с напечатанным на ней названием этого произведения: "Цалал № I" — гласила она. Позднее я кое-что узнал про это определение, которое в словесном смысле и освещало, и скрывало природу предмета, который называло

* * *

Скульптура Гроссфогеля (он затем создал целую серию из нескольких сотен, каждая из которых носила то же название, за которым стоял номер, указывавший ее место в ряду этих плодов художественного творчества) послужила темой, которую мы подробно обсуждали, пока толпились в столовой на главной улице мертвого городка Крэмpton. Мой сосед слева по столику одному из немногих в зале, повторил свои обвинения против Гроссфогеля.

— Сначала он сделал нас жертвами художественного мошенничества, сказал этот субъект, подверженный внезапным и длительным припадкам кашля, а теперь делает нас жертвами метафизического мошенничества. Просто неслыханно! Содрать с нас такую сумму за эту его выставку, а теперь снова сдирает непомерную плату за эту "физически-метафизическую экскурсию". Нас всех надул этот...

— Этот законченный шарлатан, — сказала миссис Анджела, когда мой сосед слева не сумел завершить фразу из-за нового припадков кашля. — Не думаю, что он вообще тут появится, — продолжала она. — Он заставляет нас приехать в эту немыслимую дыру. Говорит, что именно здесь мы должны собраться для этой его экскурсии. Но что-то его нигде здесь не видно. Где он раскопал это место? В одном из путешествий на автобусах, о которых он всегда разглагольствует?

Казалось, нам приходилось винить только себя и свой идиотизм за то, что мы оказались в таком положении. Хотя никто вслух в этом не признавался, однако на тех из нас, которые присутствовали в тот день в галерее, когда туда вошел Гроссфогель и кротко попросил нас помочь ему побросать все его выставленные в галерее произведения в кузов "пикапчика", он произвел очень большое впечатление. Никто в нашем небольшом кружке художников и интеллектуалов никогда не совершал ничего хоть отдаленно похожего на такой поступок, и даже помыслить не мог о том, чтобы сделать что-то столь бесповоротное и драматичное. С того дня нашим безмолвным убеждением стало, что Гроссфогель нашел жилу, а нашим постыдным секретом — желание присосаться к нему, чтобы извлечь из общения с ним хоть какую-то выгоду. В то же самое время нас, разумеется, возмущало чересчур смелое поведение Гроссфогеля, и мы были вполне готовы приветствовать еще одно его фиаско, а может быть, и еще одно падение в коллапсе на пол галереи, где он и его произведения уже один раз потерпели фиаско (к полному всеобщему удовольствию). Такая путаница мотивов явилась более чем достаточной причиной, толкнувшей нас заплатить чрезмерную сумму, которую Гроссфогель потребовал за право посетить его новую выставку, от которой мы затем так или иначе пренебрежительно отмахнулись.

В тот вечер после вернисажа я стоял на тротуаре перед картинной галереей и снова слушал инвективы миссис Анджелы касательно метаморфического исцеления Гроссфогеля и источника его творческого вдохновения.

— Мистер Райнер Гроссфогель просто живет на медикаментах с того момента, как вышел из больницы, — сказала она мне, будто в первый раз. Одна моя знакомая девушка работает в аптеке и отоваривает его рецепты. Она моя клиентка, одна из лучших, — добавила она, а ее глаза в кольце морщин и щедрого макияжа засверкали самодовольством. Затем она продолжила свои скандальные разоблачения:

— Думаю, вы знаете, какого рода медикаменты выписываются при заболеваниях, как у Гроссфогеля, которое и не заболевание вовсе, а психофизическое расстройство, как я и все,

кто работает у меня, могли бы ему сказать давным-давно. Мозг Гроссфогеля уже много месяцев купается во всевозможных транквилизаторах и антидепрессантах. Но и этого мало. Он сверх всего принимает еще препарат против спазм, помогающий при заболевании, от которого он якобы избавился столь чудотворным образом. Меня не удивляет, что он полагает, будто не обладает ни сознанием, ни какой-никакой личностью, да и в любом случае это чистое притворство и ничего больше. Против спазм! — зашипела на меня миссис Анджела, когда мы стояли с ней на тротуаре перед картинной галереей после посещения выставки Гроссфогеля. Вы знаете, что это означает? — спросила она и незамедлительно ответила на свой вопрос:

— Это означает белладонну, ядовитый галлюциноген. Это означает фенолбарбитал — барбитурат. Девушка из аптеки рассказала мне все это. Он ублажает себя сверхдозами всех этих наркотиков, понимаете? Вот почему он видит все столь своеобразным образом, как пытался нам внушить. И вовсе не тень или как там он называл то, что активизирует его тело, в чем он старался нас убедить. Уж об этом я бы что-нибудь да знала, ведь верно? Я же обладаю особым даром, который позволяет мне проникать в такого рода феномены.

Однако, вопреки ее предполагаемым дарованиям, а также подлинно прекрасным пирожным, спиритуалистическая кофейня миссис Анджелы в коммерческом смысле слова дышала на ладан, а в конце концов и вовсе обанкротилась. А вот скульптуры Гроссфогеля, которые он творил с большой плодовитостью и быстротой, пользовались колоссальным успехом, как у местных скупщиков художественной продукции, так и у торговцев предметами искусства, а также у коллекционеров по всей стране. И даже в какой-то мере вышли на международный рынок. Кроме того, Райнера Гроссфогеля превозносили в больших статьях, публиковавшихся и в ведущих журналах сферы искусства, и в журналах других сфер, хотя обычно он обрисовывался, заимствуя слова одного критика, как "художественный и философский балаган уродов в лице одного исполнителя". Тем не менее Гроссфогель теперь по всем меркам функционировал как крайне преуспевающий организм. Именно этот успех, даже подобия которого не удалось достичь никому из нашего маленького кружка художников и интеллектуалов, стал причиной, по какой те из нас, кто порвал с Гроссфогелем после его лекции о метаморфическом исцелении от тяжелейшего желудочно-кишечного расстройства и осмотра первой из необъятной серии скульптур Цалал, теперь вновь связали себя и наши провалившиеся карьеры с ним и его бесспорно преуспевающим телом без сознания и личности. Даже миссис Анджела стала ведущим знатоком "осознаний", которые Гроссфогель сначала изложил в задней комнате этой картинной галереи в помещении пустующего склада, а теперь развивал в нескончаемых философских брошюрах, за которыми коллекционеры принялись охотиться почти как за его серией скульптур Цалал. Вот почему, когда Гроссфогель распространил проспект среди художников и интеллектуалов небольшого кружка, отношения с которым продолжал поддерживать даже после того, как добился столь поразительного финансового успеха и известности — проспект, извещавший о "физически-метафизической экскурсии" в мертвый городок Крэмптон, мы более чем охотно заплатили грабительскую сумму, которую он запросил.

Именно к этому проспекту я и отослал моих соседей за столиком в крэмптоновской столовой — фотографа-портретиста, подверженного припадкам кашля, слева от меня, автора неопубликованного философского трактата "Исследования заговора против человечества" справа от меня и миссис Анджелу прямо напротив меня. Мой сосед слева все еще повторял и повторял с долгими перерывами на припадки кашля (которые я тут опушу) выдвинутое им обвинение: Гроссфогель устроил метафизическую аферу с помощью своей дорогостоящей "физически-метафизической экскурсии".

— Вся эта гроссфогелевская болтовня о тени и черноте, и кошмарном мире, которые он якобы видел... и куда же нас это привело? В какой-то забытый Богом городишко, который заброшен уже давным-давно и в каком-то районе страны, где все решительно смахивает на перепроявленные фотографии. Я взял с собой камеру, готовый творчески запечатлеть портреты, лица, которые узрели гроссфогелевскую тенистую черноту или что еще им для нас

приготовленное. Я даже придумал отличные названия и истолкования этих фотографических портретов, которые, полагаю, имели бы большой шанс быть опубликованы вместе, как альбом или, на худой конец, появились бы на врезках ведущего фотографического журнала. Я думал, что по меньшей мере увезу с собой серию фотографических портретов Гроссфогеля, его огромной физиономии. Я мог бы поместить их в почти любом из лучших журналов сферы искусства. Но где знаменитый Гроссфогель? Он сказал, что встретит нас здесь. Он сказал, что мы постигнем все эти фигли-мигли с тенями, насколько я его понял. Кроме того я подготовил мой мозг для абсолютных кошмаров, про которые Гроссфогель распространялся в своих брошюрах и в этом его насквозь лживом проспекте.

— Этот проспект, — сказал я в одной из пауз, заполненной особенно надрывным кашлем, — ничего прямо не обещает, касательно того, что в вашем воображении он предлагал. В нем специально подчеркивается, что это будет экскурсия, цитирую: "в мертвый город в момент, когда одно время года угасает, а другое только начинает свое движение к расцвету". В проспекте Гроссфогеля, кроме того, говорится, что это "конченный город, потерпевший фиаско город, поддельная и нереальная декорация, продукт непреуспевших организмов и, следовательно, город, представляющий собой идеальный образчик того предельного состояния фиаско, какое только может подействовать угнетающе на системы человеческих организмов, особенно на пищеварительный тракт, вплоть до ослабления ее иллюзорных и полностью сфабрикованных защит, то есть сознания, личности — и тем самым привести к кризису кошмарного осознания, влекущего за собой..." ну, я думаю, мы все знакомы с рассуждениями о тени-тьме, которые следуют дальше. Суть же в том, что в этом проспекте Гроссфогель не обещает ничего, кроме окружающей обстановки, которая смердит фиаско, своего рода парника для организмов-неудачников. Все остальное — чистые домыслы вашего воображения... а также и моего, могу я добавить.

— Ну, — сказала миссис Анджела, придвигая к себе проспект, который я положил на стол перед ней, — значит, я вообразила, что прочла вот это? Цитирую: "будет обеспечено адекватное питание". Горький кофе и черствые плюшки не отвечают моим представлениям об адекватности. Гроссфогель теперь богат, как известно всем, — и это лучшее, что он был способен обеспечить? До того дня, как я навсегда закрыла мою кофейню, там подавался великолепный кофе, не говоря уж о превосходных пирожных, даже, если я теперь и признаю, что не сама их готовила. А мои спиритические сеансы — и мои личные, и всех, чьими услугами я пользовалась — были потрясными, не меньше самых прославленных. И вот новоявленный Крез и эта вот официантка практически отравляют нас этим горьким кофе и этими невообразимо черствыми уцененными плюшками. Лично я сейчас не отказалась бы от дозы средства против спазм, которое Гроссфогель принимает в таком количестве и так долго. И я уверена, у него сдобой будет большой его запас, если (в чем я сомневаюсь) он тут все-таки появится после того, как поотравлял нас всех своим адекватным питанием. Вы меня извините.

Когда миссис Анджела прошла в глубину зала, я заметил, что перед единственной дверью с надписью "ТУАЛЕТ" уже выстроилась небольшая очередь. Я обвел взглядом тех, кто еще сидел за столиком или на табуретах у стойки. Среди них словно бы многие прижимали ладони к области желудка, а кое-кто так и нежно ее массировал. Я тоже начал ощущать некое кишечное беспокойство, которое можно было отнести на счет скверного качества кофе и плюшек, которые подала нам официантка, которую теперь нигде не было видно. Мой сосед слева тоже попросил извинить его и направился через зал. В тот момент, когда я уже готовился встать из-за столика, чтобы присоединиться к нему и прочим, мой сосед справа начал рассказывать мне про свои "изыскания" и "логические построения", которые легли в основу его неопубликованного трактата "Исследования заговора против человечества", и как они коррелируют с его глубочайшими подозрениями относительно Гроссфогеля.

— Мне следовало бы знать, что ни в коем случае нельзя было присоединяться к этой... экскурсии, — сказал он. — Но я чувствовал, что мне надо узнать побольше о том, что

скрывается за историей Гроссфогеля. Я испытывал глубочайшие подозрения касательно его претензий и заявлений о его метаморфическом исцелении и многом другом. Например, его утверждение, его осознание, как он выражается — что сознание и воображение, душа и личность всего лишь нонсенс и иллюзии. Но тем не менее он настаивает, что эта его тень, эта его тьма — Цалал, как именуются его скульптурные произведения не нонсенс и не иллюзия, и что она использует наши тела "для получения того, что ей нужно, чтобы благоденствовать". Нет, но разве основой для отрицания его сознания, воображения и прочего не является всего лишь признание реальности его Цалал, которая выглядит продуктом некой иллюзии такого же нонсенса?

Скептические рассуждения этого человека оказались желанным отвлечением от давления, нараставшего в моем кишечнике. В ответ на его вопрос я сказал, что могу лишь повторить объяснение Гроссфогеля: он более не воспринимает предметы, то есть более не видит предметы с помощью своих предположительно иллюзорных сознания и личности, а воспринимает их своим телом, которое, как он утверждал далее, было активизировано и целиком оккупировано тенью, которая есть Цалал.

— Это отнюдь не самое нелепое откровение такого рода, во всяком случае, насколько известно мне, — сказал я в защиту Гроссфогеля.

— И насколько известно мне, — сказал он.

— Кроме того, — продолжал я, — оригинально названные скульптуры Гроссфогеля, по моему мнению, обладают достоинствами и интересны помимо строго метафизического контекста и предпосылок.

— Вам известно, что означает это слово — Цалал, — которое он использует как единственное название всех его скульптурных произведений?

— Нет. Боюсь, я не имею ни малейшего понятия о его происхождении или смысле, — с сожалением признался я. — Но, полагаю, вы бросите на это свет?

— Свет не имеет никакого отношения к этому слову, каковое взято из древнееврейского языка. Оно означает "становиться затемненным"... становиться, так сказать, "затененным". На термин этот я не так уж редко наткнулся в процессе моих изысканий для моего трактата "Исследование заговора против человечества". Слово это, естественно, встречается на многих страницах Ветхого Завета, этого плавильного тигля апокалипсисов, больших и малых.

— Возможно, — сказал я. — Однако я не согласен с тем, что гроссфогелевское употребление этого слова по необходимости ставит под вопрос искренность его утверждений или даже их обоснованность, если вы готовы зайти настолько далеко.

— Да, видимо, я не сумел достаточно ясно изложить вам мою мысль. С тем, о чем я говорил, мне пришлось столкнуться на ранних этапах моих изысканий и предварительных логических построений для моего "Исследования". Короче, я просто скажу, что у меня не было намерения подвергать сомнению гроссфогелевский Цалал. Мое исследование докажет мою ясную и твердую позицию в отношении этого феномена, хотя я никогда бы не прибегнул к несколько быющему на эффект и довольно тривиальному подходу, который избрал Гроссфогель, чем в какой-то мере может объясняться потрясающий успех его скульптур и брошюр с одной стороны, а с другой — неизмеримого провала моего трактата, который останется вовеки неопубликованным и не прочитанным. Но это в сторону. Я отнюдь не утверждаю, будто этот гроссфогелевский Цалал не является тем или иным образом подлинным феноменом. Я слишком хорошо знаю, что сознание и воображение, душа и личность — это не только нонсенс и иллюзии, какими их представляет Гроссфогель. На самом деле они не более, чем маскировка — столь же поддельная и нереальная, как произведения Гроссфогеля, предшествовавшие его заболеванию и исцелению. Гроссфогель сумел познать этот факт благодаря крайне редкому обстоятельству, которое, без сомнения, находится в какой-то связи с его заболеванием.

— Его желудочно-кишечным расстройством, — сказал я, все сильнее и сильнее ощущая симптомы этого недуга в моем собственном теле.

— Совершенно верно. Именно механизм этого его переживания и заинтересовал меня настолько, что я вложил средства в эту его экскурсию. Вот что остается столь неясным. Нет ничего явного, если мне дозволено так выразиться, ни в его Цалал, ни в механизмах Цалал, однако Гроссфогель выдвигает, на мой взгляд, увлекательные гипотезы и уточнения со столь подавляющей убежденностью! Но по меньшей мере в одном он ошибается или, возможно, подтасовывает. Я говорю это потому, что он прибегнул к фигуре умолчания, касаясь больницы, где его лечили. В процессе изысканий для моего "Исследования" я изучал подобные места и то, как они управляются. Мне совершенно точно известно, что больница, где лечили Гроссфогеля, — крайне прогнившее медицинское учреждение, абсолютно прогнившее. Все там маскировка и прикрытие самых устрашающих манипуляций, в истинном размахе которых, мне кажется, не отдают себе отчета даже те, кто связан с подобными местами. И дело ни в какой-либо извращенности или злонамеренности. Просто развивается своего рода тайный сговор, зловредный альянс между определенными людьми и местами. Они в союзе с... Если бы вы могли прочесть мое "Исследование", вы бы знали, с какого рода кошмаром Гроссфогель соприкоснулся в этой больнице, в месте, смердящем кошмарами. Только в подобном месте мог Гроссфогель столкнуться с этими кошмарными сознаниями, о которых он распространяется в своих бесчисленных брошюрах и которые изображает в своей серии скульптур Цалал, утверждая, что они не плод его сознания или воображения, души или личности, но плод того, что он видит своим телом и органами физических чувств — этой тени, этой тьмы. Сознание и все прочее, душа и все прочее — всего лишь маскировка, сфабрикованная маскировка, как говорит Гроссфогель. Они то, что нельзя увидеть телом, нельзя воспринять ни единым органом физических чувств. Ибо на самом деле они несуществующие прикрытия, маски, личины для того, что активизирует наши тела способом, какой объяснил Гроссфогель, активизирует их и использует для получения благоденствия, которое ей нужно. Они творения: собственно говоря, художественные творения самого Цалал. О, невозможно объяснить вам это изустно. Я хотел бы, чтобы вы прочли мое "Исследование". Оно объяснило бы все, сошло бы с покров со всего. Но как вы можете прочесть то, что никогда не было написано?

— Не было написано? — осведомился я. — Почему оно не было написано?

— Почему? — сказал он, умолк на секунду и сморщился от боли. — Ответ это именно то, что Гроссфогель проповедовал и в своих брошюрах, и в своих публичных выступлениях. Вся его доктрина — если ее можно назвать так, если вообще возможно что-либо подобное в каком бы то ни было смысле — опирается на несуществование, на воображаемую природу всего, чем мы себя считаем. Вопреки его попыткам выразить произошедшее с ним, он не может не знать, что нет слов, способных объяснить подобное. Слова — это полнейшее затемнение того самого фундаментального факта существования, того самого заговора против человечества, которые мог бы осветить мой трактат. Гроссфогель испытал на себе квинтэссенцию этого заговора — или, во всяком случае, он утверждает, будто испытал ее. Слова — всего лишь маскировка этого заговора. Они — конечное средство для маскировки, конечное художественное произведение этой тени, этой тьмы — ее конечная художественная маскировка. Поскольку существуют слова, мы полагаем, будто существует сознание, будто существует нечто вроде души или личности. Просто еще один из бесконечных покровов этой маскировки! Но нет сознания, которое могло бы написать "Исследование заговора против человечества", не существует сознания, которое могло бы написать такую книгу, как и сознания, которое могло бы ее прочесть. Нет никого, кто мог бы сказать хоть что-то про этот самый фундаментальный факт существования, никого, кто мог бы сообщить об этой реальности. И нет никого, кому бы можно было когда-либо сообщить про нее.

— Все это невозможно понять, — заметил я.

— Было бы возможно, так или иначе, имейся, что понимать и кому понимать. Но подобные существа не существуют.

— Если это так, — сказал я, морщась от боли в брюшной полости, — кто в таком случае ведет этот разговор?

— Вот именно — кто? — ответил он отвлеченно-риторическим тоном. Тем не менее я хотел бы продолжать говорить. Даже если это только нонсенс и иллюзии, я испытываю потребность увековечить все это. Особенно в данный момент, когда я ощущаю, как эта боль овладевает моим сознанием и моей личностью. Вскоре это все не будет значить ничего. Да, — сказал он мертвым голосом. — теперь это не имеет значения.

Я заметил, что он уже некоторое время пристально смотрел в окно столовой, созерцая город. И другие в зале смотрели туда же, оглушенные тем, что видели там и терзаемые не менее меня тем, благодаря чему видели все это. Безликость пустых улиц городка и унылость времени года, которая окутывала окружающий пейзаж — все то, что по прибытии сюда заставило нас жаловаться на отсутствие хоть чего-нибудь заслуживающего интереса, теперь в глазах многих из нас претерпевало зримую метаморфозу, словно происходило солнечное затмение. Однако то, что мы видели, не было тьмой, спускающейся с небес, но тенью, возникавшей изнутри мертвого городка вокруг нас, будто бешеный поток черной крови с ревом несся по его бледному труп — с ревом дальнего океана, движущегося в зверином устремлении к своим берегам. Я вдруг заметил, что внезапно, сам того не зная, оказался среди первых, на кого подействовала эта метаморфоза, даже хотя в буквальном смысле слова не имел ни малейшего понятия о происходящем: никакие сведения не поступали в мое сознание, которое перестало функционировать прежним образом и в тупой агонии оставило мое тело, чьи органы физических чувств регистрировали жуткое зрелище того, что меня окружало: другие тела, затемненные тенью, клубящейся у них под кожей, причем некоторые еще разговаривали, будто были особями, обладающими сознанием и личностью — воображаемыми единствами, которые все еще жаловались человеческими словами на боль, которую только-только начали замечать, перекрикивали нарастающий рев, требуя медикаментов, пока втягивались в "средоточие бездн", все еще видя своим сознанием вплоть до мига, когда сознание полностью их покинуло, рассеялось, точно мираж, способные говорить лишь о том, как все представлялось их сознаниям, как контуры городка за окнами столовой искривлялись, зазубривались, тянулись к ним, будто клешни, и устремлялись странными горными пиками и рогами в небо, которое уже не было бледным и серым, но клубилось всепроникающей тенью, всдвижущей тьмой, которую они наконец смогли увидеть столь ясно, оттого что теперь они видели своими телами, только своими телами, погруженными в великую ревушую черноту боли. И раздался один голос — голос, который одновременно и стонал и кашлял, возвещая, что снаружи возникло лицо, "лицо поперек всего неба", — сказал этот голос. И небо, и городок были теперь так темны, что, возможно, лишь тот, кто был сосредоточен на человеческих лицах, мог увидеть что-то подобное в мире кипящих теней за окнами столовой. Вскоре затем слова умолкли, ибо тела, испытывая истинную боль, не говорят. Последние слова, помнящиеся мне, были словами женщины, кричавшей, чтобы кто-нибудь отвез ее в больницу. И просьбу эту страннейшим образом предвосхитил тот, кто соблазнил нас отправиться в эту "Физически-метафизическую экскурсию" и чье тело уже постигло то, что наши тела еще только начинали постигать, — кошмар тела, которое используется, и знает, что именно его использует, вынуждая предметы быть тем, чем они не являются, и делать то, что они не делают. Я ощутил присутствие молодой женщины, которую прежде видел в униформе, белой, как марля. Она вернулась. И другие, подобные ей, двигались между нами, и их контуры были самыми черными, и они знали, как справиться с нашей болью для нашего метаморфического исцеления. Нас не надо было доставлять в их больницу, потому что их больница со всей своей гнилостью была доставлена к нам.

* * *

И как бы мне ни хотелось поведать обо всем, что произошло с нами в городке Крэмптон (чья мертвенность и уныние мнятся иллюзией рая, после того как нашим глазам открылась его потаенная жизнь)... как бы мне ни хотелось поведать, каким образом мы покинули самую

нигдешнюю область всей страны, это средоточие бездны, и вернулись домой... как бы мне ни хотелось поведать точно, какую помощь и лечение мы могли получить, которые извлекли нас из этого места и этой боли, я не могу поведать об этом решительно ничего. Ибо, когда тебя спасут от подобной муки, нет в мире ничего труднее, чем поставить под вопрос средства этого спасения: тело не знает, да и знать не хочет, что именно освобождает его от боли, и оно не способно поставить это под вопрос. Ибо вот во что мы превратились — и вот во что мы почти превратились — в тела без иллюзорных сознаний или воображений, в тела без доуки души или личности. Со времени нашего... исцеления никто в нашем кружке не ставил под вопрос этот факт. И мы не говорим об исчезновении Гроссфогеля из нашего кружка, который более не существует таким, каким был прежде, то есть как собрание художников и интеллектуалов. Мы стали получателями того, что кто-то обозначил как "наследие Гроссфогеля", и это не просто метафора, поскольку художник действительно завещал каждому из нас в случае своей "смерти или исчезновения на указанный период времени" долю внушительного состояния, которое он скопил из доходов от продажи своих произведений.

Но это строго денежное наследство было лишь началом успехов, которые пришли к нам всем из рассыпавшегося кружка художников и интеллектуалов, семенем, из которого мы начали прорасти сквозь наше существование потерпевших фиаско сознаний и личностей в наши новые жизни весьма преуспевающих организмов — каждый в собственной сфере дерзаний. Разумеется, в достижении того, к чему мы стремились, мы не могли бы потерпеть фиаско, даже если бы хотели, поскольку все, что мы испытывали, все, что мы создавали, было феноменом этой тени, этой тьмы, которая тянулась наружу, тянулась вверх из нас, чтобы пробиться, взобраться на высоты нагроможденных горами человеческих и нечеловеческих тел. Они — все, что у нас есть, все, что мы есть; они — то, что используется для благоденствия пользователя. Я способен чувствовать, как мое собственное тело используется и культивируется, ощущать желания и импульсы, которые толкают его к успеху, буксируют его ко всяческим видам успеха. И нет способа, каким я мог бы противостоять этим желаниям и импульсам теперь, когда существую только как тело, которое ищет только надежного поддержания своего существования, чтобы оно могло быть использовано тем, чему оно нужно для благоденствия. И нет возможности сопротивляться тому, чему нужно нас использовать, нет возможности так или иначе выдать его. Медикаменты, которые я и остальные теперь поглощаем в таком изобилии, только способствуют дальнейшему процессу культивирования нас, этому толканию, буксированию и использованию наших тел. И даже, если это мое маленькое сообщение — мой собственный Цалал, если хотите (местоимения не важны), даже если эта маленькая летопись словно бы открывает тайны, которые могли бы подорвать указанный кошмарный порядок вещей, на самом деле она только поддерживает и усиливает этот порядок. Ничто не может воспротивиться этому кошмару или выдать его, ибо не существует ничего, способного сделать что-то и быть чем-то, которое могло бы добиться успеха в этом направлении. Самая идея о чем-то подобном только нонсенс и иллюзии.

Никогда ничто не может быть написано о "заговоре против человечества", так как идея заговора требует множественности исполнителей, разделения на противоборствующие стороны, одна из которых так или иначе подрывает другую, а эта другая обладает существованием, которое можно подорвать. Но нет подобной множественности, подобного разделения, ни подрывания, ни сопротивления, ни выдачи той ли, другой ли стороны. Существует же только это толкание, эта буксировка всех тел этого мира. Но эти тела имеют коллективное существование только в таксономическом или, может быть, топографическом смысле и ни с какой стороны не составляют коллективного единства, деятеля или кого-то еще, кто мог бы стать объектом заговора. И коллективное единство, именуемое человечеством, не может существовать там, где имеется только конгломерат ничевошек, тел, которые сами всего лишь подсобное средство, и будут исчезать одно за другим — всем конгломератом все время приближаясь к нонсенсу, все время распыляясь в иллюзии. Не может быть заговора в пустоте, а вернее, в черной бездне. Может быть только буксировка

всех этих тел — к тому заключительному успеху, который, видимо, осуществил мой корпулентный друг, когда наконец был использован в полной мере — его тело использовано до конца, полностью поглощено тем, что нуждалось в нем для своего благоденствия.

"Есть лишь один истинный и финальный успех, — провозгласил Гроссфогель в своей самой последней брошюре. — Есть только один истинный и финальный успех для вседвижущей черноты, которая вынуждает предметы делать то, чего они не делают", — написал он. И это самые последние строки этой самой последней брошюры. Гроссфогель не смог объяснить себя или что-либо еще сверх этих незавершенных утверждений. У него иссякли слова, которые (цитируя того, кто останется безымянным настолько, насколько это дано только членам рода человеческого) суть высшее художественное произведение этой тени, этой тьмы — ее высшая художественная маскировка. И как он мог ей сопротивляться? Пока это тело буксировалось к этому заключительному успеху, он не мог выдать ее своими словами.

Более полно я осознал, куда клонили эти последние слова Гроссфогеля, зимой после экскурсии в Крэмптон. Однажды поздно вечером я стоял, глядя в окно, за которым кружил первый снег этой зимы, падая все более и более густыми хлопьями с каждым из темных часов, в течение которых я наблюдал его падение моими органами физических чувств. Я уже мог видеть то, что было внутри падающих хлопьев снега, точно так же, как я мог видеть то, что находилось внутри всех вещей, активизируя их своей силой. И видел я черный снег, под несмолкаемый рев, валящийся из черного неба. В этом небе не было ни единой знакомой приметы — и уж конечно, не было знакомого лица, растянутого поперек ночи и вживленного в нее. Была только эта ревущая чернота вверху и эта ревущая темнота внизу. Была только эта всепожирающая, разрастающаяся, ревущая чернота, чей единственный и заключительный успех сводился всего лишь к поддержанию самой себя настолько успешно, насколько возможно в мире, где нет ничего такого, которое могло бы надеяться стать чем-либо, кроме того, в чем для своего благоденствия нуждается эта тень, эта тьма... пока все не будет полностью поглощено и во всем сущем не останется только одно: бесконечное тело ревущей темноты, активизирующей себя и осуществляющейся через вечный успех в глубочайшей бездне единства. Гроссфогель не мог ни сопротивляться ей, ни выдать ее, даже, если она и была абсолютным кошмаром, высшим физико-метафизическим кошмаром. Он перестал быть личностью, чтобы остаться преуспевающим организмом. "И кто угодно сделал бы то же самое", — сказал он.

И что бы я ни говорил, я не могу ни сопротивляться ей, ни выдать ее. Этого не может никто, потому что здесь никого нет. Только это тело, эта тень, эта тьма.